



Михаил Павлович Шишкин

Три прозы (сборник)

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4929846

*Три прозы: Взятие Измаила. Венерин волос. Письмовник: [романы]: Астрель; Москва; 2012
ISBN 978-5-271-42708-4*

Аннотация

В книгу известного прозаика Михаила Шишкина вошли романы «Взятие Измаила», «Венерин волос» и «Письмовник», удостоенные престижных премий «Русский Букер», «Большая книга», «Национальный бестселлер», имени И. А. Бунина. Проза Шишкина сочетает в себе лучшие черты русской и европейской литературных традиций, беря от Чехова, Бунина, Набокова богатство словаря и тонкий психологизм, а от западных авторов – фрагментарность композиции, размытость временных рамок. По определению самого писателя, действие его романов происходит всегда и везде.

Содержание

Взятие Измаила	4
Лекция 7-я	4
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Михаил Шишкин

Три прозы (сборник)

Взятие Измаила

Роман

Франческе

Лекция 7-я

Narratio est rei factae, aut ut factae, utilis ad persuadendum expositio.
Quintilianus¹

В деле Крамер знаменитый Урусов добился оправдания подзащитной, несмотря на ее признание, на очевидную наличность *corpus delicti*² и даже на вытянутый из конверта и севший облачком на стол вещественных доказательств бездыханный чулок. После оглашения оправдательного приговора под восторженные рукоплескания зала Крамер подошла к своему удачливому защитнику, но вместо ожидаемой благодарности спаситель был удостоен звонкой пощечины. Эта оплеуха, прославившая до того никому не известную учительницу музыки, придала тогда пыл не одному перу, но развернувшейся в нашей печати дискуссии о нравственной дозволенности при защите вряд ли было суждено справиться со столь щекотливой субстанцией. И немудрено. Ибо защищая человечество, в любую минуту можно оказаться союзником беззакония, пособником безнравственности, укрывателем преступления, врагом правосудия. Вот ведь, даже сама созналась, что убила, а выходит, что и не убивала вовсе. Вся вина Урусова заключалась в том, что он рассказал историю Крамер своими словами. То, что якобы имело место быть, – где оно? Весь так называемый тварный мир текуч и бесплотен. Сегодня вы здесь, стряхиваете перхоть с плеч, а завтра – где вы? Другое дело слова. Что там было с этой дамочкой на самом деле – никто никогда не узнает, да и какая разница, но вот Урусов рассказывает, как подзащитная снимала платье через голову и волосы зацепились за крючок, – и оправдание становится неизбежным. Так в чем же тут его вина? *Nullum crimen, nulla poena sine lege*!³ Нельзя облагать наказанием деяние, в момент совершения по закону не наказуемое. Деяние это есть сотворение мира. Представьте себе, мои юные друзья, что ничего нет. Абсолютно ничего. Ни вас. Ни меня. Ни этой не проветренной после предыдущей лекции аудитории. Ни вот этого огрызка мела у меня в пальцах, который только что скреб по доске, осыпаясь мучнистой струйкой. Ни времени, идущего посолонь и схватившего каждого за руку, мол, попался, теперь не убежишь, будешь у меня на ремешке. Ни метели за окном, слышите, как завывает? Абсолютная чернота. Пустота и тьма – необходимое условие для сотворения мира. Да еще ледяной сквозняк, да еще трясет, как в вагоне белебейской узкоколейки. И такая тоска! И вот все вроде бы для миротворения есть, потому что ничего нет, но чего-то не хватает. Какой-то искры, что ли. И вот эту

¹ «Рассказ обстоятельств дела есть правдивое изложение дела или того, что выдается за правду, с целью убедить слушателя». Квинтилиан (*лат.*).

² Вещественные доказательства (*лат.*).

³ Нет преступления, если закон не предусматривает наказания! (*лат.*)

тоскливую башкирскую черноту рвет вдруг искра. Сверкнув, гаснет. Потом снова искра, и снова, будто кто-то чиркает спичками, какое-то первосущество, прабог-искровержец, этакий Перун. Чиркает и ругается – отсырели. И тут у него из уха, или из бедра, как это принято в ранних, наивных, но, согласитесь, весьма трогательных мифологиях, во всяком случае не сравнить с бескрылым триединством, или, допустим, из пупка – все равно в такой темноте не разберешь – появляется его визави, всеночный сосед, бог-супротивник, живолоб и неслух, одним словом, Велес. Откашливается, ворочается, кряхтит, вздыхает и рождает время:

– Сейчас, наверно, уже около семи. Как бы не проехать!

А Перун трет глаза, зевает и разделяет словом свет и тьму:

– Еще немного – и будет светать.

И после этого сотворение заснеженной степи за студеным окном не остановить. Небо светлеет. Перун, закутавшись в одеяло, глядит на свой еще сумеречный, невнятный мир, и одного его взгляда достаточно. Посмотрит вниз – там уже скользят рельсы, мельтешат шпалы, посмотрит вверх – откуда ни возмись ныряют рассветные телеграфные провода, как будто детский карандаш рисует волны. Подумает только: «Деревня» – и сразу что-то чернеется среди снегов, поднимаются к морозному небу столбами дымы. Прошепчет: «Чайку бы» – а тут уже стучат в дверь:

– Вот я вам горяченького принес!

Подстаканник на вырост – стакан болтается, чай все норовит обжечь губу.

– Останавливаемся, – вглядывается в окно Перун, пальцы с куском сахара замирают над кипятком, вагон на стрелке швыряет, чай чмок рафинад, и по белому тельцу бежит чайное пятно.

– «Чебыри», – читает Велес имя полустанка. – Вот ведь, и здесь живут люди.

Полустанок замедляет свой бег и, дернувшись, замирает. В клубах пара проходит под окном получеловек, за ним пробегают к концу поезда еще несколько полулюдей, обрезанных окном.

– Знаем мы эту жизнь, – отхлебывает Перун, дует, сгоняет пар, точно пенку. – Да ведь и за полярным кругом живут с женой-парашей – и то ничего. Кому где, Григорий Васильевич, срок дан, тот там и живет.

Полустанок снова дергается и сползает по стеклу назад.

– Вот вам и все Чебыри, – вздыхает Велес. – И поди попробуй кому-нибудь докажи, что они есть! Ничего, еще немного потерпим, годика два, три, и покончим со всем этим. Я выйду на полный пансион с эмеритурой, вы – на половинный, и заживем себе мирненько.

И опять за свое – бросят какое-нибудь словцо, вроде:

– Речка! – и тут же вагоны, боясь ослушаться, коваными подметками по гулкому мосту, а внизу по пороше цепочка чьих-то следов сцепила берега.

Или:

– Подтяжки!

А те и рады стараться, тут как тут, свесились с верхней полки, возомнив себя маятником.

– Ну и дыра!

И стелется до коротко стриженного горизонта новорожденный белый свет. А там и Белебей. Вот и приехали.

Проводник, сунув чайный рубль в карман, крестит со ступеньки:

– Как говорится, не судите, да не судимы будете! Ни пуха вам ни пера!

– Пошел к черту! – Вагон тут же трогается. Проводник на ходу захлопывает дверь.

Платформа похрустывает под каблуками. За ночь подвалило снежку.

Из утреннего морозца, прикусив облачко пара, появляется Сварог, приехавший тем же поездом.

– Ну и ночка, господа, все кости болят. И сосед попался – вы такого храпа еще не слышали. В этой глуши, небось, и газеты не купишь.

Выездная сессия в купеческом клубе, напротив вокзала.

В зале натоплено, за двойными рамами колокольня со снежными погонами на крестах, от судебного пристава пахло кельнской водой, графин на пурпурной скатерти дробит гранями салатомые кафли печки-голландки.

Перун проверяет перед началом, все ли на месте – очки в футляре, лампада горит у иконы, портрет творца судебных уставов не крив, разворачивает завернутый в газету колокольчик с костяной ручкой.

Под бубнеж судебного пристава Велес точит бритвой карандаш, скоблит грифель, сдувает угольную пыль.

Сварог великодушно отмахивается от списка присяжных, поднесенного для отводов.

Перун опускает билеты в коробку, перемешивает и вынимает по одному, громко зачитывает, поднимая брови и качая головой, мол, с какими же только фамилиями не мучаются люди.

Приводят к присяге – недружный хор заунывно тянет «обещаюсь и клянусь».

Батюшка кладет крест в Евангелие, заворачивает в епитрахиль и, сунув под мышку, уходит.

А вот и Мокошь. Вынула налитую грудь и кормит. Смотрит куда-то за окно, покачивается, напевает что-то. Поправляет своему свертку пеленочки. Видит, как косится приставленный новобранец с красными петличками внутренних войск – усмехается.

Добрались, наконец, до обвинительного.

– Третьего мунихиона сего года свидетельница такая-то, говорящая голосом ожившей спички, вышла утром во двор по нужде и увидела за соседским забором.

– Пригласите живовидицу!

– Да чего ее слушать, все понятно! С быком случается только бычье, с виноградом – виноградное.

– Тогда говори ты, Велес!

Встал, окинул взглядом ряды, неспешно снял часы с руки, положил их перед собой, оперся кулаками о стол, вздохнул.

– Увы, нынешний материальный век, заботясь о неприкосновенности тела, выдумал пытки для души. Чего только не наслушаешься и не насмотришься, поездив по таким вот белебеем! Нет, калибаны и калибанши существуют не только на безвестном острове под твердою властью Просперо. Ничему уже не удивляешься, потянув эту лямку двадцать лет. Одно слово – *obscuri viri*⁴! Никогда не забуду – накупили бабы на ярмарке зонтов и гуляют под ними, а как дождь пошел, зонты закрыли, чтобы не испортить, и подняли подолы юбок на голову. Дикари! Убиваху друг друга, ядыху все нечисто, и брака у них не бываше, но умыкиваху уводы девица, живах в лесах и срамословие в них пред отци и пред снохами! Еще когда служил под Оренбургом следователем, бывало, приезжаешь на убийство, а вместо характерной обстановки находишь в переднем углу покойника, как следует обмытого, избу прибранную как бы для праздника. Разводят руками: «Вашу милость дожидали, приубрались, уж больно безобразно было!» Да что про это говорить! Ни ум, ни сердце цивилизованного человека не способны воспринять, как можно оставить на морозе слепую мать! Вот так вот едешь, читаешь или мечтаешь о чем-нибудь под перестук колес, потом выйдешь на обледелую площадку подышать воздухом, а там на палец инеяросло. Надышишь, разрежешь пятаком в индевелых стеклах глазок в ночь, глядишь, как мимо ползут притоптанные угольки, и думаешь – вот, живет кто-то, может, сейчас как раз, в эту самую минуту, чай

⁴ Темные люди (*лат.*).

пьют, греются у печки, а там, оказывается, в сугробе вы замерзаете, ослепший от виденного, измученный от прожитого, забытый и ненужный, оставленный подыхать под Большой Медведицей. Думали-гадали – кто перед смертью поднесет попить. Вот вам ковшик! И ничего больше не останется, как просто присесть в снежок и всем все простить. По римскому закону матереубийцы подлежали утоплению в одном мешке с собакой, петухом, змеей и обезьяной. Будем же бороться с бактериями в общественном организме, пресекая опасную прогенитуру, очищая природу и облагораживая сердца!

– Слово предоставляется защите.

– Вы мне не верите и не поверите, во-первых, потому, что мою подзащитную вы давно уже мысленно осудили, а во-вторых, потому, что в ваших глазах я, которого вы видите впервые в жизни, уже наперед причислен к лику прелюбодеев слова. Вот, вижу уже улыбки на лицах мундирной магистратуры, мол, теперь начинается водевиль, мол, как заливают – Балайкин! Но мне надо кормиться. Нечего делать, нужно влезать в хомут. Если степень культуры определяется богатством получаемых впечатлений, то можно сказать, что чем женщина культурней, тем более разнообразится ее деятельность вообще и преступная в частности. Хочу поспорить с этим расхожим мнением. На той неделе на выездной сессии в Перелюбе судили неграмотную няньку. Ее уволили, и, уходя, она погрозила хозяевам: «Бог вам пошлет, вот увидите!» И действительно, после ее ухода ребенок мучился четыре дня, пока не заметили, что один пальчик посередине туго перетянут волосом, а узел скрыт между пальцев. Волос вдавился в кожу, вначале принимали за порез, потом палец воспалился, началась гангрена. Но сегодня перед нами вовсе не столь очевидный случай. Живут вместе две женщины, мать и дочь, две несчастные исковерканные судьбы, обе хлебнули в своей безрадостной бестолковой жизни лиха, обе мечтали о простом женском счастье, но не выпало оно им на долю, а выпало мыкать женское горе. Мать под старость ослепла, и Мокошь выводила старуху из избы под руки во двор. И все бы ничего, да тут схватки, воды, роды и все такое прочее. От кого ребеночек? Да мало ли от кого. От римского легионера ли, от плотника ли, от луча с золотыми пылинками – не наше собачье дело! Так вот, исстрадалась, намучалась, заснула. Не все ведь как кошки рожают. Вот разбирали летом одно дело в окружном, Григорий Васильевич как раз обвинял, а я защищал по назначению от суда, так что не даст соврать – ядреная такая, спелая деваха скрывала от родителей, перетягивала живот, а тут время пришло. Родила мертвого и с испугу бросила в печку. Оперлась, рассказывает, на кухне о стол, а из нее что-то вывалилось. Завернула в бумагу от селедки – и в топку. Мать потом увидела замытые следы крови на полу, залили печку водой, достали полуобуглившийся трупик. Врач дал заключение, что младенец был доношен и жизнеспособен и что он некоторое время после родов жил, так как в легких нашли воздух. А Мокошь, прижав к себе сыночка, заснула. И старуха, не желая будить намаявшуюся дочь, решила выйти на двор сама. Вышла, а обратно никак. Споткнулась о полено и упала. Звала, да никто не слышал. В одной легкой кофте долго ли замерзнуть. Вот и нашли ее утром – сидела в сугробе, прижав ладони одна к другой, будто молилась. Легче всего обвинить это незащитное существо с ее прищипленными ушами, гутчинсонсовскими губами, седлообразным нёбом, с привычкой грызть ногти и с ослабленными подошвенными рефлексам! Но указка ли нам, православные, Ломброзо? Обвините вы ее сейчас, и будет для нее в удел одна юдоль, плач и скрежет зубовой. Милосердие есть душа справедливости. Отнимите у тела душу, и вы получите труп. Отнимите у справедливости милосердие, и вы получите букву. Один римский император, подписывая смертный приговор, воскликнул: «О, как я несчастлив, что умею писать!» Я уверен, что старшина ваш, подписывая приговор оправдательный, будет чувствовать иное и скажет: «Как я счастлив, что умею писать!» Да свершится правосудие! Не сомневаюсь, что ваш приговор будет оправдательным и что вы отпустите дуреху с миром и соберете в ее пользу некоторую сумму денег.

В перерыве кто-то из присяжных уже набрался в буфете и кричит на весь зал:

– Захочу – обвиню, захочу – оправдаю!

Перун в своем напутствии просит руководствоваться только внутренним убеждением, здравым смыслом и совестью, сами ведь знаете, говорит, закон что дышло, виноватого кровь – вода, а невинного – беда, без рассуждения не твори осуждения, за чужой щекой зуб не болит. И добавляет:

– Помните: не нужно бояться великодушия – оно никогда не развращает, а лишь облагораживает, даже дурных людей.

Не успели выйти, как уже возвращаются, подталкивая друг друга.

Все встают. Старшина крестится на образ и, откашлявшись, произносит:

– Все живые существа ищут счастья и избегают страдания.

И начинается будущее.

Ребенка у Мокоши отнимут и отдадут в приют, где жарко топят и оставляют на ночь голыми в кроватках на пустой клеенке – чтобы не стирать лишний раз.

Сама она в тюрьме наплачется, потом товарка научит притвориться умалишенной.

– Вот увидишь, – скажет, – сначала переведут в буйное, а там комиссию назначат – и никакой Колымы.

Мокошь станет ночами истошно орать, выть, ругаться, обнажать половые органы, обмазываться собственными испражнениями. Ее и вправду переведут в буйное, где служители молчат и ходят для тишины в валенках. В комиссии будет опытный врач, который шепотом скажет молодому коллеге, только что закончившему курс и вообще первый день на службе:

– Проверить симуляцию, Дмитрий Михайлович, очень просто...

– Николаевич, – поправит покрасневший дебютант, глядя, как Мокошь мочится прямо на ковер, стоя, не присев, только задрав юбку.

– Разумеется, прошу простить, Дмитрий Николаевич, после бессонной ночи, знаете, и не то забудешь. Арестантка двойню рожала – пришлось помучиться. Мальчик и девочка. Сколько уж принял, а каждый раз радуюсь, как студент. Спрашиваю ее, как назовете? А она: Саша и Саша. Да кто ж так делает? – удивился. А мне все равно, в честь отца. Да какая уж честь, говорю, он человека зарезал! А она мне: и правильно сделал, что зарезал! Вот так вот, Дмитрий Михайлович! А с этой дамой мы сейчас раз-два – и готово! Вот смотрите!

И скажет громко:

– Надо дать ей хлороформу! Она уснет, и припадок пройдет!

И поднесет Мокоши, корчившейся в судорогах на полу, понюхать мятного масла.

Та постепенно станет слабеть, замрет и успокоится.

– Вот видите, Дмитрий Михайлович, как все просто. У них это называется «косить». Каждый ломает тут ваньку, будто перед ним недоумки, а к северному сиянию в нетопленный барак снежок жрать никто не хочет. Давайте я вам покажу, как заполнять бланк освидетельствования!

И отправят Мокошь на этап. В Потьму. А накануне перед отправкой ночью она зацепится полотенцем за решетку и удавится. Соседка потом, когда будет рассказывать в поезде после раздачи селедки, за окном как раз мелькнет надпись «Саракташ», скажет про смотрительницу:

– Та, как увидела, затряслась. Понятное дело, за свои места дрожат – народ тоже есть хотящий.

Сварог в Пицунде в соломенном ресторане на берегу будет смотреть, как жена ест пирожное и говорит что-то, подбирая вилкой крем на тарелке. Потом на даче в Вербилках внесут в дом окрепшую за лето пальму. Его сын через два года вдруг закричит: радуга! – это няня гладила, брала в рот воды и прыскала. Еще через год Сварог будет класть мать в гроб, а та вдруг улыбнется. Сварог отпрянет, и ему объяснит служащий из бюро: ничего

страшного, это бывает, просто судорога мускулов. На следующее лето он будет плыть рядом с лодкой, схватившись руками за борт, открывать рот, и новая жена будет класть ему туда клубнику. Свою последнюю речь он закончит, перечеркнув указательным пальцем спертый воздух набитого битком зала крест-накрест: «Ни преступления, ни наказания!» За обедом у него вдруг хлынет кровь горлом – прямо в тарелку.

А Велес через много лет будет лежать ночью без сна и ни с того ни с сего подумает:

– Господи, спасибо тебе за этого ребенка, что посапывает в кровати, за эту женщину рядом со мной, за эту полоску света на потолке, за этот гудок ночного товарняка, вот за эти две звезды в форточке.

А Перун, вытирая платком потную шею, махнет рукой:

– Быть грозе!

И тут же, не смея послушаться, прокатит по дачным крышам далекий гром.

– Вон, посмотри, Рыжик, – Перун ткнет пальцем в сторону рощи, – посмотри, какая созрела слива!

Оттуда, опираясь о верхушки берез, поползет светопреставление, громыхая, ворочаясь, вспыхивая.

– Когда я был маленький, Рыжик, вот как ты, – скажет Перун Рыжику, потому что больше ему не с кем будет разговаривать, – только ты уже старик с хвостом, а я в твои годы был еще мальчиком и читал книжки. И вот в одной книжке было про собаку, которая пришла на могилу хозяина и там его ждала. Мол, давай, вылезай, пойдем, как обычно, по нашему маршруту: булочная, молоко, газетный киоск, сквер, я понесу тебе в зубах газету! Сердобольные кладбищане клали ей под нос куски хлеба, яички или что там еще, но она ничего не ела, так и умерла от верности и истощения. Закопали ее тут же, в могиле хозяина, так что снова они встретились и все ходят где-то по своему маршруту: булочная, молоко, газетный киоск, сквер, и она каждый раз несет в зубах газету. Вот видишь, Рыжик, какие бывают собаки! А вот я не сегодня завтра сдохну, что с тобой будет? Даже отдать тебя некому. Пропадешь, псинка ты моя!

Крыша соседского сарая сперва покроется редкой сыпью, затем враз намокнет, засверкает, отразив небо. Тополя за забором заходят ходуном. На дорожку полетят с сосен сухие ветки. Забарабанит по кусту сирени. Из водостока сначала робко закапает, затем польется струйкой, потом рванет целый поток, стремительный, с разбега, мимо бочки, будет расплескивать по флоксам кирпичную крошку и грязь.

И Перун на веранде схватит за подол выбросившуюся в окно занавеску.

И мир покатится в тартарары, обрастая подробностями, как снежный ком, и будет сопеть, урчать, цыкать, шамкать, грассировать, откашливаться, гундосить и мычать до скончания веков, пока кто-то не захлопнет эту книжку в звездном переплете.

Вот и сподобился.

Ликуйте, афиняне!

Любезному Гипериду от протухшего словаря русских судебных ораторов. Настоящим доносим до Вашего, что надо признать. Никуда не денешься. Посему при подготовке очередного издания сочли возможным и в чем-то даже – врать так врать – желательным включение в наш почтенный ежегодник статьи и о Вас, чем поневоле отдаем должное Вашей многолетней благотворной деятельности на поприще выяснения Истины, являющейся, как записано в статутах, продуктом судебного разбирательства. Поймите, дорогой наш, недоброжелатели и завистники тоже ведь не всемогущи, так что вот тебе, братец, словарная статья третьей степени за выслугу лет. Лучше поздно, чем после твоей смерти. И потому, колючий, но великодушный Гиперид, умеющий добиваться прощения злодеям с морелевыми ушами, прости и ты нам и вышли заказным фотографию и свою жизнь на двух страничках, сколько сблудивших рыбиц из моря человеческого спас ты от крючка и не кусал ли в детстве мамку за сиську.

Сел писать свое прохождение жизни, но попало какое-то перо-заика.

И так пробовал и этак, и с начала начинал и с конца – а все некролог выходит. Взял с полки том, полистал, мамочки родные, не словарь, а кладбище.

Так и начать:

Ему нужен покой. И есть от чего отдохнуть.

Или:

Усопший был продуктом своего времени, шального и недальновидного, смалывающего человека своим жерновым камнем на чью-то потребу. На чью потребу?

Выпил чаю, глядя в окно. Там стая птиц кружила над деревьями, будто их кто-то гонял ложкой, как чайники.

Захотелось пройтись. Зашел к Анечке. Мой ангелочек потянулся ко мне, обрадовался, пустил слюнки. Я снес ребенка вниз, посадил в коляску. Мы пошли в Знаменский парк. Приходим, а там осень. Все ей рассказал: смотри, вот это сентябрь. Вот это, держи, кленовый лист, его можно поставить дома в вазочку, забыть в книге или просто запомнить. Эта дорожка ведет до реки Волги, которая до песчаных берегов наполнена инфузориями. Волга впадает в Гирканум. Вон дети прячутся за деревьями. Тут, гляди, в лужице солнце. Астры. Они цветут. Сосна. Она бросается шишками. Воздух. Он, нюхай, пахнет. Там, наверху, между веток, Бог. Вот это ветер, он забирает с собой прошлое. Болтаю что-то, и чудо мое улыбается.

Вернувшись, опять потащил себя за шкирку в кабинет. Снова стал листать словарь. Зачем? Для чего? Кому? Напечатают петитом несколько бесполох фраз, поместят фотографию какого-то экспоната из музея восковых фигур. Какое все это имеет отношение к опостылевшей комнате, замурованной кирпичами книг, к начинающей стремительно стареть коже, к зеркалу, в котором живет правша?

Мучил себя, мучил, потом плюнул. Дело терпит. На следующей неделе напишу. И тогда – потеснитесь, высокомерные сокамерники по алфавиту! Я со своим узелком лезу к вам на нары вечности! Пусть узнает обо мне жучок-буквоед на книжном складе! Вот сдохну, и будет эта книжка моим единственным земным пристанищем. Спрячусь там, прикрывшись обложкой, и затаюсь в засаде среди страниц, пока – в ожидании Страшного суда – кто-то не возьмет, чтобы успокоить захныкавшего ребенка, первый попавшийся фолиант с полки:

– На, Манечка, полистай картинки, – и тут мне, распахнутому из небытия, детский пальчик ткнет боязливо в бороду – вдруг цапну.

Где ты, проснувшийся среди ночи Гиперид? Как ты сюда попал? Что это за голоса кругом? Кто эти люди?

Все здесь какое-то непрочное, зыбкое, переливчатое. То какой-то шепот, то чье-то невнятное бормотание. Все здесь какое-то странное. И люди здесь не совсем живые, и мертвецы не совсем мертвы. А может, этот сентябрь – самый Гадес и есть? Обернись! Взгляни! Вдохни полной грудью! Кругом заливные асфodelевые луга. За перелеском тянутся стигийские болота, оттуда каждый год ведрами тащат клюкву, морошку. Краснощекие листья сыплются в студеную Ахеронтку – и не скажешь, что когда-то была судоходной, так заросла, затинилась. В камышах, услышав шаги, замирают лягушки, в омуте – облака. Насвистывая, идет по тропинке отец, полы распахнутого пальто цепляются за репейник. Остановился, ковырнул носком ботинка чем-то привлékший голыш, хмыкнул, зашагал дальше.

– Отец!

Не слышит.

– Отец, постой!

Оборачивается. Морщит лоб, водит глазами, прислушивается. Поднимает хрустнувший сучок. Бросает в речку. Всплеск. Разбегаются круги. Листья, прилипшие к черной воде, качаются на волнах, как на детской лошадке.

– Отец, ты совсем стал плохо видеть. Вот он я. Вот моя рука. Дай я тебя обниму.

Трогаю его потертое, обсыпанное березовыми семенами пальто, а рука проваливается куда-то. Там, внутри отца, какой-то кисель из пустоты.

Он усмехается:

– Ну, что я говорил! Все тела состоят из киселя, кисель – из атомов, атомы – из букв.

Покойный родился в семье директора школы, где в цветочном горшке на подоконнике огрызок яблока, а из туалета лезет запах мочи.

Чу! Что за нездешние звуки летят по пустынным вечерним коридорам? Чьи шаги нарушают дерзко покой цитат и портретов? За кем бежит вприпрыжку по натертому до свиста паркету эхо Медведниковской гимназии?

Это бьет сарацин-невидимок шлемоблещущий мальчик, измученный очками с одним стеклом от косоглазия и истерзанный навязчивым страхом проглотить паука. Отец подарил мне на шестилетие сделанный в столярке учениками рыцарский набор – шлем, маленькие латы, похожий на крышку от кастрюли щит, обоюдоострый меч и длиннотенное копье. Вечером, когда здание запиралось на ночь, я убежал из флигеля, где отцу дали казенную квартиру, и с воплями носился по темным коридорам, разя направо и налево полчища врагов. Это был мой захваченный ими дом, мой замок, моя крепость, и я в яростных схватках срубал чалмы вместе с головами с обидчиков, очищая от скверны школу этаж за этажом.

По-моему, я был единственный, кто не боялся отца. Хотя под его взглядом, приводившим в моментальное смирение любой, даже самый отчаянно бунтовавший класс, и мне иногда становилось не по себе. Кроме математики отец преподавал логику. Закуривая, он говорил:

– Приятное иногда предосудительно, а предосудительное всегда вредно. Следовательно, вредное иногда приятно.

Надевание на меня ненавистной теплой фуфайки сопровождалось заговором:

– Шерстяные одежды поддерживают тепло в теле. Предметы, поддерживающие тепло, – дурные проводники тепла. Следовательно, некоторые дурные проводники суть одежды из шерсти.

Слова завораживали, и я не сопротивлялся.

Иногда, если мне удавалось его упросить, он рассказывал мне перед сном удивительные, ни на что не похожие сказки. Действие происходило где-нибудь в Индии или Африке. В них египтянка могла прийти со своим сыном к Нилу, и там на берегу ребенка хватал выбросившийся из воды крокодил. Мальчика в этих сказках всегда звали как меня, и было ему всегда столько же лет, и выглядел он всегда так же, даже очки носил полузаклеенные. Египтянка начинала рыдать и просить крокодила вернуть ей Сашу.

Я ощущал когтистую тяжелую лапу на моем загривке, чуял смердящее утробное дыхание, слышал над ухом клцанье корявых зубов.

Тут крокодил говорил:

– Верну, если угадаешь, исполню ли я твою просьбу или нет.

Мать отвечала:

– Не исполнишь.

Крокодил:

– Теперь ни в коем случае я не должен отдавать тебе ребенка. Если твой ответ верен, то ты не получишь его по собственным словам, если же неверен, то ты не получишь его по уговору, – чудовище собиралось уже заглотить меня.

Дальше происходило чудо. Египтянка торжествующе заявляла:

– Если мои слова верны, ты должен отдать ребенка мне по условию, если же нет, то ты отдашь мне моего ребенка.

Челюсти разжимались, и я оказывался спасен.

Что-то не спится. Все вспоминаю отца, нашу квартиру, маму.

Вот он за солнечным завтраком ловко, с хрустом, отсекает яйцо всмятку пустую голову. Вот в актовом зале на выпускном экзамене торжественно вскрывает конверт с темами для сочинения, а ножницы вдруг выпрыгивают у него из рук и прыгают, лязгая, по паркету. Вот он играет на мамином дне рождения на рояле, и к Шопену примешивается легкая кастаньетная дробь – у отца были длинные холеные ногти. А это мама – проверяет, заплетая на ночь свою тоненькую косичку, выучил ли я заданный урок. Перед уходом в театр целует меня, и сережка остается в моей кровати.

Они совершенно не подходили друг другу, отец – весь в иголках и педант, она – забываха и растрепана. Ее пальцы вечно были в пятнах от химикатов. Мама преподавала химию, ничего в ней не понимая. Предмет свой не любила совершенно, но больше всего боялась это показать. Опыты у нее постоянно не удавались. А если что-то все же получалось и белое превращалось в красное, огонь в воду, а камень в стружку – удивлялась превращениям не меньше других. За опытами всегда бормотала, будто молилась химическим богам, жившим в вытяжном шкафу.

Она могла пройти по актовому залу в перепачканном мелом жакете. Из-под юбки мог сверкать, как клинок, край белья. Отца ее неряшливость бесила, но он никогда не повышал голоса, разве что выдавал какой-нибудь недоступный мне силлогизм, но очевидно хорошо понятный маме, потому что после этого они могли не разговаривать друг с другом днями.

На обеденном столе, серванте, на каждом стуле, на моей кровати темнели в укромных местах бляхи с инвентарными номерами. Даже картины на стене были казенными. Отец, помоему, и не хотел иметь ничего своего. Он был легкий и будто боялся вещей.

Когда я сильно надоедал ему, он брал какую-нибудь книгу потолще с полки и говорил: – На, Сашенька, полистай картинки!

На картинках были изображены какие-то странные люди в передниках с головами шакалов и крокодилов. Картинок было мало, но то, что в толстой взрослой книге было написано, увлекало гораздо сильнее, чем какие-нибудь Каштанки. Я принимался читать и никак не мог оторваться, хотя многое было просто недоступно моему детскому разумению. Меня смущало, например, не то обстоятельство, что Осирис был женат на своей сестре, но упоминание, что он вступил с нею в брак еще до рождения. Было непонятно, как это перо на весах может перевесить сердце, или что значит зачать от мертвого, и вообще что такое фаллос. Хотя, с другой стороны, многое казалось чем-то родным: когда Осириса бросали в сундуке в воды Нила, это живо напоминало «туча по небу идет, бочка по морю плывет», феникс сверкал перьями не хуже жар-птицы, а саркофаги с мумией внутри вкладывались один в другой, как матрешки.

Я снова приставал к отцу:

– Значит, после смерти каждый становится Осирисом?

Он проверял тетрадки за столом и кивал мне головой:

– Да.

Я не унимался:

– И Пушкин Осирис?

Он снова кивал:

– И Пушкин. Не мешай.

Остановиться я не мог:

– И ты Осирис?

Отец откладывал перо, смотрел на меня и улыбался:

– Нет, я ведь еще не умер.

– А когда ты умрешь?

Он смеялся. И вдруг говорил зловещим шепотом:

– А где вчерашняя газета?

И тогда наступали счастливейшие минуты. Мы сворачивали из старых газет дубинки и начинали колошматить друг друга, гоняясь по комнатам.

А ведь я уже старше тебя, мой водохлеб. Где ты?

Он всегда пил только одну чистую воду из графина, стоявшего на обеденном столе.

Отец говорил:

– Человек на 80 процентов состоит из воды, а не из чая с лимоном или кофе со сливками.

Ну вот, хотел набросать черновик *curriculum vitae*⁵, а получилось что-то à la Карл Иванныч.

Принимаю. Входит девочка, робко, бочком, испуганная, глаза на мокром месте, нос красный, распухший.

– Что же вы там встали? Смелее, смелее, проходите, присаживайтесь.

Села на краешек.

Взглянул на визитную карточку.

– Значит, это вы, мадемуазель, и есть Лунин Павел Петрович?

Смутилась еще больше, вскочила.

– Это мой отец, мы с ним выступаем вместе. Но все это недоразумение, папа ни в чем не виноват! Это какая-то ошибка!

Насилу усадил:

– Да успокойтесь вы, ради бога!

Сморкается, шмыгает носом, вот-вот разревется.

– Вы даже не можете себе представить, как все это ужасно!

– Милая моя, – отвечаю, – уверяю вас, я легко могу себе представить все на свете. Ну, рассказывайте, посмотрим, чем я могу вам помочь.

– Мой отец... Он... Его...

Вот и рыдания. Лицо прячет в платке, плечики дрожат, оттопыренные уши полыхают.

– Да прекратите вы, наконец! Как вас зовут? Выпейте воды!

Шепчет чуть слышно:

– Аня...

– Вот видите, и у меня дочка Аня, Анечка. В два раза вас меньше, а так не плачет!

Сначала отказывалась, потом выдула целый стакан.

Смотрю, как она пьет, как, извинившись, встает, подходит к зеркалу, чтобы привести себя в порядок, как пудрит по-взрослому нос, как проступает сквозь облегающее платье резинка пояса для чулок. И знаю наперед все, что скажет. Умоляю, скажет, спасите моего ни в чем не повинного отца, убившего третьего дни при невыясненных обстоятельствах под гудок далекого курьерского до сих пор не опознанное тело, небось читали в газетах, везде про это пишут. Да-да, конечно, читал, еду позавчера на дачу полуденным сентябрьским поездом, солнце прошибает вагон насквозь, а вдоль насыпи тополя, и вот газета то вспыхнет, то погаснет, не «Волжский вестник», а морской семафор: точка-тире, точка-тире. Глаза болят.

– Следствие, насколько мне известно, Анна Павловна, не располагает какими-либо серьезными уликами против вашего отца. Все так неопределенно, запутанно. Неизвестно ни кто явился жертвой, ни мотивы преступления. На догадках нельзя построить серьезного

⁵ Жизнеописание (*лат.*).

обвинения, потому и мерой пресечения господину Лунину избрана лишь подписка о невыезде.

– Поймите, это удивительный человек, он совершенно не способен на такое!

– О, милая девочка, вы даже не знаете, на что способны эти удивительные люди! Впрочем, простите. Я лично глубоко убежден в полной невинности вашего отца. Разумеется, это всего лишь огорчительное недоразумение. Уверен, что в ближайшее время обстоятельства этого неприятного дела вполне следствием прояснятся и полиции придется принести вам извинения. Если же дело, паче чаяния, все-таки доберется до суда, что ж, благодарен за доверие, которое вы мне оказываете. Не сомневайтесь в моей поддержке. Дело абсолютно выигрышное. Я сделаю все, чтобы Павла Петровича оправдали. Кстати, а что же он сам не пришел?

Вроде успокоилась, радостно кивала головкой, а тут опять встрепелась, испуганно пролепетала:

– Он плохо себя чувствует. Он болен. У него температура.

– Что ж, передайте ему в таком случае мои искренние пожелания скорейшего выздоровления.

Вскочила, растерянно зарделась.

– Деточка, что еще?

Протягивает конвертик.

– Что это?

– Здесь пятьдесят рублей. У нас больше нет.

– Спрячьте!

Сует конверт мне на стол под бумаги.

– Что вы делаете? Заберите немедленно деньги!

Испуганно мотает головой.

Взял конверт и засунул ей в сумочку.

– Возьмите хоть контрамарки! – встрепелась. – Приходите с дочкой, мы выступаем в театре Зимины. Вам очень понравится.

– Забавно. И когда же?

– Да хоть сегодня вечером.

– Позвольте, но ведь ваш отец болен.

– Вы не понимаете, он артист. Он не может не выйти на сцену, когда выход уже объявлен!

Шмыгающая носом Аня, тебе кажется, что этот человек, к которому ты пришла, большой, сильный, благородный. На его речи ходит по билетам публика. Волжская знаменитость, к которой обращаются за помощью, когда в семью приходит горе. Последняя надежда. А он, может, обгрызенного твоего мизинца даже не стоит.

Завтра:

К зубному.

Сфотографироваться.

Заказать у Толбеева книги по каталогу.

Смотреть закладные по делу Е.

Вечером – театр Зимины (?).

Никуда нельзя пойти, чтобы не встретить знакомого. Нынче в Зимины, в гардеробе. Суэта. Мокрые зонты, плащи. Со шляп течет. Театральные запахи: из зевающих дамских сумочек, от пыльных плюшевых диванов, от намокших волос гимназисток. Из буфета тянет жареным кофе.

Все смотрят на мою девочку. Иду гордо, веду ее за ручку.

– Идем, Анечка, сейчас начнется.

Тут К.К.

– А вот и Александр Васильевич собственной персоной! А крошка ваша как вымахала! Ангелочек наш! Кавалерист-девица!

Лопочет что-то с восклицательными знаками. В бороде крошка, на галстук пятна щей. Покойница, небось, переживает, смотрит сейчас откуда-нибудь из зеркала на своего вдовца и сокрушается – без нее ничего не может, совсем опустился.

– Вот моя-то на вас бы, Александр Васильевич, порадовалась! Уж она в вас души не чаяла! А народа-то смотрите сколько пришло! Говорят, начинал при пустом зале, а теперь – битком. Публика-то у нас сами знаете какая. Им бы все на злодея поглазеть. А порядочный человек – зачем ей нужен? Вы уж на сороковины загляните. Ей будет приятно.

Обещал. Куда денешься.

Уже простились, пошли в зал, старик все махал Анечке, та пускала от удовольствия пузыри, вдруг он опять как стиснет мне руку и шепотом в ухо:

– Вы святой человек! Я благодарю вас!

Милый, глупый К.К. Почему-то они все думают, что это должно приносить страдание – вот так за ручку гулять с моим чудом в каком-нибудь людном месте. И ничего не объяснишь, а начнешь объяснять, будут кивать головой и жалеть еще больше. Бог с ними.

Душный знаменский зальчик действительно был полон. Посадил Анечку на колени.

– Смотри, сейчас дядя волшебник будет показывать всякие фокусы!

Публика нетерпеливо аплодировала, мое чудо тоже захлопало в растопыренные ладошки.

Занавес чуть колыхался на закулисном сквозняке. Я все вытирал красавице моей слюнки. Наконец сцена открылась и к рампе вышел не индус в чалме и не Мефистофель в огненном плаще – этим персонажам я бы не так удивился, – на сцену вышел мой учитель чистописания Громов, вальяжный, большеголовый, подслеповатый. Все та же холеная борода, та же снисходительная полуулыбка, те же длинные розовые ногти. Сказать, что я испытал трепет, – ничего не сказать. Вдруг сразу вспомнил себя растоптанным школяром, которому этот ушедший после какой-то истории из университета профессор презрительно бросил на парту тетрадку со словами:

– Это, любезный, не из русской чернилницы.

Как тут не поверить если не в переселение душ, то хотя бы тел. Даже голос переселился. Даже манера повторять по нескольку раз сказанное, чтобы дошло до тупиц за последними пальцами. Даже школьную доску захватил с собой мой неудачливый профессор.

Начал Лунин с математических экзерсисов. Ему ассистировала переселившаяся Шахерезада – в зеленых шароварах, с голым животом, в полупрозрачной чадре. В прелестнице, семенившей по сцене под перезвон колокольчиков на поясе, сложно было узнать мою заплаканную доверительницу.

На черной доске она писала мелом заказанные охотниками из публики пятизначные числа, которые Лунин с легкостью умножал, делил или возводил в квадрат.

– Поверьте, – усмехался он в ответ на аплодисменты, – в этом нет ничего особенного, ничего особенного. Просто каждый из нас использует данное ему кое-как, с ленцой. Чтобы стать силачом, нужно просто почаще напрягать мышцы, напрягать мышцы.

Перешли к шестизначным. Лунин подносил ладони к вискам, напрягался на какое-то мгновение, затем небрежно бросал ответ. Один раз ошибся, но тут же сам себя поправил.

Неверующий Фома, переселившийся в моего пузатого, тяжело дышавшего соседа сзади, сам полез на сцену с заготовленной бумажкой. Придирчиво осмотрел мел – вдруг с подвохом, повернул доску так, чтобы было видно только зрителям, и, сверяясь со своим листком, вывел два ряда цифр, которые нужно было перемножить. Лунин сказал:

– Можете не показывать мне, просто назовите.

Выслушал, глядя куда-то в потолок, только кулаки его терлись друг о друга, и неспешно произнес какое-то бесконечное число.

Фома, тупо глядевший в бумажку, просиял и под аплодисменты развел руками, мол, ничего не попишешь. На свое место он вернулся весь перемазанный мелом.

Лунин запоминал за несколько мгновений длиннющие ряды чисел и воспроизводил их справа налево и слева направо, вытворял еще какие-то чудеса с арифметикой, но все это была только прелюдия, разминка.

Лунин объявил, что обладает уникальными способностями читать любой текст пальцами и готов сообщить содержание любого послания, запечатанного в конверт, не вскрывая его. Одалиска забежала по рядам, раздавая желающим бумагу и конверты. Подбежала и к нам. Улыбнулась под газовой чадрой:

– Вот, возьмите!

Упорхнула, оставив после себя запах дурманящих духов и детского пота. Лунин предупредил:

– Прошу вас, господа, не писать печатными буквами! Поверьте, не стоит без нужды упрощать эксперимент!

Я проверил конверт, бумагу. Вроде без обмана. Достал самописку. Загородив ладонью, чтобы никто из окружающих не мог подсмотреть, крупно вывел:

ТЕЛЕГРАММА

Потом мелко, обычным своим почерком:

«Смертоубийство не вменяется в преступление, когда оно было последствием дозволяемой законом обороны собственной жизни или целомудрия и чести женщины или жизни другого».

Хорошенько послонявил, заклеил, еще раз проверил на свет, на ощупь и отдал подбежавшей Ане.

Собранные конверты были положены перед Луниным на поднос. Воцарилась тишина.

Он поднял руки, слегка потряс ими в воздухе, как бы давая им расслабиться, отдохнуть. Взял из кучки первый конверт, положил перед собой, зажмурился, стал водить над ним пальцами. Было видно, что лицо его напряглось, взбухли жилы. Лунин долго молчал, наконец произнес:

– Я помню чудное мгновенье.

Оглянулся.

– Встаньте, кто это написал.

В третьем ряду против нас встала растерянная девица. Покраснела, захлопала в ладоши. Лунин разорвал конверт и продемонстрировал пушкинскую строчку зрителям. Остановив восторг публики мановением руки, он взял следующий конверт. Там кто-то объяснялся в любви. Опять послание было прочитано без ошибки. В третьем была запечатана латинская гимназическая мудрость.

– У вас здесь ошибка, – скривил губы Лунин, прежде чем вскрыть конверт, – *Ad calendas grae-cas*⁶ – в греках вы второпях пропустили *E*.

Лунин взял следующий конверт. Напрягся, закрыл глаза, стал водить по нему ладонью.

– Ну это просто – «Телеграмма». Встаньте, чье это?

⁶ До греческих календ (лат.).

Мне стало не по себе. Снова ощутил себя напроказившим мальчишкой. Я встал, моя глупышка вскочила тоже – на нас обернулся весь зал.

– Я же просил не писать крупно печатными буквами, – недовольным тоном произнес Лунин.

Чтобы как-то подбодрить себя, я крикнул:

– Читайте, читайте дальше!

Его пальцы несколько раз пробежали по бумаге. Он перевернул конверт, снова забегал пальцами, опять перевернул. Лицо его изменилось, самодовольная улыбка исчезла. Мне показалось, что он побледнел.

Наконец медленно произнес слово в слово написанное мной.

– Верно?

Снова все обернулись на нас.

Меня пот прошиб. Я только смог промямлить:

– Да, верно, – и брякнулся в кресло. Зал захлопал в ладоши. Анечка моя испуганно прижалась к моей руке, я стал гладить ее по головке.

– Все хорошо, чудо мое, все хорошо!

Объявили перерыв. Мы вышли в фойе. Моя крошка почувствовала, что со мной что-то не так, и стала хныкать. Зная, что уже не успокоить, повел в гардероб. Только стали одеваться, вдруг:

– Вот вы где, а я вас ищу, ищу!

Оглянулся – это Аня, с огромными накладными ресницами, в румянах. Завернута в толстый отцовский халат.

– Пойдемте, я познакомлю вас с папой!

Мы пошли за кулисы. Там было темно, тесно от пыльного хлама, воняло машинным маслом. Прошли мимо ряда обшарпанных дверей и остановились перед последней. Аня постучала.

Раздался недовольный голос:

– Кто там еще?

Аня заглянула в комнатку:

– Это мы!

Мой оживший учитель чистописания сидел с закрытыми глазами перед зеркалом и тер себе виски чем-то из флакона. Сильно пахло аптекой. Ободранные стены были обвешаны дохлыми афишами.

– Позвольте выразить вам мое восхищение, – начал я. – Вот уж не думал, что на свете еще случаются чудеса. Чтобы переплунуть девицу Ленорман, вам остается только предсказать, помимо дня своей следующей смерти, дату и место воскрешения, а также сообщить по секрету, каким образом вы добыли тело моего покойного учителя господина Громова.

Лунин открыл уставшие желтые глаза. Его лицо было серым в свете тусклой лампочки, лохматой от пыли.

– Что вам еще от меня нужно?

– Прекрати! – вспыхнула Аня. – Это же Александр Васильевич!

Лунин снова закрыл глаза.

Аня растерянно улыбнулась, чтобы как-то сгладить нелюбезность отца.

– Пожалуй, мы пойдем, – сказал я. – Кажется, господин волшебник не в духе.

Лунин вдруг грохнул кулаком о стол. Флакон подскочил и, упав на пол, разбился. Во все стороны брызнули осколки, я еле успел закрыть рукой лицо моей крошке, чтобы не попало в глаза. Она заревела.

Лунин вскочил и сказал, стиснув зубы, почти спокойным голосом, не глядя на меня:

– Я не нуждаюсь ни в каких защитниках. Послушайте меня внимательно. Подите все вон! Я устал! Я никому больше не собираюсь ничего объяснять. И передайте вашему прыткому следователю господину Истомину, что если этот молокосос еще раз ко мне заявится в гостиницу со своими уликами, я спущу его с лестницы!

Я пожал плечами.

Аня смотрела на отца с ужасом.

Я взял ревущее чудо мое на руки, стал гладить по голове.

– Уверяю вас, – сказал я перед тем, как уйти. – Со мною никто в жизни ни разу не позволил себе такого тона. Но я готов понять ваше состояние. Боюсь, вы недооцениваете всей серьезности ситуации. Прощайте.

Он закричал нам вслед:

– А мне плевать на вас и на вашу ситуацию! Я ни в чем не виноват и ни перед кем оправдываться не собираюсь!

Дали звонок ко второму отделению.

Мы уже выходили на улицу.

Хорошо, что ты был со мной, мой воробышек. Спасибо тебе. Сейчас вот посидел у твоей кровати, почитал тебе твою любимую книжку с аршинными картинками, поцеловал твой заснувший кулачок, и вся эта история показалась даже забавной.

А ты сопишь себе во сне. Вот бы залезть к тебе в сон. Что там, как? Где ты сейчас? С кем? Думаю о тебе, спасение мое, и, значит, как раз сейчас тебе и снюсь.

Все кругом делают вид, что жалеют тебя, а на самом деле боятся. А может, меня жалеют и себя боятся.

Наклонился над тобой поцеловать на ночь, а у тебя глазки под веками бегают, и дышишь тяжело, часто – куда-то бежишь. Куда бежишь, от кого? Ничего не бойся, единственная моя, я с тобой, беги ко мне. Вот я. Нам с тобой вдвоем ничего не страшно.

Сороковины.

Думал, один только и приду, а там чуть ли не все наши судейские. И уж сословие все как на подбор. Старика К.К. грех не любить, вот все и любят. И друг другу, чокаясь, на ушко:

– А покойница-то, прости господи, вредная была баба! Как это он с ней тридцать лет?

И хором:

– Вечная ей память! А вы, дорогой наш К.К., крепитесь, держитесь, она ведь не умерла вовсе, смерти-то, сами знаете, нет. Где-нибудь ваша половинка здесь, рядышком, смотрит сейчас на вас, головой качает, радуется, что помним ее, поминаем, пьем за ее сварливую душу и ее же грибочками закусываем. Вот ведь как, дорогой наш К.К., вашего родного человека уже на земле нет, а грибочки вот они, ее, знаменитые, пряные, крепкие, похрустывают! Да и потом, по правде сказать, может, вы и еще женитесь, под старость, знаете, хорошо пригреться у здорового тела!

А К.К.:

– Да-да, именно так, дорогие мои, я ведь тоже тут подумал, что со смертью что-то не так! В гробу лежала – как чужая. Смотрю на нее и думаю: нет, это не моя Маша, это кто-то еще. Ночью не спится – все кажется, что она в соседней комнате в шкафу вещи перебирает. Встану, войду туда – никого. Открою шкаф – а там ее запах. Вы понимаете, там ею пахнет. Да и куда ж ей деться! Вот и разговариваем все время. Что-нибудь спрошу или расскажу. А она молчит. Молчит, ну и пусть молчит! Хочешь дуться – дуйся себе на здоровье. Мы ведь так с ней и жили – по целым дням друг на друга шипели. Вот и сейчас она где-то здесь, просто за что-то на меня обиделась и не хочет выйти. Давайте я вам, Александр Васильевич, лучше мои сокровища покажу!

Пришлось в сотый раз восторгаться и шоколадным Моцартом, и Гёте, взирающим со дна пепельницы, и Кантом на пивной кружке.

И поддакивать:

– Да-да, удивительный народец! Просто удивительный. Потому у них там бог знает что и творится: и лагеря, и топки, и погромы, и костры из книг, что все вперемешку – и вершки и корешки. Нет, тевтонец, оставь верх верхам, а низ низам! А вот и господин Истомин! Вам, молодой человек, штрафную!

Блондин. Макушка под потолок. Нервный. Не знает, куда деть свои десять рук. На длинной шее голова дергается, как у петуха. Все время поправляет очечки. Ни зеркала не пропустит, ни стекла в серванте. Платочек наготове. И ноги тоже мешаются, то так их пристроит, то этак. Выпил, поморщившись. Зато закусывает с аппетитом. Это тебе не казенный буфет.

К.К. не унимается:

– Вот, угощайтесь, здесь судак, здесь заливное, тут холодец, блинков, блинков ему положите!

И все хором:

– А вот оливье! Не закрывайте тарелку, давайте я вам селедочки под шубой, вот так, вот так!

Истомин:

– Благодарю, благодарю!

Хор:

– А кстати, господин следователь, трудный вам орешек для первого дела подсунули мойры?

Истомин:

– Все, знаете, лучше, чем украденный гусь или растрата в ссудной кассе.

Хор:

– Да вы не сердитесь на нас! Что вы, право, такой букой.

Истомин:

– Да с чего вы взяли, что я сержусь?

Хор:

– Вот вы молодой, горячий, хотите всем сразу себя показать. Это хорошо. И мы такими были. А что, скажите, уже какие-нибудь успехи есть?

Истомин:

– Не скрою, кое-что мне уже удалось. Но не думаю, что было бы в интересах следствия сейчас распространяться об этом.

Хор:

– Ну что вы ломаетесь, как красна девица! Что-нибудь дал опрос тех, кто был в гостинице в тот момент, когда донесся гудок далекого скорого?

Истомин:

– Несчастливого обнаружили только на следующий день. За сутки, сами знаете, у любого в памяти будет каша. Да еще гостиница – проходной двор. Да еще с нашим судом дураков мало связываться. Суд прямой, да судья кривой. Была бы голова, а вши найдутся. Всех мимо, а Мину в рыло. Зубами супони не натянешь. Одним словом, никто ничего не видел и не слышал. Мол, знать не знаю и ведать не ведаю.

Хор:

– Ну же!

Истомин:

– Спрашиваю горничную: милая, расскажите подробно, как вы увидели, – войдя, тяжело дыша, все-таки годы дают себя знать, как-никак убрала целый этаж, а эти все ведь

норовят наследить, наплевать, испачкать, изгадить, вот и трешь, скоблишь, вылизываешь, видите, вчера ноготь сломала. А в пятом номере белье пеплом прожгли, не доглядела, так плати. В девятом полотенца недосчиталась. А то еще облюют все кругом, и ковер, и матрац, а я одна, у меня двое крошек. Вот и крутись как знаешь. Я стучу – никого, а сердце вдруг екнуло, будто чувствовало, сразу вспомнила, как у нас два года назад один повесился, совсем еще мальчишка, сопляк. С матерью, что ли, поругался. Что-то непременно считал должным ей доказать. Оставил записку, мол, ты сама этого хотела, так на вот, получи. Повесился в комнате на крюке для люстры, а перед этим еще на столе навалил кучу. Все мстил кому-то. А кому мстил-то? Убирала-то я. Значит, мне и мстил. Значит, я чем-то ему жить не дала. Так вот все и мучаемся, так каждый каждому поперек горла и стоит – хоть вешайся!

Хор:

– И что мать?

Истомин:

– За ней, конечно, сразу послали. Хорошо, я успела со стола убрать. Ее не нашли, где-то она не дома была, а когда прибежала, сына уже увезли. И вот она мне говорит – покажите, я хочу видеть, где это было. Беру ключ, веду ее туда, открываю. Она стоит, смотрит на крюк. Все стоит и стоит. Я уж думала, ей плохо, спрашиваю – с вами все в порядке? А она только головой кивает, мол, да, спасибо, все хорошо. Потом спрашивает: ничего от него больше здесь не осталось? Нет, отвечаю, все полиция забрала, там получите. Попросите, и вам вернут. Говорю ей: вы молитесь за него, и на душе будет легче, вы, главное, знайте, что он вас любил. Он вечером вчера у меня чай попросил, слово за слово, и я его про батюшку с матушкой спросила, так он о вас так хорошо говорил, а себя все ругал, что он перед вами виноват. Вы, главное, знайте, что он вас любил, и вам легче будет. Она тут разревелась у меня на плече. Я с ней вместе и в полицию поехала. Она говорит – вы мне совсем чужая, а сейчас мне родней вас никого нет. Глажу ее по плечу и думаю, а ведь, не приведи господь, мои вырастут и такое учудят! Ее ведь в детстве тоже был ангелочком и мамочку свою любимую жалел. И вот будет она теперь жить без него. А я, если с моими что-нибудь случится – сама сдохну, не переживу, зачем дальше-то жить! Или переживу? И тоже буду завтракать, мыть полы, сахара два куска класть в стакан?

Хор:

– Да мало ли что в жизни с нами будет. Что ж об этом говорить. Вот и Мария Львовна думала ли, что вот так за здорово живешь на собственной кухне заглянет в кастрюлю – и всё. К.К., несчастный старик, рассказывал: приходит он на кухню, а жена на полу лежит, и в руке крышка от кастрюли. Пальцами так ухватилась, что разжать не мог. Ну, так открывает она дверь, и что?

Истомин:

– Стучит-стучит – никто не отзывается. Хочет открыть ключом, а с той стороны заперто и ключ в замке. И что же вы, спрашиваю, сделали? А она мне: я испугалась. Бестолковая женщина. Я не спрашиваю, милая, что там у вас внутри. Мне – какая разница? Я спрашиваю: как вы увидели то, что увидели? Вдруг, говорит, шаги. Мужчина молодой такой, статный. Красавец, одним словом. Только что от парикмахера – весь благоухает. Остановился. Спрашивает: вам помочь? А у меня все внутри к горлу поднялось, тошнит. После того случая все время, когда дверь сразу не открывают, думаю – опять! Растерялась, хотела что-то сказать, а он уже у меня взял ключ и пытается открыть. Понятно, говорит, там с другой стороны ключ в замке. Видит, у меня в отверстии передника иголка. Хвать ее – раз-два, и с той стороны что-то звякнуло. Ну вот, открывает дверь, видите, как просто. А мне ничего еще не видно, только лицо этого мужчины. Он туда, в комнату, смотрит и вдруг трясет головой. Говорит: не заходите! И лучше не смотрите. Вам не надо сюда смотреть. Идите лучше звоните в полицию!

Хор:

– Вот это наверняка самый тать и был! А как же иначе! Известное дело – их всегда потом туда тянет! Нам ли не знать этого брата! Мы уже на них собаку скушали! Небось, своего же и порешил! Татем у татя украдены утята! А когда прибыли чины, этого, пахнувшего резедой и ребарборой, уже и след простыл?

Истомин:

– Разумеется.

Хор:

– А труп-то опознали?

Истомин:

– А вы как думаете?

Хор:

– Поди ж ты! В каком веке живем, а все то же: без бумажки ты букашка! Вот нас, к примеру, оставь где-нибудь в Сызрани или в Липецке без документов, придуши проводом в тихом углу – и всё, даже голову отрезать не нужно. Отпечатков пальцев наших днем с огнем нигде не сыщешь. Фоточки наши с выколотыми глазами рассылай хоть по всему свету – никто не признает. Так и останется от нас потомкам разве лишь протокол содержания желудка. Хорошо, если забудется под дырявую подкладку визитная карточка! А если не забудется? Что тогда? Нырнем инкогнито! В дырявой подкладке смотрели?

Истомин:

– Дайте хоть прожевать, господа!

Хор:

– А что вы думаете, человек может, к примеру, прочитав руками письмо в закрытом конверте?

Истомин:

– И вы были у Зимина?

Хор:

– Ходил с дочкой. Забавно все-таки. Все эти штучки с цифирью я еще как-то могу себе представить. Может, действительно натренировал память. Но вот как он читает через бумагу?

Истомин:

– Бросьте, Александр Васильевич, пустое. Старый, как мир, трюк. Первую записку пишет кто-то свой, подсадной, а конверт при этом открывается чей-нибудь еще. И так далее. Детский фокус.

Хор:

– Позвольте, мой друг, загадать вам загадку? Представьте себе дождливый слякотный день, допустим, четверг. Весна, каштаны с розовыми свечками – вот-вот зацветут. Все дорожки в парке – размазня. По жести подоконников барабанит, и лужа у крыльца каракулевая. Какой-нибудь постылый разговор с поглядыванием на застывшую стрелку часов, что, мол, толкуют, будто мороженое делают из молока, в котором купают больных в больнице. И вот к вам приходит немолодой уже человек, степенный, опрятный, аккуратный, в хорошем костюме, смущенный. Ботинки мокрые, с зонта капает. «Ради Бога, – говорит, – извините! Наследил». – «Да ничего страшного, сторож подотрет, а зонтик ваш давайте сюда, мы его вот тут раскроем, он вмиг и высохнет! Вы, простите, по какому делу?» – «Понимаете, – объясняет, – я обратился там у входа, а меня послали к вам». И пожимает плечами, как бы извиняясь, что ему приходится беспокоить. «А вы, извините, не художник? Кажется, я встречал вас где-то в Знаменском парке». – «Я учитель в Измайловском техническом училище. Преподаю черчение. А рисую так, для себя. Ничего особенного. И художником-то себя не считаю – просто иногда под настроение иду куда-нибудь на этюды. И в Знаменский парк тоже часто ходил». – «Вот дела, а у меня в Измайловском у брата жена в библиотеке работает». –

«Да что вы говорите! Надежда Дмитриевна? Вот уж тесен мир! Очень рад! Весьма приятная женщина, хотя и строга. Я у нее часто книги беру, так она потом все перелистывает, чуть ли не каждую страницу нюхает. Понимаете, я разводил краски и случайно капнул. Так она потом лютовала! С тех пор все время проверяет». – «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь сюда к нам, хотите чаю?» И вот вы сидите и пьете с ним чай. Он печенье в стакан опускает и ждет, пока размокнет, чтобы таяло на языке. Потом вдруг как вскочит, чуть чашку не перевернул. «Господи, что со мной!» Схватился за голову и давай ходить по комнате. «Подождите, – говорит, – я должен вам сказать что-то очень важное!» – «Да что с вами?» – «Нет-нет, это очень-очень важно!» – «Человека, что ль, убили?» Остановился как вкопанный. «А откуда вы знаете?» – «Да ничего я не знаю – так просто сказал». Кивает головой: «Убил». «Да что вы вздор какой-то несете! Тоже мне убийца нашелся!» Тут забормотал что-то невнятное, что будто бы три года назад кого-то в лесу задушил и бросил в заброшенный колодец. «Дорогой вы мой! Послушайте вы нас! Давайте сделаем вот так: идите-ка вы сейчас домой, успокойтесь, выпейте что-нибудь да выпитесь хорошенько! Договорились?» Он чуть ли не обиделся: «Вы что, мне не верите? Я вам и колодец тот покажу!» «В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, в суде крючки. Такие вот сундучки. Ну что с вами делать – вот вам бумажка, хотите, пишите, так, мол, и так, тогда-то там-то. Чем душили, с какой целью». Сел, достал свое вечное перо с золотым колпачком, задумался. А за окном – непогода, хлещет, ветер, уж смеркается. «Да послушайте вы нас: ступайте домой! Мало ли кому что в голову взбредет! Одумайтесь! Пока не поздно! Зачем вам все это? Для чего? Кому прок?» А он даже не слышит: «А как начать? На чье имя? Или можно просто так: мол, я пошел в Ильинский лес на этюды?» «Да пишите как хотите! Только спрашивается, чего ж вы три года как ни в чем не бывало, а тут вдруг приспичило?» И не слышит даже, скрипит перышком. И вот затевается дело. Туда бумага, сюда бумага. Туда отношение, сюда запрос. Нужно ехать раскапывать колодец. А кому копать? Бумага в местный полк. Только солдатики несчастные развесили свои портянки сушить – снова под дождь! А чтобы копать, нужен инструмент: лопаты, помпа – опять бумагу пиши! И вот уже столько людей вместо того, чтобы греться у печки, едут в непогоду и грязь к черту на рога в Ильинский лес. И бродят там три часа по вспухшему болоту, все мокрые, злые, того гляди еще и сам утонешь. «Дорогой вы наш, ну и где же ваш колодец, черт бы вас побрал!» Утирает капли со лба – со шляпы течет, с усов течет – прыгает по корягам, оглядывается, никак не может вспомнить. Уже собирались возвращаться – чтобы успеть из леса засветло, – тут кричит: «Да вот же! Мы все время мимо ходим! Вот же, у развилки!» И вот три дня копают. Откачивают воду и снова копают. И все время как назло моросит. И действительно, что-то там есть. За три-то года – одно зловоние да кости. Подписывают приказ – взять под арест, – а что делать? Он и сам уж не рад. У него на руках жена, ее старая мать и две дочки. Деньги все ушли на защитников. Дочек из школы пришлось забрать – платить нечем. С квартиры съехали в какой-то угол. Жена ли надоумила или защита – от всего стал отпираться. Мол, я тут ни при чем. Из тюрьмы пишет куда только можно жалобы: и кормят, видите ли, плохо, а у него язва, ему нужна диета, и соседи по камере обижают, отбирают все передачи и одежду, и вообще он ни в чем не виноват. На суде расплакался, как мальчик. Жена без детей пришла, сидела все время молча и после приговора – все уже встали, выходят – а она все сидит. Смотрит куда-то в одну точку. Ей говорят: «Извините, здесь будет сейчас другое заседание, нужно проветрить!» А она только головой качает. И все сидит. «Идите домой, у вас детки, вы им нужны, а мужу будете письма писать, посылки посылать. Вот и сейчас ему нужно что-то передать в дорогу. Там ведь, знаете, какой лютый мороз!» Вздохнула, встала и пошла. Вы поняли, друг мой, что я хотел сказать вам?

– Нет.

– Вот вы на свою скудную первую получку купили младшему брату железную дорогу, о которой он так мечтал. Вернее, это вы, милый, мечтали. Каждый раз, как шли

мимо магазина на углу Хлебного и Бронной, останавливались, смотрели на эти чудесные паровозики, вагончики, стрелки, тупички. И тут сбылось. Приносите домой огромную волшебную коробку, раскрываете ее вместе с вашим Павликом, раскладываете на полу, ползаете вместе с ним, любуетесь, как бежит по рельсам крошечный поезд. Господи, сколько же вы об этой минуте мечтали! Глядели на эти лилипутские домики за стеклом витрины, аккуратные, ладненькие, все в цветах, забирались взглядом в уютные окошки, из которых струится теплый игрушечный свет, а там еще станция, в другом домике почта, в третьем магазин, в четвертом ресторан, в пятом какая-то мастерская. Оттуда выходит на крыльцо мастер, уставший, но довольный сделанным за день, потягивается, улыбается, приветливо кричит что-то соседу, булочнику, тот в ответ тоже улыбается, и они вместе машут руками проходящему мимо поезду, а в нем пассажиры тоже улыбаются и приветливо машут в ответ. Эти деревья, домики, человечки, вагончики, казалось вам, живут какой-то своей, нездешней жизнью. В этом маленьком мире все не так. В окна проходящего поезда никто камней из кустов не бросает. Земли мало, а молока много. Начальства не ждут, а улицы чисты. По трамваям можно ставить часы. Никто не хамит. Справка какая нужна – ты им написал, они тебе прислали – ни очередей, ни писемоводителя, к которому без зелененькой не сунешься. Никто за шкуру в участок не потащит, если рожа твоя им не понравится. И хотелось хоть на миг самому стать таким же маленьким, сесть в такой же чистенький, незаплеванный поезд и уехать на такую вот чистенькую, утонувшую в цветах станцию. Так же улыбаться и махать рукой. Не страна, а ожившая витрина игрушечного магазина. Набор видовых почтовых открыток вместо пейзажа. Святая уверенность деда, что его лужайка достанется внуку. Сказочное королевство, скроенное по фасону гоголевской шинельки. И президентом у них Акакий Акакиевич – изящен, остроумен, певч. И вдруг станция скрывается, зарастает туманом – это вы надышали на стекло. Стоите в этом стекольном тумане и никак не можете понять – где вы. А потом идете дальше. И вот мечта ваша наконец сбылась. Разложили на полу рельсы – а мальчик-то, братец-то ваш как счастлив! И как он вас любит! Никто вас, милый, не любит, а он любит. И в гимназии вас не любили, и в университете. И здесь вы никем не любимы. А для мальчика вы – настоящий герой. Он вами гордится. Несмотря ни на что. Все вам прощает, все обиды, все унижения. Потому что это и есть любовь – уметь все прощать. Вот он уже и забыл давно, как в первый свой школьный день он пришел на перемене к вам в класс, разыскал вас на третьем этаже, пришел погордиться, вот, мол, у меня какой есть Слава! А ваши однокашники-недоноски, прокуренные, прыщавые, сквернословящие, поймали его, скрутили и подвесили на школьной доске, зацепив ремнем за гвоздь, на который вывешивали карты. И вот он плачет, зовет вас, зная, что вы сейчас придете ему на помощь, спасете, отомстите. Все хохочут, как он там висит. Вы бросились было туда, к нему, к вашему Павлику, но что-то вас остановило, не страх, нет, но, скажем так, инстинкт самосохранения, ибо досталось бы, как обычно, и вам. И вот вы стали смеяться вместе со всеми. Потому что действительно смешно. Висит и ручками-ножками болтает. Потом гвоздь поддался, ремень соскочил, Павлик грохнулся о паркет и убежал, ковыляя. И это он тоже вам простил. Даже и не помнит. Вы помните, а он нет. И вот мальчик смотрит с вожделением на ваш чемоданчик с пинцетами, ножницами, приспособлениями для снятия отпечатков пальцев, пузырьками для сбора образцов. Хвастается в школе, что его старший брат ловит настоящих преступников, расследует дела, о которых пишут в газетах, объясняет на перемене однокашникам, что осмотр подложного документа невозможен без цейсовской или бушевской лупы, измерение нажимов в дереве или металла – без кронциркуля, пальцевых отпечатков на белой бумаге – без графитного порошка, следов на снегу без парижского гипса. И вам, может быть, он – важнее всех. Никому ничего не рассказываете, а с ним делитесь. И уж он-то, разумеется, тоже хочет стать как брат. Во всем вам подражает, поднимает гири по утрам, терпеть не может пенек на молоке,

чистит обгрызенной спичкой расческу. И вы его, единственного, пускаете в свою жизнь, в свою коллекцию, в свой музей улик, в свою книгу вещей, где каждая, как в сказке, умеет разговаривать, мешает злым и помогает добрым. В великосветской гостиной, учите вы его за чаем с копеечной баранкой, будем примечать оттенки желтизны нежных кружев, этих лепестков *point de Bruxelles* или *point de Maligne*⁷. В дымной избе или на грязном постоялом дворе остановим наше внимание на засиженных мухами картинках московского печатного станка, на том, как между бревнами проложена пакля, на архитектурных принципах русской пятистенки, малороссийской хаты, кавказской сакли. Ожидая поезда на каком-нибудь полустанке, вслушаемся в работу телеграфа, вступим в беседу с телеграфистом – этой ходячей азбукой Морзе, ознакомимся с техникой жезловой системы, всмотримся, как и для какой цели под рельсы подводятся подкладки. Попытаемся далее разобраться в марках фарфора, отдадим себе отчет в значении подглазурной звездочки на саксонской тарелке, от гравюры Уткина и Bertalozzi попробуем найти переход к ультрафиолетовым лучам и кварцевому объективу, от изучения почтовых штемпелей перейдем к изучению обуха велижского топора или произведению какого-нибудь новомодного кубиста. Бродя без цели, допустим, по Знаменскому парку, при желании всегда можно поставить себе цель. Вот, смотри, Павлик, дорожка. На песке – поперек – замечаем след пары мужских ботинок. Можно пройти мимо, а можно задуматься, приглядеться. Доктор Гюсе приводит даже такой пример совершенства в распознавании следов среди племени индейцев сиу: они узнавали своих родных по следу так, как мы узнаем своих по физиономии или по фотографической карточке. Если эта отрасль поддается до совершенства людям низшей культуры, то, нет сомнения, тем лучше должен усвоить ее опытный и внимательный полицейский чин. Чего стоит только длина шага – мерить нужно вот так, от каблука до каблука той же ноги. Вот мы уже можем примерно определить рост и возраст. Сразу видно, что мужчина степенный, средних лет, никуда не спешил, прогуливался, глядел, как ветки лезут из тумана. Если, к примеру, калека или с раненой ногой – шаг одной ноги будет длиннее другой. У пьяных отпечатки от ног получаются неравномерные: то велик, то мал, то уклоняются в разные стороны, то топчутся на месте. Привыкшие носить тяжести ходят раздвинутым шагом, вдобавок их походка будет развалистая и след мало раздвинут, точно так же ходят впотьмах, как бы с опаской. Военные, особенно еще не привыкшие к шашке, при ходьбе отставляют левую ногу и обращают ее носком внутрь. Больные люди, после тяжелой болезни, ступают не всей подошвой ноги, а только ее частью, вот как здесь. Видно, вышел недавно из больницы и вот прогуливался, втягивал носом осенние свежие запахи, прислушивался к ветру, к шороху ветвей, смотрел, как падают, шаркая, на дорожку листья, и думал: вот только что совсем доходил, сам просил Бога, чтобы тот дал ему поскорее сдохнуть, так неумоготу были эти приступы в почках, а теперь снова так приятно и легко жить, ходить, дышать, нюхать. И ничего больше, кроме этой минуты, не нужно. Так бы стоять и смотреть на этот листопад до самого Страшного суда. А там будь что будет, пусть судят. Но всматриваемся ближе и видим, что первый след имеет налет второго – однородного следа, идущего в том же направлении и несколько выступающего из-за границ первого. Наклоняемся ниже и замечаем, что отпечаток второго следа наиболее резок около каблуков, причем в этом месте песок не столько вдавлен, сколько приподнят вверх. Это дает возможность сделать вывод, что человек, стоявший здесь, должен был несколько отклонить свой корпус. Ноги проскользнули вперед и оставили отпечаток второго следа. Но естественно, что в таком положении человек не может оставаться без упора сзади. И действительно, несколько мгновений внимательного осмотра позволяют обнаружить в дерне позади отмеченного следа и в восьми вершках от него отверстие. Отверстие это имеет не перпендикулярное, а

⁷ Брюссельские кружева, малинские кружева (фр.).

косое направление в сторону дорожки. В полутора аршинах от следа мы обнаруживаем на песке окурок и несколько обожженных спичек. Кроме того, в двух шагах от этого первого следа мы усматриваем встречный след. На небольшом пространстве дорожки встречный след в разных направлениях отпечатался несколько раз. Затем первый след сворачивает по дорожке направо, а встречный налево. Итак, делаем вывод, здесь встретились два знакомых господина, у одного была палка для ходьбы – вступив в беседу со вторым, он поставил палку позади себя и оперся об нее. Завязался разговор. Первый рассказывал, а второй слушал. Первый закурил папиросу – папироса несколько раз потухала. Потом они разошлись в разные стороны и через несколько лет умерли. Человек летуч и непредсказуем, потому особое внимание нужно уделить сохранению следов. Если следы могут подвергнуться порче, то их следует покрыть бумагой, доской, ящиком, горшком, ведром или другим каким предметом, сообразуясь на месте. Чтобы сохранить след на глинистой или рассыпчатой почве, этот участок обливается столярным клеем. Чтобы сохранить следы на снегу от таяния, нужно покрыть их ящиком или горшком, а последние, в свою очередь, забросать сверху снегом. Батюшка покров, покрой землю снежком, меня, молодую, женишжом! Воспроизвести след, сделать с него слепок можно при помощи гипса, алебаstra, стекольной замазки, воска, сала, парафина и мягкого хлеба. В гипс не забудьте воткнуть лучинки, чтобы слепок не сломался. Если след покрыт водою, возьмите мучное сито и, держа его над водою, смело сыпьте через него гипсовый порошок до тех пор, пока след не покроется совершенно, и тогда в кругу набежавших мальчишек, затаивших дыхание от восхищения, вынимайте через полчаса готовый оттиск. Для получения отпечатка следа, оставленного на сухой или очень твердой почве, смажьте сперва отпечаток слегка маслом и покройте раскаленной докрасна жестию. Когда земля достаточно нагреется, залейте след расплавленным стеарином, который и даст по охлаждении точную форму нужной вам подметки. Если же след на снегу, то вместо стеарина берут в этом случае, разумеется, раствор желатина. А что касается подглазурной звездочки, то вот вспоминаю одну защиту в Херсоне, я еще вдовствовал по моей Ларисе Сергеевне. Ох уж эти поезда, везущие на юг весной тысячи больных, с бархатной бежевой обивкой, кишасей бактериями! Сколько раз твердили миру: нужно ехать к башкирам и выпивать по ведру кумыса в день. Так нет же, упорно везут свои палочки Коха в Крым. Все попытки ввести в поездах южного направления поливание пола в вагоне раствором борной кислоты и сулемы и совершенно воспретить употребление карболовой кислоты, невыносимый запах которой, смешиваясь с душным, спертый воздухом вагона, приводит пассажиров в отчаяние, так ни к чему и не привели. По-прежнему вздымаются сухими вениками клубы пыли, загоняя бацилл в легочные мешки. Передышку приносит с собой лишь ночь. Вот темная станция, фонарь сцепщика, ползают взад-вперед маневровые паровозы, ночные, мохнатые от пара звери, то и дело резко повизгивают, будто их кто-то кусает, какие-нибудь паровозные кровопийцы. Локомотив сосет воду и все никак не может отдышаться. Далекие паровозы прочищают внутренности. Гудок, и вот едем дальше. Ромбы света из окон скользят по откосам. Искры летят в черном воздухе. Не успели отъехать – снова остановка. Слышны звуки сортировочной станции. Рожок стрелочника. Ему ответ машиниста, одинокий, грустный. Цепочкой прозвенели буфера сцепляемых вагонов. Несколько минут тишины. Потом снова рожок стрелочника, уже издали. Двусложные семафоры подмигивают из темноты, с одной стороны станции хореи, с другой ямбы. А на следующее утро туман. Приклеился белый клочок к окну – и поди что-нибудь разгляди. Новые соседи-персы грызутся и все время повторяют по-русски – туман. Кондуктор с зубами веером удивляется, бурчит: «И дался им наш туман! Никогда тумана, что ль, не видели?» Задремал, даже не заметил, где сошли. На третьи сутки новый сосед – немец, инженер, служит у Нобеля в Баку. Он сразу улегся спать и всю ночь храпел, несмотря на мой кашель, хлопки в ладони и прочие бесполезные попытки разбудить его. Духота, истошные крики

паровоза, немецкий храп, тусклый свет двух ночников гнали сон, и я всю ночь не сомкнул глаз. Все казалось странным, и даже не верилось, что это именно я еду Бог знает где и куда. В семь утра рассвело. Немец все еще не проснулся. Я смотрю в окно на болота и поля, мокрые от дождя, в который мы только что въехали. Поезд замедляет ход, мы почти ползем мимо мокрого стада. Озябший босоногий пастушок, набросив на голову какую-то рогожку, следит глазами за поездом. Я смотрю мальчику в лицо и приветливо машу рукой. Он видит меня, но не отвечает. Потом вдруг грозит мне кулаком. Хотелось бы знать, вспомнит ли он когда-нибудь того путешественника, который махал ему рукой с поезда, как я вспоминаю теперь о нем. Так забраться бы в чье-то воспоминание и сидеть там в тепле и уюте – меня уже и след давно простыл, а там, в чьей-то памяти я, как мартышка, буду повторять раз заученный номер, может быть, именно этот – какой-то седой чудак приветливо машет с поезда. И так будет махать вам до скончания ваших веков. С вокзала меня отвезли в гостиницу Волковой. Номер у меня вполне приличный, даже с чистым рукомойником, а когда нажимаешь на педаль, то течет вода. Надеваю свежую сорочку, собираюсь вниз по лестнице и вдруг замечаю, что на рукаве пиджака снова проступили мерзкие стеариновые пятна. Ночью в купе на мой пиджак капало со свечи. Это открытие я сделал слишком поздно, когда мне в рукав ткнул пальцем проснувшийся немец. Я всеми силами старался соскрести стеарин и ножом, и ногтями. Немец был страшно доволен, что повесил свою куртку у другого, исправного фонаря. “Ich lebe schon seit acht Jahren in Russland, – сказал он самодовольно. – Hier muss man immer auf der Hut sein!”⁸ Мне кто-то попался из поездной прислуги. Я думал, что он принесет горячий утюг или какую-нибудь жидкость для выведения пятен, но эта шельма принялась быстро тереть мой пиджак своим рукавом. Через какое-то время стеарин стал исчезать, и скоро белая дорожка вовсе пропала. Я дал ему на радостях рубль – для того лишь, чтобы через час снова обнаружить эти пятна у меня на рукаве! А в Херсонском пансионе Волковой на Воздвиженской, их лучшим заведении, вы и сами, небось, бывали. Мокрицы в умывальнике, клопы в постели, моль порхает по комнате. Нельзя выключать свет – полезут отовсюду рыжие прусаки. То комната не прибрана, то письмо забыли отнести, чай холоден, на звонок никто не является. Занавески липкие. В неровном зеркале лицо пузырится, переливается по амальгаме, как желе по тарелке. То некто высоколобый глядит на вас, то пучеглазый татарин. Ненавижу пансионную жизнь по звонку – сидишь каждый день с людьми, которые не обязательно приятны, не можешь принять никого, чтоб весь отель не знал, кто и зачем, или попросту захворать расстройством желудка, чтоб соседи не заметили. И повсюду душит аромат красной мастики – натирают пол. А ночью опять не спится. Лежишь и смотришь за окно, а там плавает в тумане какой-то обмылок, то ли луна, то ли часы на вокзальной башне. В первое заседание – присяга. Духота, окна настезь, а там железная дорога, самые пути, каждые пять минут ложка в пустом стакане на столе начинает биться в эпилепсии, а ветка за окном – качаться, считая вагоны. Когда проходит внизу поезд, в зале ничего не слышно, да еще почему-то именно здесь машинисты любят давать гудок, и никто не остановится, чтобы переждать шум, все говорят, говорят, говорят. Господа судьи, вам хорошо известно, что русская жизнь – автор с причудливой фантазией, поэтому мы так поразительно лишены способности удивляться. Каверзный вопрос – *quid est veritas?*⁹ – а в переводе на язык, доступный нашим простофилям со скамьи присяжных, – где же правда? – до сих пор ставит в тупик не только г-на Громницкого, позволившего себе более чем странный тон в адрес священных коров нашего судоговорения, но даже коллегии второй и третьей инстанции. Что же говорить о нас, грешных. Не каждый ли день слышим мы: обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием и

⁸ Я живу в России уже восемь лет. Здесь все время нужно быть начеку! (нем.)

⁹ Что есть истина? (лат.)

животворящим крестом, что, не увлекаясь ни дружбою, ни родством, ни ожиданием выгод или иными какими-либо видами, не норовя ни на какую сторону, ни для вражды и корысти ниже страха ради сильных лиц, я по совести покажу в сем деле сущую о всем правду и не утаю ничего мне известного, памятуя, что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и пред Богом на Страшном суде Его. В чем да поможет мне Господь душевно и телесно в сем и будущем веке. В удостоверение же сей своей клятвы целую слова и Крест Спасителя моего. Чмок. А знаете ли, г-н Громницкий, что делают черемисы для того, чтобы присяга потеряла свое значение? Они поднимают кверху правую руку и прижимают к ладони четыре пальца, выпрямляя один указательный, в то же время левую руку они тянут вниз, сжав кулак и опять выпрямив указательный. По их глубокому убеждению, читаемая присяга входит в присягающего через поднятый палец и выходит через вытянутый палец другой руки в землю – вроде громоотвода. Поэтому на выездной сессии приходится зорко следить за этим братом и заставлять их держать при присяге левую руку развернутой ладонью на груди. А знаете почему? Да потому, что мир так набит истиной, что вот-вот лопнет по швам: дважды два, тридцать шесть и шесть, в начале было слово, окончательный и не подлежит, под рыбу – белое, всюду жизнь, что русскому здорово, то немцу смерть, таракан не муха, не возмутит брюха, в кишках было найдено свойственное им содержимое, лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира, Грушницкий – юнкер. Да и нашим ли домотканым присяжным, которым теперь благодаря Периклу выдают по 3 обола (18 коп. ассигнациями), рабам в тридцатом поколении, искренне не имеющим никакого понятия о человеческом достоинстве, секущим и секомым, ворующим и обворованным, с молодых ногтей умеющим ненавидеть ближнего и жертвовать собой за монструозное отечество, убивающее сегодня каракалпаков, завтра чеченцев, послезавтра поляков, на следующей неделе жидов, а там опять расплодившихся каракалпаков, этим ли избранникам общества, зараженного неизлечимым недугом мздоимства и казнокрадства, этим ли нематым заложникам чести решать задаваемый господином председателем в этом зале, где ломаются судьбы, а за окном, вы только посмотрите, дворовые девчонки ругаются и показывают друг другу фигу из-под задранной ноги, вопрос – что есть истина? Знали бы вы только, как пытаются присяжные отбояриться от этого вопроса: достают справки о существующих и еще не известных науке болезнях, о командировках, о реальных и мнимых свадьбах и похоронах, да и ни для кого не секрет, что за мелкие взятки письмоводитель всегда готов перевести вас из очередного списка в запасной. А уж если не удалось отвертеться, то еще хуже для судоправия. Сперва они оправдывают явных убийц, боясь мести дружков, да и как не бояться, если не за себя, так за детей, чего доброго еще отрежут пальцы ребенку, как это было с моим двоюродным братом – его сыну оторвали кусачками два пальца на руке, – а потом, на следующий день почтенные присяжные упекают в тюрьму на полный срок несчастного, попавшегося на какой-то мелочи, успокаивая совесть. Широкие, просвещенные, великодушные, они с умиленным сердцем подают голос за оправдание убийцы чужой сестры, матери, дочери и любое наказание находят чрезмерно мягким, когда у них самих украдут пальто. Присяжные крестьяне безжалостны к конокрадам, купцы чересчур снисходительны к злосчастным банкротам, обвинительный вердикт не получите от людей, занимающихся общественными науками и привыкших вдумываться в причинную связь социальных явлений. Давно отмечено: самый строгий ко всем преступникам тот состав, в котором господствуют учителя средних учебных заведений – поверенные теперь систематически отводят их, а при невозможности сорвать дело, выжидая нового состава присяжных, в котором учителя не представляли бы видной величины. Опытный секретарь всегда может по желанию, изучив списки присяжных, направить любое дело на обвинение или на оправдание. Да вы сами посмотрите на гализю – это же олицетворенное невежество, робость, наутюженная придурковатость, а главное, пристрастность, то рабская,

то зазорная. Или вот еще блюдо для вас, гурманы права! Судили у нас в окружном красоте, обвиняемую в подстрекательстве дяди на убийство племянника, она приходит в суд с распущенными кудрями, в розовом с декольте, благоухающая, нездешняя. И что же? Результат: все заседатели как один проголосовали – оправдать. Все заседательницы – признать виновной. Вот вам и торжество половой юриспруденции! Вот вам и высшая справедливость, что не может подняться выше гениталий! Приглашенный в качестве эксперта уважаемый профессор еще даст, не сомневаюсь, свою оценку происшедшему, но в кулуарах, где в холодном воздухе казенной комнаты висит тусклый туман, уже были произнесены эти роковые слова – *raptus melancholicus*¹⁰. Физическую измену женщина простит, духовную – никогда. Переспал с редкозубой дурехой, у которой грудь как диванный валик, а в голове завиральные идеи, вроде что вдруг мы, мол, лишь герои какой-то странной книги, и вы, и я, и вот тот мальчик, которого я увидел вчера случайно в окне одного дома, проходя по улице, он разбросал книги по полу и ходил по ним, как по льдинам, так вот: подобная измена – это беспорядок, это неоправданно, это скорее вызовет лишь временную гадливость и осторожность. Но когда женщина чувствует, что любимому человеку забираются в душу, когда его от нее хотят отнять, тогда закричит: «Караул! Грабят!» Да у кого из нас не закружится голова, если женщина курит нам фимиам, ставит нас на пьедестал, целует наши руки и ноги, хотя бы и в письмах, от которых пахнет духами даже после лежания в судебном архиве, недаром же утверждают, что только романы горничных обходятся без любовных писем. Маком по белой земле посеяно, далеко вожено, а куда пришло, там взойшло. Слова-то в письме обыкновенные, холодные, а промежутки между ними горячие. А вот еще перл из писульки – вся твоя со всей своей утробой. И не запомнили ли вы, любезные галийцы, заглянуть в ее женское, скрытое от ваших похотливых глазок-клякс прошлое? Не найдутся ли там, в нежной юности, ростки пожираемых нами в этот послеобеденный час на столе вещественных доказательств плодов, не ощущаете ли на нежной девичьей коже с прозрачными детскими волосками и гусиными пупырышками «отцовские» ласки отчима, который стал заглядываться на дочь жены от первого брака, пока, надрываясь как свинья, не попал под поезд – машинист его даже не заметил, и всю ночь пировали на рузавском переезде собаки с городской свалки. Но даже если не копаться, милые мои, в несвежем белье, а там сами знаете, как стирать и сушить, если в камере битком и на окне намордник, так что видны только шесть полосок неба цвета селедки, даже если простить ей, как с соседским Мишкой в четыре года пряталась за поленницу и поднимала подол за конфету, даже в этом случае неизменным остается одно – преступления по страсти всегда будут *en vogue*¹¹. Любовь – сказал вринутый в темницу и снесь скуке – есть чувство, природою в нас впечатленное. Человек не целый день бывает человеком. Плоть похотствует на духа, дух же на плоть. *Non vitias hominis*¹². Вы хотите судить грех, а судите всего-навсего женщину. Рыжий прошлогодний лист наколот на острый каблук. Глаза медленны и прохладны. Впереди себя пускает запах дорогих духов. Входит в жизнь, не стучась. Накрасит губы, прикусит ими салфетку. Закидывает ногу на ногу с легким посвистом чулок. Переживает, что накружилась не той помадой. Дыхание чуть отдает шампанским. Облизывает слипшиеся от рахат-лукума пальцы. Соблазнительность надежд и обманчивость ожиданий. Мария Антуанетта, когда пришли за ней, чтобы вести на казнь, приделалась и даже приколола себе цветок – вот женщина и ее привычки. Вдовы и любящие матери, собираясь идти за гробом, шьют элегантное траурное платье и не пойдут в стоптанных башмаках – это не говорит ни о бесчувственности, ни о силе горя. Ибо,

¹⁰ Исступление, импульсивное действие в виде приступов (*лат.*).

¹¹ В моде (*фр.*).

¹² Не вина человека (*лат.*).

создавая человека, Бог взял от земли тело, от камня кость, от моря кровь, от солнца глаза, от облака мысли, от ветра дыхание, от света свет – прииде же окаянный и измаза его калом, тиною и възгрями. Да что тут говорить! Ведь сказано: веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Господь приведет тебя на суд. Сергей Антонович, голубчик, не обессудьте, зачитайте, что там в обвинительном? Год, месяц, число, адресат, с красной строки, такой-то, тогда-то, там-то назвал меня подонком, обесчестившим его несовершеннолетнюю дочь, с намерением нанести мне оскорбление, почему прошу Ваше Высокородие привлечь такого-то, жительствоющего там-то, на такой-то улице, навощенной с утра солнцем, к ответственности по обвинению его по 1178 ст. Уставов о Наказаниях. В подтверждение справедливости моей жалобы прошу допросить свидетелей таких-то, жительствоющих там же, в том числе молодого женского доктора, высокого и тонкого брюнета, засуженного лет десять назад по обвинению одной печальной и молчаливой дамы с глазами испуганной лани в том, что он якобы дефлорировал при осмотре ее дочку, а на самом деле все там такое нежное и ранимое, все эти лоскутки и перепонки, бахромки и гребеночки – просто расправлял слипшиеся мочки костяной палочкой, а девочка дернулась, вот случайно и произошло, а де Граф, автор одноименного пузырька, вообще отрицал наличие гимена. Есмь и проч. Год, месяц, число, подпись. Нет-нет, извините, что-то не то, а, вот, нашел. Начался март, всюду лежали кучи грязного срубленного льда, еще не вывезенного, а в центре не было и помину о зиме. Злодей с крепкими коренными зубами и с подавшимся назад мозгом, с губами, обещавшими сухость чувств и упрямство, схватился за роковой нож, кривой, будто скобочка, перерезал жертве шею от уха до уха прямо по адамову яблоку – скажешь У – опускается, скажешь И – поднимается, снял сапоги, натянул их на себя, пришлось в самую пору, затем спустил с трупа штаны и потащил этого санкюлота, след прямой – значит, тащили вдвоем, если бы один – труп болтался бы в разные стороны, потом из-за отсутствия воды вымыл руки мочой, а когда вернулся на то самое место, поразился глазам, выскочившим из орбит, потрогал мозг, по Аристотелю, орган для охлаждения крови, и вот тогда-то и выглянул из-за тучи месяц, закрыв собою скобки. А до этого сперва хладнокровно явился на кухню, поздоровался с кухаркой – как живешь, Матреша, – выбрал самый большой уютю и удалился к той, с которой соединялся в потемках. Встаньте рядом с этим человеком! Он был с этой женщиной в церкви, его связали с ней молитвы и благословение. Кругом горели свечи, его окружала семья, он принимал эту женщину от Бога. Однако известно, какие качества требуются певице хора – молодость и отсутствие брезгливости. Для мелкой самолюбивой души нет более острой, более пряной обиды, чем холодное презрительное равнодушие женщины, которая была рабыней, а нынче вдруг стала унизительно недоступной. И вот она, загораживая того, кого на самом деле любила, умоляла: если хочешь стрелять – стреляй в меня, но только, пожалуйста, не в лицо! Рука, отброшенная выстрелом. Ружье – пистонное, охотничье, фабрики Lebeda в Праге – досталось от дяди, а тот в свою очередь, согласно семейной легенде, получил его от самого Ивана Сергеевича Тургенева. Три огнестрельных ранения – два в левую грудную железу и одно в левую сторону грудной клетки – при наличии лишь одного выстрела могут только у нашего закосневшего и ленивого умом присяжного вызвать недоумение. Объясняю: поверженная была без лифчика, грудь обвисла, пуля пробила ее насквозь – вот вам уже два отверстия, затем пуля вошла в грудную клетку – вот вам третье. Дымок выстрела рассеялся, раненая в агонии, перед глазами страдальческий миг уходящей жизни. Убил, точно положил на бильярде шар в лузу. Вот она сидит перед нами, ерзая на стуле с гвоздиком. Она – женщина. Она – живая. И если сказал Господь: нехорошо быть человеку одному, то женщине одной быть невозможно. И что есть душа, если не железа, выделяющая в виде секрции, знакомой еще грекам, потребность в любви. Ибо Гомер и корабли, все движется. О том же твердят св. Игнатий,

апологеты Афинагор и Минуций Феликс, Ориген, св. Мефодий Тарский, не говоря уже о св. Киприане. См. также Movers: “Ueber d. Relig. d. Phoeniz”¹³. S. 684–685. Сами знаете: Naturae non imperatur nisi parendo¹⁴. Минуточку, Сергей Антонович, я что-то не совсем понимаю. Какой шар? В какую лузу? Вот же они все сидят на скамье! Вот почтенный патрон, муж благоверен и нищелюб, с ноющей во время приступов простатита мошонкой, сплевывает чайнку с губы, кусает нервно рыжие волосы на корявых пальцах, все никак не привыкнет к своей новой роли обвиняемого, мол, как же так, всю жизнь стоял по ту сторону барьера, а теперь сиди тут и помалкивай. Вот его жена с маской из тонко нарезанных огурцов на лице, отросший ежик на бритых икрах, льняные волосы, травленные кислотой, вскочили шишки на венах, складки на животе после неудачных родов отливают перламутром, этакая зрелая оливка. Вот его помощник, юный и отлюбивший, сам заштопывал утром прореху в брюках, что протерлась между ног, честолюбивый левша, надел на пальцы колпачки от аптечных пузырьков и барабанит, разуверившийся и с ожесточенным сердцем, кого-то мне напоминает, а отец его с Ильей Андреевичем были однокашники, так сказать, друг семьи. Вот что, голубчик, Сергей Антонович, у вас глаза молодые, почитайте повнимательнее еще раз, что там написано! Да что же я, право дело, Константин Михайлович, придумывать, что ли, буду? Что здесь в обвинительном мне дали, то я и читаю, вот, цитирую: «И приспе осень. Искони же ненавидяи добра роду человечю, супостат диавол, иже непрестанно рыщет, ища погибели человеческия, всели неприязненного летящаго змиа к жене на блуд. Змии же неприязнивыи осиле над нею». Смотрит на себя в зеркало и думает о чем-то. А за стеной самураи скрутили юноше руки, и вот-вот голова с плеч. А она водит ваткой по лицу, снимая крем, и думает: это ведь она тот юноша, это ведь ей скрутили руки, это ведь ее голове недолго держаться на этих еще молодых полных плечах. Бе же жена добровеждна, големоока велми и, якы снег, бела, чюдного домышления, зеленою красотою лепа, ягодами румяна, червлена губами, очи имеа черны великы, светлостию блистаяся, бровми союзна, телом изобилна, млечною белостию облиянна. А у Ильи Андреевича новый помощник. Извините, Ольга Вениаминовна, я не видел, что вы здесь, Илья Андреевич просил взять решения Сената за последний год. Входите, входите, Александр, я, кстати, давно хотела вас о чем-то спросить. Спрашивайте. Пустое, неважно, посмотрите лучше в это окно: какое роскошное дерево на красном небе – как треснувший закат. Зима началась за вокзалом, на дальних путях, засыпав снегом мертвые, разбитые вагоны. Поправляя бутоньерку с живой орхидеей на вечернем платье: я устала и умираю здесь со скуки, Александр, отвезите меня домой. Все тает, автомобиль скользит по мокрой каше, выхватывая фарами из тьмы заборы и афишные тумбы. Отпустила шофера: я хочу пройтись. В снегу ямки от каблучков заплывают водой. Дает ему ключ. Отоприте двери! Когда я поздно возвращаюсь домой, я не люблю тревожить прислугу – ночь принадлежит им, и я не считаю себя вправе их беспокоить. Отпер и вошел вслед за ней. Будто перестала его замечать, сбросила на пол шубу, прошла в комнаты. Не знал, уходить или оставаться. В открытую дверь было видно, как села у зеркала и стала вынимать из ушей серьги. Он же на ню зря очима своима и на красоту лица ея велми прилежно, и разжигался к ней плотию своею и глаголаша к ней: спокойной ночи, Ольга Вениаминовна, я пойду – к приезду Ильи Андреевича еще нужно подготовить кое-какие выписки. Молчит. Чайные розы в вазе бесстыже раздвинули лепестки. Помогите! Подошел, расстегнул ей сзади платье. Боже, как можно быть таким неловким! Волю мою сотвори, вождеделение душа моя утеша и подай же ми твоеа доброты насладитися. Доволна бо есмь твоеа похоти. Не могу бо терпети красоты твоеа, без ума погубляемы. Да и сердечный пламень престанеть, пожигаа мя, аз же отраду прииму помыслу

¹³ Муверс «О религии Финикии» (нем.).

¹⁴ Природу иначе не победить, как ей повинуюсь (лат.).

моему, и почию от страсти! Прошла через всю комнату к гардеробу, будто никого, кроме нее, здесь нет, сняла платье, стащив его через голову, как кожуру, вынула из гардероба вешалку, повесила, долго расправляла. И нуждением любовным того объемлющи, и на свою похоть нудящи. Вернулась к трюмо, вынула шпильки, потрянула несколько раз головой, расправила пальцами рассыпавшиеся по плечам и спине волосы. Еще походила по комнате, поглаживая себя по бедрам и будто о чем-то задумавшись, все не замечая его. Села на кровать и стала снимать чулки. Легкий треск и облачко пыли. И уязвися видением, очи лакоме и некасаемых касахуся. И разгореся желанием на ню. Протерла ему влажной салфеткой. Шепнула в ухо: только, миленький, не в меня! Утром солнечный нож прорезал щель между гардинами. Александр Васильевич съехал вниз по перилам, посвистывая. В городе было беспокойно, готовились забастовки, происходили патриотические манифестации, в Божьем храме молились о ниспослании на враги победы и одоления. Илья Андреевич ходил шаркая, будто размазывал по паркету подошвы, и часто уезжал по делам, снегопад приглушал грохот колес, ногти в дороге всегда росли быстрее, на ночной станции будил маневровый паровоз-горлопан, в доме, мелькнувшем за бессонным окном, ели воздушный пирог с клубникой – всегда на следующий день после сливочного мороженого, чтобы не пропадали белки. Утром в отсутствие патрона помощник приходил разбирать корреспонденцию, разгребая груды тусклых слов. И егда пришед юноша, жена его видево и диаволом подстрекаема, радостно сретает его и всяким ласканием приветствоваше его и лобызаше. Подошла сзади, тихо перебирая домашними матерчатыми туфлями, подбитыми зайцем. Шуршит атласное кимоно, наброшенное на голое тело. Распахнула, обхватила, запахнула полами, прижала к себе, втиснула его затылок между тяжелых грудей. Юноша же уловлен бысть лестию женскою, паче же диаволом, паки запинается в сети блуда с проклятою оною женою и ниже праздников, ниже воскресения день помняще, ни страха Божия имеюще, понеже ненасытно безпрестанно с нею в кале блуда, яки свиния, валяясь. Господи, Сашенька, какая прелесть – у тебя веснушки по всему телу, везде, везде. По ночам на улицах раздавались выстрелы. Неудачная война питала смуту. В загородных поселках поджигали дачи. В коридоре посвист голой пятки о паркет, мастика с охром, легкий мужицкий пот. Перевернулась на живот, уперлась локтями – груди придавили подушку: Ты знаешь, Александр, ведь это просто неправильный перевод: и Дух Божий носился над водою. Вода – это образ непросветленной материи, те, кого еще не коснулось, если хочешь – мы с тобой. А то, что он носился, то здесь неточно перевели, в оригинале – высиживал, как наседка своих будущих цыплят. Согревал. Понимаешь, он где-то здесь, над нами, греет нас, ждет, готовится, не бросает. На ковре – пролысинка – дорожка из угла в угол комнаты. Скинула с дивана подушки на эту тропинку, уселась на них. Тело, прохладное, мягкое, белое, будто творожное. Царапала его ногтями на ногах. У нее закатывались глаза так, что был виден только белок без зрачка. Пот в ямке между грудей проступал ижицей. Садилась голая в кресло – остыть. Расставляла ноги. Мокро сияют бедра. Свальявшееся, ссохшееся, как от клея. В трамвае говорили о погромах. Илья Андреевич спал после обеда – вышел всклокоченный, с красными глазами, правая щека горела – с узором жесткой диванной подушки. Отступление развивалось. Армия бежала, бросая артиллерию, провиант и раненых. Дезертиры укрывались в зарослях гаюляна. В страсти блуда упражняшася. Сверкают начищенные вьюшки на печке. Надкусывает конфеты – полоски от зубов. Пудрится – обмахнула нос лебяжьей пуховкой. Он смотрит, как она расчесывает волосы, начиная с концов и постепенно переходя выше. Поцелуй – со вкусом зубного эликсира. Настоящая саламандра, Саша, любит тепло. Приносит ему на подносе печеное яблоко, утонувшее в горьке сахарной пудры, бокал, выдутый по груше. Между зубов – маковое зерно, взяла из стола мужа гусиную зубочистку. Погода странная и зима дурная. Весь снег почти сошел, и вот на Крещение все замерзло и обледенело, так что вся земля покрылась льдом и казалась рекою, чего давно не было. Обледенели все деревья,

так что ветки пригнуло и сучья переломало. Приложился к душистой руке, обтянутой ажурной розовой митенкой. Любила найти у него прыщик и выдавить, выдавливала и черные поры у носа. Иногда брала фруктовый ножик из вазы и вычищала ему грязь из-под ногтей. Смотри, у тебя кончики пальцев – лопаточками, а по хиромантии – это творческое начало. Мне иногда кажется, Саша, что я – какое-то животное в цирке. Занавеска то надувается сквозняком, то опадает, по ней скользит тень от перекрестия рам. Растянутые от серег мочки. Скажи, Сашенька, ты меня хоть немножечко любишь? И в таком ненасытном блуждении многое время яко скот пребывая. Это ты? А я тут зачиталась. Говорю себе всякий раз: не бери книг в библиотеке! Или засалит все так, что невозможно в руки взять, или изрисуют непотребствами. А эту вроде пролистала – чистенько. Ладно, думаю, возьму. Так здесь кто-то на каждой странице поставил по точке под буквой – если только эти отмеченные буквы читать, такое получится! Подвязала пояском матинэ, ушла в душ, заложив книжку рецептом. Открыл, прочел очеркнутое ногтем по полю: ибо она любит то, что ниже жизни, потому что любит тело, и притом – тело, по причине греха, телом любимого поврежденное, так что измощаемо оно оставляет того, кто его любит. Приходил муж, имея у себя жену, девою поятую сушу. Брошенный на паркет портфель лязгал подковками. Илья Андреевич ел много и жадно, то и дело целуя салфетку. Грыз яблоки с озорным сочным хрустом, откусывая сразу половину, так что выскакивали черные семечки. Пообедав, каждый раз говорил: Лжедмитрия, Александр Васильевич, потому и разоблачили, что он не спал после обеда, как положено русскому человеку! Шутил про себя: я сладострастник – и набрасывал в чай полстакана сахара. Зевнула, быстрым крестиком зашив рот. Говорили шепотом, что во время бывшей необыкновенной оттепели в январе в Москве великое множество было болезней и даже умирающих, так что походило и на чуму самую, а многие шептали, что едва ли не была и она самая и, однако, сие скрыли и утаили. Иногда, неожиданно, незнакомкой, закутавшись, приходила к нему, мокрая от капли – приключение казалось опасным и приводило ее в восторг. Снег млел и оседал, втягивал теплый воздух ноздрями, в окно летело со двора бульканье и царапанье скребка об асфальт. Во время любви на несвежей постели кусалась и кричала. В сучковатое стекло заглядывала, придя по карнизу на крик, облезлая кошка с пергаментными ушами. Сашенька, ну скажи – что тебе стоит, – что ты меня хоть немножечко любишь! Ей нравилось, чтобы он сажал ее себе на колени и целовал груди, по Кантемиру, пенистая. Поглаживала себя – свою жесткую курчавость, говорила: каждая женщина немножко негритянка. Клок из подмышки. Где-то прочитала, что мужа надо иметь молодого, а любовника старого. Берет фотографию. А кто эта девушка с косой? Весна в том году выдалась ровная, дружная. У ворот в почерневшем сугробе трепыхался на ветру зонт с перебитым крылом. Больше всего его возмущало, что Ольга Вениаминовна оставляла ему деньги – то положит незаметно в карман, то бросит в ящик стола. Ночь просидел над выписками из постановлений Сената и утром вышел в чайную напротив, во дворе дети хоронили кошку, ту самую, с пергаментными ушами, укладывали ее в коробку из-под ботинок. Вернулся домой, а его уже поджидают: Сашенька, что случилось? Я же вижу, что ты меня стал избегать. Ее испарения, терпкий пот. Одевалась и, задумавшись о чем-то, застыла с засученным чулком в руках. В трамвае опять говорили о погромах. У продуктовых лавок и сберегательных касс засыпает снегом очереди. С обомшелым исподом. На телеге мужик вез петуха. От вида его красных, мясистых подвесок, свалившегося набок гребешка чуть не стошнило. Сказался больным, потом стал отговариваться неотложными делами. Записки – просьбы, требования явиться. Егда же прииде к нему писание, он же прочтет, посмеявся и ни во что же вменив. Лга же паки посылает к нему второе и третье писание, ово молением молит, ово же и клятвами закликает его. Обманывать Вашего мужа, Ольга Вениаминовна, человека, который внушает мне глубокое уважение, считаю для себя оскорбительным и недостойным, и раз Вы изъявляете желание объясниться, извольте, я

приду к Вам для окончательного объяснения в четверг. Подскочили цены. Матери убитых солдат опубликовали что-то в газетах в день, когда начался ледоход. Внизу льдины налезали друг на друга для продолжения рода, размножались делением с громким льдистым треском и снова сплывали ряды за быком моста, тут Ольге Вениаминовне на какое-то мгновение показалось, будто она уплывает куда-то на корме ледокола. После бывших великих талей и начала повреждений путей и уже после сороков возвратились зима и стужа, мятельно. В четверг не было электричества, звонок не работал, и пришлось стучать. Взгляд на вешалку – гостей нет. Ольга Вениаминовна была в чем-то прозрачном на голое тело и говорила насмешливо и небрежно. Он швырнул ей массу неучтивых и дерзких слов, стараясь не смотреть. Срам честный лице жены украшает, егда та ничесоже не лепо дерзает. Зная же срама того знается оттуду, аще очес не мешет сюду и онуду, но смиренно я держит низу низпущенны. Постоянно, аки бы к земли пристроенны. Паки аще язык си держит за зубами, а не расширяет ся тщетными словами. Мало бо подобает женам глаголати. Много же к чистым словом уши приклоняти. Зде твоя игра и враждное семя, мучителю всех! Лежала на кровати перед коробкой шоколадных конфет. Брала, надкусывала, смотрела, какая начинка, и бросала обратно в коробку. Что вы молчите, Ольга Вениаминовна? Ты уже все сказал? Тогда зажги мне сигарету! Лежа на спине, пускала дым. Ты, Александр, еще мальчишка, чтобы быть подлецом, а за озорство уши дерут – и схватила больно за ухо. А теперь – вон! Я устала и не хочу никого видеть. Особливого примечания достойно, что каково начало весны пестро ни было, но трава начала оживать точно в те же самые числа, как и во все предыдущие четыре года, а именно с двенадцатого числа апреля. Но в сей год было еще повсюду, в сие время, очень грязно, и по дорогам были еще кое-где остатки льдистого черепа. Александр Васильевич перестал бывать у Вершининых. К вокзалу шла манифестация женщин, изможденных, закутанных, телогрейных, требовали птичьих прав, припарок мертвым мужьям, седел коровам и молока детям. Илья Андреевич, не понимая, что происходит, столкнувшись с Александром Васильевичем в буфете суда, взял его за пуговицу. Кую злобу сотворих аз тебе, и почто изшел еси из дому моего? Протчее убо, молю тя, прииде, аз убо за любовь отца твоего, яко присному своему сыну рад бых тебе всеусердно. На улице, в длинном хвосте к закрытой булочной кто-то кричал: выпросил у Бога светлую Россию сатана да очервленит ю кровию мученическою. На западе светлело небо, едва тронутое отсветом давно отгоревшей зари. На Пасху поехал к матери на кладбище, провел рукой по чешуе старой краски, за соседней оградой крошили на землю яйца, разбивали скорлупу о крест, о чугунную дверцу. Хотел забежать на минутку, но Илья Андреевич посадил ужинать: и слушать ничего не хочу, да и Ольга Вениаминовна без вас, молодой человек, закручинилась, имейте к нам, старикам, снисхождение! Собрался уже уходить, когда со стороны парка послышались выстрелы. Трамвайчики бастовали, нужно было идти пешком. Нет-нет, Александр Васильевич, и не думайте, не пушу, останетесь ночевать у нас, Олюшка постелит в моем кабинете, и без разговоров! Илья Андреевич воздел руку кверху, будто ссылаясь на высшую инстанцию, а там чердак, ненужные пыльные вещи, осиное гнездо. Внегда же боголюбивый муж заспав крепко, жена его, дьяволом подстрекаема, восстав тайно с ложа своего и пришед к постели юноши онаго и, возбуди его, понуждаше к скверному смешению блудному. Он же, аще и млад сый, но яко некоею стрелою страха Божия уязвлен бысть, убояся суда Божия, помышляше в себе: како таковое скаредное дело сотворити имам. И сия помыслив, начат с клятвою отрицатися от нея, глаголя, яко не хошу всеконечно погубити душу мою и осквернити тело мое. Она же, ненасытно распаляема похотию блуда, неослабно нудяще его, ово ласканием, ово же и прещением неким угрожая ему, дабы исполнил желание ея. И много труждашеся, увещевая его, но никак не возможе приклонити его к воли своей, божественная бо некая сила помогаше ему. Ветер – пыльца – любовь деревьев. Дни потянулись непогожие, суетливые, мышинные. Думать об Ольге Вениаминовне

было неприятно. Не покидало ощущение, что он чем-то виноват перед нею. Сирень встала на дыбы. Однажды среди лета проснулся ночью, и пронзительно захотелось иметь ее рядом с собой, обнять, прижаться, вдохнуть, войти. Отошла торопливая жатва, а за ней возовица. Начала краснеть отцветающая гречиха, позднее просо с махровыми венчиками и то отдавало желтизной. После обеда отправился погулять в Ильинском лесу, полном ужей и земляники. Звенели на лугах косы. Ушел куда-то с тропинки, хруст, странные звуки. *Selva obscura*¹⁵. Некогда же изыде един за град от великаго уныния и скорби прогулятися и идяше един по лесу и никого же пред собою или за собою видяше и ничто же ино помышляше, токмо сетуя и скорбя о разлучении своем от жены оныя. Вечер наступал без росы, сухой и душный. Опять, верно, будут гореть торфяники. А может, и дождь пойдет – обложило. И такову мысль помыслив, слышит за собою глас, зовущ его на имя. Он же, обращаясь, зрит за собою солдата, борзо текуща, помагающе рукою ему, пождати себе повелеваше. Он же, стоя, ожидая солдата онаго к себе. Роза в кровь разбита, гимнастерка разорвана, кричит: стоять! Беглый, подумал Александр Васильевич, вот ведь как все получается, представляешь себе невесть что, а оказывается, вот так просто все и произойдет. Первой мыслью было броситься по дорожке прочь, звать на помощь, но что-то сковало ноги, и онемел язык. Солдат бежал, спотыкаясь о корни. По гимнастерке скакали солнечные пятна. Рече же солдат ему, глаголя: брате, что убо яко чуждь бегаеши от мене? Аз бо давно ожидах тя, да како бы пришел еси ко мне и родственную любовь имел со мною. Аз бо вем тя давно. Или мниши, яко избудеши от мя? Ни убо, не мни того, аз убо всею силою моею подвигнуся на тя! Веси ли кто есмь аз? Откуда мне знать, служивый, кто ты – дьявол, что ли? Аз есмь живот. И сия рече невидим бысть. Когда Александр Васильевич дошел до станции, упали первые капли дождя. Спрятался под деревянным навесом у кассы. Начался ливень, шумный, парной, белый. Все деревья вокруг станции разошлись. Оставался еще какое-то время тополь, но ливень припустил еще сильнее – ушел и тополь. Вечером, в летнем театре, где давали «Чайку», не удержался, спросил: Илья Андреевич, а где же ваша супруга? А вы не знаете? Укатила в Париж и тамо пребываху неколико время, идемте выпьем пива, вы ведь, вежливый юноша, не откажете составить компанию умирающему бессонными ночами от страха смерти старику? Ту зиму река пролежала, дымясь. На закате по сугробам ползли румянцы, синь и фиоль. На исходе марта Александр Васильевич узнал, что Ольга Вениаминовна вернулась, и сразу отправился к Вершининым. У Ильи Андреевича кто-то был. Выглянул только на минуту: Олюшка очень плоха, она в Алексеевской больнице. Вздохнул. Да что там говорить, не жилец Олюшка моя, сами увидите, вы извините, голубчик, меня клиент ждет. На площади, где собирались ломовики, пахло дегтем и гарью. Лес оглобел в воздухе. Он сразу поехал к ней в больницу, купив розы. И бе болезнь тяжка зело, яко быти ей близ смерти. И день от дне болезнь тяжчае бяше. Она узнала его, но не улыбнулась. Взгляд соскользнул с роз в окно. Сестра воткнула ей шприц с камфорой в исколотую ногу. Кожа – как сдутый сморщенный шарик. Она взяла его руку: какую скорбь имаше в себе? Он: Оля, все будет хорошо, ты поправишься. Она: что убо скрываеши от мене? Улыбнулась: я все знала с самого начала. С самого начала, понимаешь, с той зимы. Уже ничего не помогает, ни камфора, ничего. Ово о стену бия, ово же храплением и пеною давяше и всякими различными томленми мучаша. Он сидел рядом с кроватью и навинчивал на палец колпачок от пустого пузырька от каких-то капель. И се начат яко некий огонь горети в сердцы его, начат сердцем тужити и скорбети по жене оной. Все будет хорошо, Оля, спи, тебе сейчас нужно заснуть! Я завтра еще приду. И тако рек, поцелова ю и поиде от нея. Конец цитаты. Вы слышали, потрясенные и не верящие ушам своим, как на вопрос господина председателя, с какой целью он вернулся на место злодеяния, душегубец отвечал, что хотел якобы убедиться,

¹⁵ Сумрачный лес (*итал.*).

верно ли кадавр мертв. Молчу уже про то, чего стоит только одно это «вы», которое тотчас начинают говорить человеку, как только он украдет или убьет, хотя до этого весь свет ему тыкал. Но при этом отдадим должное сомнениям, взбредившим бездушие грешника: ведь и мертвый еще не мертв, пока его смерть не подтвердит врач своим заключением, и будет считаться живущим среди живых, пусть и с мозгом наружу, до самой последней точки, поставленной привыкшим ко всему уездным доктором в конце медицинского освидетельствования. Мы с вами, слава богу, уже вышли из пубертатного периода, чтобы принимать на веру Тертуллиана с его залихватскими пассажами, вроде смерть достоверна, так как нелепа, воскресение несомненно, ибо невозможно. Определение, жива ли еще жертва, с одной стороны, не представляет видимых трудностей, и если отсутствует под рукой зеркальце, можно поставить на грудь испытуемого стакан, наполненный водой, и если вода не будет колыхаться, то признаки жизни отсутствуют, и наоборот. Или берут простой ванный термометр, вводят его, предварительно намылив, в задний проход, и если температура тела окажется ниже 15° по Цельсию, то то, что принято называть смертью, уже наступило. Испытывают и раскаленным сургучом – если его капнуть на нежные участки кожи, то на последней при наличии признаков того, что принято называть жизнью, образуется на глазах волдырь. С помощью того же термометра можно определить и момент наступления смерти. Вводят его опять же в задний проход и от нормальной температуры в 36,6° отсчитывают по 1–2° в час, это, однако, верно лишь до упомянутого порога в 15°. Окоchenение начинается через 3–4 часа, причем с головы, и продолжается в течение двух суток. На третьи окоchenение начинает отходить тем же порядком, но не следует забывать, что происходит это лишь при комнатной температуре. Если окоchenение прошло и нет еще зеленоватого оттенка, то смело можно сказать, что прошло трое суток. При моментальной смерти, однако, бывает и моментальное окоchenение, но только в тех мышцах, которые были сильно напряжены. Важным фактором является и появление так называемых трупных пятен, которые, вы не поверите, передвигаются, странствуют, если тело перевернуть, но спустя 5–6 часов путешествие пятен прекращается. Нахождением куколок мух можно также определить более или менее точное время наступления смерти. Сначала поедают тело малые, затем средние и только тогда уже большие мухи. Рекомендуются собирать эти куколки в банки для удостоверения искомого момента, так как нужно торопиться, потому что начинается гниение плоти. Самый благоприятный температурный режим для этого процесса 37°, при температурах выше 60° и ниже 0° гниение невозможно. Здесь картину определяет окружающая среда – гниение тела, открытого в течение 2–3 недель, равно гниению тела, закрытого от воздуха, в течение шести месяцев. Труп в воде гниет в восемь раз медленнее трупа на воздухе. Легче всего загнивает мозг новорожденного. Небеременная матка гниет медленнее всего. Позеленение наступает через 4–5 дней первоначально у пахов. Гнилость выражается в появлении специфического трупного запаха, но если у бедя дазборг, то применяется следующий способ: свинцовый сахар или свинцовая примочка не оставляют обыкновенно следа, если написать ими что-либо на бумаге, но если вложить затем эту бумажку в нос трупа, то написанное проявляется и последнее можно прочесть. Несмотря на толстый слой земли, труп не остается спать в могиле, а проникает в атмосферу в виде миазмов, зародышей, составляя необходимое условие жизни и даже красоты (производя, напр., голубой цвет неба) и грозя при недеятельности человека завладеть всюю землею, заменить собою все ее население и вытеснить наш род. Так, напором этих газов выпирается задний проход, образуется так называемое выпячивание кишки, и неоднократно зарегистрированы случаи, когда у беременных женщин после смерти наступают от этого даже роды. Одномесечный выкидыш имеет величину сливы, двухмесячный – с куриное яйцо, трехмесячный – с гусиное. Общепринятым плодогонным средством является спорынья, растет, кому неизвестно, во ржи, а также рутадонский можжевельник. От

принятия свежей спорыньи происходит резь, называемая простолюдинами злой порчей, действующая на сужение матки. Вспомогательным средством, без которого все труды могут пропасть втуне, является горячая вода, которая вводится в половое отверстие посредством эсмарковой кружки. Обратим также внимание на то, что женская прихоть обливаться своих любовников кислотой пришла к нам из Парижа и, как видите, прижилась. Вообще, кислоты и яды – средства перспективные, за ними будущее, хотя и они имеют за собой богато иллюстрированную историю. Папе Виктору II, например, яд подмешали в чашу со святыми дарами, императору Генриху VII в яд обмакнули облатку перед причащением, Гамлету капнули что-то в ухо, римского Клавдия отравили при помощи клистира. Знаменитый Кальпорнеус отравлял своих жен через детородные части, вводя им мышьяковую кислоту на пальце во влагалище. Генке в своем спорном, но весьма интересном исследовании упоминает об одном крестьянине, который убил трех суженых, вводя им после совокупления катышки с мышьяком. Яд содержится и в парах – так папа Климент был отравлен дымом ядовитой свечи. От отравленной обуви умер Иоанн, король Кастильский. От отравленных перчаток скончался Генрих VI. Не так легко отравиться стрихнином – из-за его горького вкуса. Удобен мышьяк, хотя он и трудно растворяется, зато без запаха и почти безвкусен. Узнать его вкус в жидком растворе, например в гоголь-моголе, практически невозможно. Главное его преимущество, помимо прочего, в легкодоступности. Он употребляется гончарами и шляпниками, в красильнях и набивных фабриках, при выделке стекла и при изготовлении красок, не говоря уже о применении его как средства для истребления крыс и мышей. Употребляется как белый мышьяк – мышьяковистая кислота, так и сернистый мышьяк – соединения с серой в различных пропорциях. Отравление мышьяком имеет вполне характерные симптомы: упорная рвота, неутолимая жажда, чувство жжения в зеве и пищеводе, сильнейшие боли в животе, понос с испражнениями кровавыми или похожими на рисовый отвар, как при холере, судороги, ползание мурашек при почти незаметном пульсе. Реже применяются серная кислота, купоросное масло – из-за характерной едкости – разве что при большом превосходстве силы. Поэтому кислотами отравляют почти исключительно только детей. Тот же Генке приводит случай, когда женщина в Подольске, работница известного завода швейных машинок, употребила ребенку разбавленную серную кислоту на клизму, приняв ее за льняное масло. Бывает, что и выпивают вместо водки залпом. Впрочем, отравить можно и водой – дайте нашенскую воду нервной натуре – и умрет. Так что в этом смысле ядов вообще нет – любое может стать опасным, сунь только в рот. На одного яд не произведет никакого вредного действия вследствие привычки – вспомните мучения Сенеки, другой умрет просто от страха быть отравленным. Лошади без вреда для нее можно давать мышьяк неоднократно большими порциями, коза ест болиголов, а свинья умирает от перцу. Но мир, разумеется, не был бы столь гармоничным, если на всякий яд не было бы своего противоядия. Первым делом, и ребенку ясно, нужно вызвать рвоту – пощекотать зев, развести ложечку горчицы в стакане теплой воды. Если не подействует, повторить, но теперь уже с раствором мыла или лампадного масла, на стакан воды чайную ложку. Универсальным противоядием признана белковая вода, но лишь в случае отравления металлическими ядами. Приготавливается она так: берется белок от двух куриных яиц на бутылку воды. Дубильная кислота, или, по науке, танин, действует – но лишь при точном соблюдении пропорции 1/2 чайной ложки на стакан воды – преимущественно на растительные яды. Если нет по соседству дубильни, то нужно отварить обыкновенную корковую крошку. При отравлении кислотами хорошо зарекомендовал себя в последнее время обыкновенный древесный уголь, истолченный в порошок. Также не следует недооценивать магнезию, известковую воду, соду, мел, словом, что окажется под рукой. При отравлении щелочью придется, хоть это и малопривлекательно, выпить лимонного сока, или лимонной кислоты, или того же уксуса. Средство от мышьяка

можно заказать в любой аптеке. Так что неудивительно, что в якобы предсмертном письме аноним особое внимание обращает именно на хрупкость человеческой жизни: «Энхиридион Лаврентию. Пишем вашей милости и просим вас убедиться на наше письмо, которое оплакивалось у северной тундры не горькими слезами, а черной кровью, когда мы, пролетарии Могилевского окр., собрались и решились поехать отыскивать своих родных. Приехавши на место среди северной тундры Нандомского района, мы увидели высланных невинных душ из-за каких-то личных счетов, увидели их страдания. Они выгнаны не на жительство, а на живую муку, которую мы еще не видели от сотворения мира, какие в настоящий момент сделаны при советской власти. Когда мы были на севере, мы были очевидцами того, как по 92 душ умирают в сутки; даже нам пришлось хоронить детей, и все время идут похороны. Это письмо составлено только вкратцах, а если побывать там недели, как мы были, то лучше бы провалилась земля до морской воды и с нею вся вселенная и чтобы больше не был свет и все живущее на ней. Но пролетария, живущая по деревням, ужаснулась этого положения и напрямик задумала раскулачить рабочих по городам, как над крестьянами есть издевательство. Просим принять это письмо и убедиться над кровавыми крестьянскими слезами. Подпись неразборчива». Оставим на совести заскорузлого пера путаницу в запятых и обратим внимание на главное, не боясь быть обшканными невеждами и наглецами. Наш суд уже пережил эту мрачную эпоху смещения задач земного правосудия и интересов нравственности, она отошла в прошлое, оставив тяжелые воспоминания, и, надо надеяться, никогда не возвратится, ведь человек не прежде учится различать зло от добра, пока его за первое не накажут, а за другое не вознаградят. Не зная греха не творить. Напрасно законодатели пытаются путем самых суровых наказаний насаждать нравственность – их усилия бесплодны. В половых преступлениях вместо развращенной воли медицина находит болезненное безволие, вместо гнусного преступника – вызывающего жалость больного. Чего же требовать от придурковатого *stultitia*¹⁶, взятого директором цирка из чувства сострадания орудовать метлой на конюшню. Еще Моисей установил: кто совокупится с животиною, тот пусть смертью умрет, а животное, добавлял Левит, также умертвите. Безжалостный в делах чести Рим ограничивался здесь штрафом. Византийское право предписывало отрубать ближнему нагрешивший орган. Каролинги грозили неосторожным пастухам сожжением. Хотя Кант и поддерживал наказуемость совокупления с бессловесной тварью, Фейербах освобождал грех сей от кары в своем Баварском кодексе. Обратимся теперь к нашим баранам. В уставе Ярослава Владимировича за удовольствие «сблудить с животиною» полагается уплата 12 гривен и наложение епитимьи. Военский устав Петра, в свою очередь, предписывает – вот вам сквозняк из открытого в Европу окна – несчастного солдата «жестоко на теле наказать». Двучленная и беспощадная, когда речь заходила о власти, Екатерина назначает, разумеется, не без задней мысли пустить пыль в глаза своим просвещенным корреспондентам в Париже и Берлине, ссылку на пять лет в монастырь на покаяние для привилегированного сословия и «нешадное» сечение кнутом и вечное поселение в Сибири для «подлых», хотя кому, как не энциклопедистам, знать, что скотоложство имеет, по мнению современной науки, смотри, в частности, новейшие исследования Hüssy и Baumgartner'a, ту положительную сторону, что исключает возможность потомства идиотов. Но вот я вижу, что-то хочет возразить нашему уважаемому эксперту товарищ прокурора. Пожалуйста, Антон Михайлович! Благодарю! Господа! Сударыня! Мужчина и женщина! Печальный пасынок природы! Исаак, Авраам и Сарра! Братва! Послушайте меня, сердешные! Мы молимся каждый раз чужим богам. Курим фимиам не нашим идолам. Приносим жертвы не на свои алтари. Толчемся не в той кумирне. Нам сказали, что мы принадлежим какому-то зверю с человеческим

¹⁶ Скудоумие (лат.).

лицом, что нас нашли в капусте на его грядке, что это его флажки на веревочке между деревьями, за которые нельзя. Мохнатый, когтистый, кишит шерсть насекомыми, а в лице что-то материнское, и грудь налита молоком – пей, другого не будет. Какой-то сфинкс, таинственный, огромный, загадочный. Приходишь в детский сад, а он уже тебя встречает, еле стянув белый халат на груди, попахивая, и одна лапа за спиной. Угадай, Вася-Василек, загадку: что у меня там – живое или мертвое? И слышно, как что-то попискивает, жалобно так, безропотно – птичка-невеличка. Скажешь: живое, так сразу – хруст, а вот и не угадал! Сердце ведь не железное, вот и врешь: мертвое. Проиграл! – сфинкс радуется и протягивает птенчика, крошечного, живого, теплого, дрожащего. Поднесешь к губам, подуешь, и перышки топорщатся. Проиграл так проиграл, зато жив. А сфинкс: гуси, гуси! Ты: га-га-га! Сфинкс: есть хотите? И что ответить? А куда денешься-то? Да еще жена, дети, мать в больнице. Вот и толчешь из века в век воду в решете, таскаешь в ступе, наживаешь грыжу. Только осточертеет все, разогнешь спину, погрозишь сфинксу кулачком, мол, уж тебе, так он тебе сапогом под дых и шепчет на ухо: сыт, сынок, крупницей, пьян водицей, по которой реке, дочка, плыть, ту и воду пить. Разлегся на широтах, как на скрипучих половицах, положил тебя между лап и целует: дитячко ты мое! Меня, предупреждает, поигрывая хвостом, умом не понять, в меня, кровиночка ты моя, только верить! Вот и веришь, хоть и боишься, что голову отгрызет. Зверь ведь. Господи, да мы сами звери. А тут еще цирковая конюшня! Запах лошадиного мыла, пропотевшей кожаной упряжи, подмокших опилок, рыбы, выпавшей из кармана коверного, сквозняк освещенного манежа, деревянные скамейки, обитые кумачом, где-то далеко в вышине колышется на ветру брезентовый купол, слышны нетерпеливые аплодисменты публики, вот уже мчатся вороны в белых лайковых уздечках и высоких страусовых эгретах, голоножка вскакивает на сытый лоснящийся круп, у вас стек в одной руке, револьвер в другой. Реквизит в уборной – булавка величиной с зонтик, зубные щипцы, годные для Гаргантюа, корзина яиц, клистирная трубка. И нужно научиться ловить апач, на лету рассекать шамберьером подброшенное яблоко, прокалывать себе язык, кожу на груди, мускулы, прищипливать к телу на французских булавках небольшие гири. Грим азиата делается так: маленькие кусочки пробки расширяют ноздри, куски пластыря стягивают углы век. Совсем не сложно глотать огонь – рот и губы предварительно промываются квасцами, что предохраняет от ожогов, вот вам, кстати, секрет Муция Сцеволы. Опасаться же нужно дружеского участия, так как нигде зависть и недоброжелательство не имеют столь костоломных последствий, как на арене. Нина Труцци работала на трапеции, и внизу была натянута предохранительная сетка, куда артистка и должна была упасть и прыгать там, как мячик. Загремели барабаны, зал затаил дыхание, девушка бросилась вниз, но сетка вдруг прорвалась. Расследование выяснило, что сеть посередине была прожжена кислотой. Травят друг другу собак, лошадей. Один раз лошадь понесла – вместо канифоли, которой обычно посыпают спину перед вольтижировкой, кто-то сыпал мелким стеклом. Вот другая месть – в трико подсыпать порошок, вызывающий зуд. Вместе с потом он причиняет невыносимую боль – как припадочный, катаешься по полу. Что же касается шпагоглотания, то сначала горло приучается к щекотанию обычной медицинской щеточкой, потом идет тренировка с разогретой свечой, потом начинаются опыты с короткими твердыми предметами. Предельная длина заглатываемых предметов определяется анатомией: расстояние от губ до горла плюс длина горла, плюс пищевод – до полуметра. Предметы, для предотвращения спазм в горле, нагреваются: на столике лежат платки, которыми несколько раз нужно быстро протереть шпаги. Во избежание возможных ранений перед началом выступления применяется следующая уловка: заглотните сперва полую трубку, в которую шпаги и кортики входят безболезненно, как в ножны. Но настоящий успех вам принесет лишь номер «человек-аквариум». Из нескольких кувшинов наливаете воду в 30–40 бокалов – и выпиваете. Затем берете из аквариума несколько

живых рыб и лягушек и глотаєте их. Затем изрыгаете из желудка всю выпитую воду и достаете – по заказу публики в любом порядке – живых лягушек и рыб. Разумеется, во всем нужна последовательность и постепенность. Дозу выпитого следует увеличивать понемногу, чтобы желудок привык к ненормальному расширению. Форма бокалов тоже особая – на самом деле выпивать приходится не больше 20 стаканов. Труднее приучить организм выбрасывать назад всю выпитую жидкость. Сначала во время тренировки в последнем стакане выпивается быстродействующее рвотное, постепенно количество рвотного уменьшается – вскоре вырабатывается рефлекс, позволяющий без рвотного по желанию возвращать назад выпитое. Остальное – проглатывание живых рыбок и лягушат – неприятно, но несложно. Напуганные лягушки могут помочиться во рту артиста, но и это нестрашно, сцена приучает улыбаться даже при смерти. Конечно, бывали случаи, что земноводные ассистенты околевали и переваривались желудком – подумаешь, французы ведь едят лягушек. Возвращение рыб и лягушек тем более несложно – те плавают по поверхности и выходят в самом начале. Артист, процеживая между зубами воду, удерживает их во рту, а потом по требованию публики выталкивает языком заказанное – лягушку или рыбу. Обратит внимание следует обязательно на то, что при токе воды рыбы должны плыть вперед головой, а если перевернется и пойдет хвостом, то может возникнуть опасность от острых колючих плавников и чешуи, работа же с лягушками совершенно безопасна.

Со стороны Марсея Ницца появляется в профиль – слева тройной ряд гор, справа – море. На дальних вершинах – снег. Прибрежье, засаженное пальмами, фицоллаками, эвкалиптами, олеандрами, приятно теребит глаз. Мелькают разноцветные киоски купален. А вот рыбаки во фригийских колпаках, тянущие невод. Кто-то у соседнего окна говорит: Канн, Ментона, Иер – все это гравюрки, хорошенькие, но гравюрки, а здесь – картина.

Никея – город побед. Основанная греческими колонистами из Массалии за 300 лет до рождения Христова, Ницца расположена на берегу бухты Ангелов и защищена горами от северных ветров. Средняя температура года – 15,9°, зимы – 9,5°, лета – 23,9°. Средняя влажность – 61,4 %. Только в апреле и марте мистраль высушивает воздух. В предыдущем «Письме с Ривьеры», опубликованном в январской книжке, я, кажется, упоминала, что берег здесь покрыт голышами и нога, одетая в веревочные сандалии, скользит с боку на бок.

Главное действующее лицо ниццкой мелопеи – солнце, прожигаящее веки. Ниццары и ниццарки не знают туманов. В августе здесь все покрыто густым слоем пыли, каменистая земля пересыхает, листья чернеют и сворачиваются, как чай в цибиках. Мустики – едва заметные мошки – кусают, как пчелы. Морские ванны не освежают – вода слишком теплая. Отдыхающие бегут в горы или сидят с открытыми окнами и опущенными жалюзи, поливают каменные полы водой и смотрят, не упал ли барометр. Капитан Пальон, горный поток, разделяющий Ниццу на две части – старый город и новый, – в это время года грязен, смраден и ленив.

На Promenade des Anglais – бесчисленные кофейни и кондитерские, где после купания можно выпить чашку кофе или рюмку марсалы. На Корсо – фонтан Тритонов, вывезенный дочерью Михаила Палеолога из Константинополя. Бронзовая статуя Массеоли с парой громадных ботфортов и крошечной головкой на массивном туловище смотрит на заснувший броненосец на рейде. На набережной среди прочего указатель – «До Санкт-Петербурга 3850 верст». Откушав мороженого с фруктами на Rue de la Préfecture, 14, – в доме, в котором скончался Паганини и откуда его тело отправилось в бесславные скитания, – заглядываем на рынок, где рассыпалась корзина со сливами и ругань пуассардок. В рыбьем ряду бьет в нос острый запах от садков с устрицами и прочими морскими курьезами, везде лохани с живыми омарами, лангустами, анчоусами, мерланами. В Jardin public¹⁷, распыраемом впу-

¹⁷ Публичный сад (фр.).

ченным духовым оркестром, осаждают мальчишки, навязывая бесхитростные букетики и галдя без перерыва. Чтобы отделаться, нужно взять букет у первого и указывать на него всем остальным.

У морского вокзальчика вода пахнет дегтем и нефтью, случайный польский щебет щекочет несколько мгновений ухо, а море – крыжовенное.

В обеденной зале зеркала во всю стену, сотни огней под матовыми колпаками, расписные потолки с богами Олимпа и амурами, готовыми спуститься на вас на своих гирляндах, везде позолота, мрамор, на полу толстый мокетовый ковер, на столе белоснежная скатерть, хрусталь, серебро, вазы с цветами, пирамиды фруктов, прислуга с накрахмаленными воротничками. Сосед по пансионному столу заказывает вторую тарелку бульябеса. Этаким составившийся Базаров, перешедший от резания лягушек к препарированию стрекоз. Каждый день он совершает далекие пешие прогулки и зовет с собой. В любую погоду и в любом месте этот господин из Казани, адъюнк с руками мастерового, носит крепкие горные ботинки и всегда ходит в коротких кожаных штанах, выставляя напоказ мускулистые крепкие ноги, густо заросшие бронзовыми волосами, золотящимися на солнце. Вооружившись путеводителем Пыпина, он ходил уже в Антиб и Ментону. Туземные средневековые городки он с присущим русским путешественникам снисходительным презрением называет недотыкомками и смеется, что там главная площадь величиной с гостиную, а дома – как птичьи гнезда. Причем не столько восхищается древностями, сколько возмущается тем, что отойди чуть в сторону, где не бывает туристов, и сразу запустение, нищета, грязь, что очисткой улиц занимаются лишь бездомные собаки и что Ривьера загажена фабриками.

Один раз я зашла за ним – мы собирались пойти на рынок. Все в его комнате неряшливо, валяется как попало. Николай Александрович, как зовут моего невольного знакомого, собирает всевозможные камни, жуков, растения для гербария. Все эти сокровища для университетского музея копят пока не разобранными в банках, бумажных свертках, спичечных коробках. Я имела неосторожность взять полистать книжку с какой-то жестянки, так оказалось, что том заменял крышку, и на меня посыпалась какая-то прыгучая еще живая дрянь. Николай Александрович заползал по полу, хлопая по паркету своими лапищами, а на мои извинения только сокрушенно качал головой. Прислуге он строго-настрого запретил убирать в своей комнате.

– Для них ведь это все мусор, – объяснял он мне, разглядывая на свет стеклянную банку, в которой что-то жалобно из последних сил жужжало. – Их ведь ничего, кроме чаевых, не интересует. Собираешь, собираешь – и все коту под хвост.

Потом протянул что-то в кулаке:

– Возьмите, не глядя, на счастье!

Я дала руку, открыла ладонь.

Улыбнулся:

– Не бойтесь?

– Разве можно бояться счастья?

Положил жука.

– Что это?

– Скарабей. Его почитали в Египте. Нам кажется – дикари. А может, так было и лучше. Мы, кажется, недалеко ушли – те хоть в навозника верили.

На столе – фотография в рамке, обычная глупая семейная пастораль, пастух, пастушка и их барашечка. Николай Александрович с женой, совсем еще юной тощей особой, и их курносое чадо с прижатым к сердцу зайкой. Ухватились за сына, как за спасательный круг, и смотрят на меня. У мальчика чуть косят глаза.

– Какой у вас чудесный мальчуган! – сказала я, чтобы что-то сказать.

Удивляясь их крошечным порциям, Николай Александрович никак не может понять, почему я ничего не ем. Знал бы он, как я тайком на спиртовке готовлю тошнотворную тюрю и как заставляю себя ее глотать. С каждым днем становится все хуже. Я буквально чувствую, как это – то, что даже теперь боюсь назвать его именем, коротким и простым, – пожирает желудок, его стенки, кишки. Я знала, что теперь все пойдет быстро, и, в общем-то, была готова к этой стремительности, но все это чушь и ложь – можно лишь убеждать себя в готовности, но невозможно, абсолютно невозможно быть готовой.

Помню, как вышла от врача на Бульвар де Гренель, еще не успев толком осознать, еще удивляясь и не принимая, не ошеломленная и не подавленная, но – превратившаяся вдруг в зрение и слух: с неба сыпала мелкая сухая крупа, и голуби крыльями смахивали с мостовой поземку – шорох перьев об асфальт, – и обоняние вдруг заменило мысли: спустилась в метро, а там вонь от клошаров. То, чего боялась, в чем в последнее время не сомневалась, с чем смирилась и в чем даже пыталась найти какую-то необъяснимую горькую сладость, превратилось вдруг из ночных страхов в названную реальность. Одно слово – и невидимое стало осязаемым, страшное и принадлежащее только тебе – рядовым случаем, еще одной галочкой в медицинской статистике.

Первое желание – броситься к кому-то, рассказать, объяснить, поделиться, да-да, разделить того, кто возвращает внутри меня все съеденное обратно, и всучить в чьи-то руки. Сказать кому-нибудь: я умру.

А потом заходишь в магазин – чулки порвались, – там улыбаются тебе и улыбаешься ты. И оказываешься в суетливой толпе на вокзале под закопченными стеклянными арками.

Упаковала чемодан – и к морю.

В Ниццу едут с Лионского вокзала. Французские поезда – дрянь, но какая разница.

Зима прямо на глазах, как в детской сказке, превращалась в лето. Пассажиры бросались от окна к окну, теребя друг друга:

– Посмотрите только!

Мимо проплывали красные голые скалы, развалины замков, виноградники, серые оливковые рощи, в фиолетовой дымке далекие горы, пальмы, громадные толстолапые кактусы.

Дорогу от Марселя до самой Ниццы я провела запершись в туалете, меня выворачивало наизнанку.

Нет-нет, я приехала не умирать, отнюдь. Курортная жизнь, если и имеет цель, то дотянуть, наслаждаясь январским жарким солнцем, пальмами, перекинутыми на бульваре, как шея лебедя, видом красавца-полицейского в белой каске – до битвы цветов. Уже вовсю идут репетиции карнавала – горничные и прачки, а также безработные, нанятые за 10 франков, изображают, обливаясь потом, рыцарей и дам, дикарей и пейзажников.

Сегодня после завтрака мы с Николаем отправились в русскую читальню – наняли фиакр и доехали до виллы Бормон, где Николаевское православное кладбище и часовня покойного Цесаревича. Поднялись по высеченной из камня лестнице, шли по широкой аллее, залитой цветами. Оттуда открылся вид на море – спереди беспредельная глубина, слева разморенная Ницца. Русская библиотека притаилась в приделе церкви. Можно читать в саду под пальмами. Мы взяли по толстому волюму с кириллицей, радующей глаз, устроились в плетеных креслах в тени и читали, смахивая со страниц летевшую с кустов шелуху. Один раз набежало облако, которое, может, терлось о Гибралтар.

Сейчас пришла домой, приняла душ и прилегла. Мой номер я делю с туземцами – мелкими настырными муравьями. Берешь в ванной зубную щетку, а они вылезают оттуда, как из леса на опушку. Отламываешь кусок оставленного на ночь на столе круассана – те уже прижились в ноздреватом мякише, как монахи в пещерах.

Есть вещи, которые я не могу принять в этом человеке. Мне претит его безапелляционность, инерция разогнавшегося тяжелого предмета, самоуверенность обладателя ящичка, в котором шебаршится некое высшее знание, вроде его медитеранского навозника. Он весь – правильность и спокойствие, незыблемая уверенность, что наш нечаянный мир – не волос в чьем-то супе, но овеществленный смысл, что двуногополые развиваются от зла к добру, от грязи к чистоте, от хаоса к порядку, от гильотины к электрическому стулу. Он раскладывает по полочкам эту бесконечную кашу из горшочка, что варит жизнь, как раскладывает по коробочкам свою безмозглую дрянь, в уверенности, что все на свете поддается классификации, что всему можно найти подходящее место, что все можно назвать, что для всего существует имя.

Здесь есть один чудака, мнящий себя художником. Ни красок, ни кистей у него нет, с утра он уходит на берег и в набегающих волнах ставит отполированные морем камни на попа один на другой. Получаются какие-то причудливые формы, что торчат из воды и держатся против всяких законов физики. Публика на променаде останавливается посмотреть на эти вихлястые скульптуры и не скупится на мелочь – таким образом он зарабатывает себе на ужин. Ночью камни расшвыривают то ли волны, то ли мальчишки.

Художник и сам похож на свою скульптуру – на плечах примостился череп-голыш без единого волоска, который прикрывается от солнца детской панамкой.

Сегодня мы с Николаем поехали на фиакре смотреть на город с Шато. Оттуда, с Замковой горы, вся Ницца как на ладони, уступами с севера спускается к морю. Там же, в крепостце, защищавшей когда-то итальянский городок от врагов, а теперь ставшей рестораном, пообедали, причем встретили пляжного скульптора, и Николай пригласил его на стакан вина.

Там, наверху, было ветрено, мистраль вздымал скатерти и юбки. Николай стал ни с того ни с сего нападать на несчастного старика, будто хотел что-то доказать ему:

– Вот вы говорите, что готовы умереть в любую минуту без страха, что примете отлучение от этого неба, солнца, ветра без ропота и сожаления – со словами благодарности Богу и за каждый прожитый день и за посланную смерть. Но чтобы умереть счастливым, согласитесь, нужно хоть частью своей здесь остаться, породниться с женщиной, бронзой или хоть кирпичом, оставить потомство, теплокровное ли, каменное, бумажное, чтобы вы знали: вот это – мой сын, а вот это – моя дочь, я их люблю и оставляю жить вместо себя.

Старик только вытирал пот с шеи своей панамкой, виновато улыбаясь и не понимая, что от него хотят. Я зачем-то заступилась за этого беднягу с зубами, желтыми, как кукурузные зерна:

– Знаете, чего вам надо бояться, благоразумный мой человек?

– Чего же?

– Того, что в один удивительный день вы не узнаете того, с кем думали, что породнились, выбросите на помойку ваших детей и на последний гривенник закажете в кондитерской ванильное мороженое с клубникой. Любите?

– Нет.

Тут раздался выстрел из вестовой замковой пушки – команда всем проверить часы. Мы пошли обратно пешком. Сен-Жан с горы похож на распластанного крокодила. Конец января, а уже цветут лавр, миндаль, пинии, апельсины, лимоны.

Разбила зеркало. Случайно, конечно. Гром, звон, вся ванная в осколках. Даже поцарапала руку. Неглубоко, несколько капель. Не успела оглянуться, а они уже повесили новое. И оттуда кто-то смотрит. Мне хуже с каждым днем. Кожа сохнет, морщинится, обтягивает череп. Силы уходят. Не показываю вида, после завтрака бодро иду к морю, но дохожу только до ближайшего кресла на променаде. Сижу, сколько могу, любуюсь гуляющими и облаками, кормлю чаек, потом возвращаюсь к себе в номер, глотаю порошки и реву.

Он: Ольга Вениаминовна, вы чем-то больны, вам нужно обратиться к врачу, иначе вы просто погубите себя!

Я: Пустяки! Со мной всякий раз так бывает зимой – впадаю в тощую спячку. Я знаю и без врачей, что мне нужно: солнце, морской ветер да вон тот парус с талией осы.

Неделю не бралась за перо. И вот сегодня. Почему, почему, почему? Как я могла не видеть, не чувствовать, не понимать! Он молча зашнуровывал свои ботинки, будто не слышал меня. Потом сказал:

– Это старая фотография. Теперь был бы уже в пятом классе. Нет, в шестом.

Я не поняла:

– Как это?

– Его больше нет.

Мне стало не по себе.

– Ради Бога, извините, я что-то не то сказала.

Он невесело улыбнулся.

– Ничего страшного. Уже столько лет прошло.

Мы вышли на улицу. Он молчал. Я зачем-то спросила:

– Что с ним случилось?

– Бегал с мальчишками по льду. Попал в полынью. В общем, глупая история.

Я шагала рядом, еле поспевая, и не знала, что сказать.

– Да вы не расстраивайтесь из-за меня, – он как-то странно улыбнулся. – Я, когда все это произошло, жить не мог. А потом мне объяснили, что так должно быть. Просто закон такой – как яблоком по лбу. С каждым в жизни должно что-то произойти. И с вами произойдет. И со всеми. Просто нужно знать. А с женой мы после этого разошлись. Наверно, это должно было нас, наоборот, сблизить. А вот как получилось. Может, он только нас вместе и держал.

На рынке стоял гвалт, там везде что-то жарилось, парилось, кипело. Я смотрела на этого человека, у которого по нелепости так чудовищно погиб самый дорогой человек, как он азартно торгуется, хохочет, хлопает рыбачек по плечу, – и не понимала, что это? Очерствелость души? Сила жизни? Или сила жизни и есть очерствелость души? И все не лезло у меня из головы его яблоко по лбу.

Dimanche и Mardi gras¹⁸ – две высшие стадии карнавального опьянения. Не ходите на Корсо, если у вас ненадежны локти, мрачно на душе, щеголеват костюм, а на голове шляпа – попадете в давку, вас выпачкают всеми красками и если не собьют с ног, то непременно нахлобучат вашу шляпу по уши. Можно выбрать безопасное место на террасе около префектуры или заплатить за окно или балкон. Карнавал квакает лягушками, размахивает гигантскими крыльями летучих мышей, кувырывается обезьянами, садится на козлы бородатым кучером в дамском бальном костюме, сыплет цветами, швыряет мучными конфетами по полам с горохом. Кто является только поглазеть, заражается, покупает цветов, конфет и, войдя в азарт, еще очень досадует, что конфеты не камни, чтобы бросить их в одну рожу, приветливо улыбающуюся с балкона.

Ну вот, все и произошло. Случилось то, что и должно было случиться. Милый, несчастный, славный мой Николай Александрович! Все, что вышло, поверьте мне, к лучшему! Знала, что вы давно должны были уехать и не уезжали, все откладывали, находили тысячу причин переменить билет. Знала, что вы придете и скажете то, что сказали. Просто и внятно, хоть и покраснели, как мальчик. Конечно, любимый мой человек, вы тысячу раз правы, и было бы просто чудесно, просто замечательно, просто восхитительно положить вам голову на плечо, прижаться к вам, обхватить сильно-сильно и больше никогда не отпускать. Да что же вы, глупый мой, спрашиваете еще, хочу ли я быть вашей женой, какого еще вы ждете

¹⁸ Воскресение и Последний день карнавала (фр.).

ответа? И в ту минуту, когда я ответила вам «нет», в ту самую секунду вдруг так пронзительно захотелось умереть. Послушай, любимый мой, ты все-все когда-нибудь поймешь. Есть вещи, которые и существуют только для того, чтобы быть понятыми потом. И когда ты все поймешь, ты простишь. Милый мой, мы прекрасно знаем с тобой одну истину, которая единственная удерживает этот мир. Все сущее держится на ней, как на соломинке: что бы ни произошло, самое важное – не терять достоинства. И вот этот экзамен, может быть, главный из всех, которые нам пришлось сдавать, мы выдержали. Ты стоял у окна. Там валялась на подоконнике точилка, ты взял ее, вытянул из стакана с карандашами самый тупой и принялся точить. Я поправляла цветы в вазе. Зачем карандаш, при чем тут цветы? Я стала болтать что-то о карнавале, какую-то несусветную чушь, лишь бы заглушить молчание. Ты все был занят точилкой – у карандаша то и дело ломался грифель. Потом сказал, не глядя на меня, что завтра уедешь утренним поездом. Я ответила как ни в чем не бывало, что приду тебя провожать. Все вышло хорошо, как нельзя лучше, как и должно было быть, только в самом конце тебя чуть подвели нервы – хлопнул дверью так, что зазвенела люстра.

Ты уедешь завтрашним поездом, а я буду стоять на платформе и махать тебе, улыбаясь, щурясь на солнце, легко, беззаботно. Потому что и я, единственный мой, права, хоть у меня и не так много аргументов. Даже совсем немного. А вернее, всего-навсего только один: что за радость жениться на гниющем заживо желудке, правда? А та, в зеркале, когда ты ушел, сперва сидела на кровати долго-долго. Из окна доносились звуки оркестров, мешавших друг другу, крики, смех, вопли. Потом, спокойная, уверенная в себе, слегка голодная, она стала одеваться. Примеряла платья, все на какую-то толстуху. Расчесывала волосы. Пудрилась. Подводила ресницы. Оставила по капле духов за ушами, на шее, на груди. Закрыв окно, на случай дождя, она вышла из зеркала и отправилась на Корсо, туда, где бесился карнавал, – ее стиснули в давке, измазали волосы взбитыми сливками, ткнули охапкой цветов в лицо. Она выхватила у кого-то букет и сама стала хлестать им направо и налево. Толпа вышвырнула ее к какому-то ресторанчику. Она, смеясь, заказала жаркое, не глядя, просто ткнув пальцем в меню, потом еще полдюжины блюд. Стала пить вино и есть все подряд, запихивая в рот куски пальцами.

Первый раз ее вывернуло уже в ресторане. Она еле дошла до гостиницы. Не хватило сил добраться до номера, и она присела у стены в коридоре. Я как раз возвращался от близняшек несолоно хлебавши, в кармане бутылка коньяка, злой, да какой там злой, просто в бешенстве. Думаю, напьюсь один – и весь карнавал. А когда я в таком состоянии – ты же меня знаешь, – остановиться уже не могу. Помнишь, как я чуть не вышвырнул тогда поляка-хама из поезда на полном ходу? И вот слушай приключение. Смотрю, на этаже сидит на корточках одна тут особа, я тебе про нее, кажется, писал, местное чучело, посмешище сезона. С невероятной шляпой, над которой умирает со смеху весь табльдот.

Подхожу, спрашиваю:

– Вам помочь?

Мычит что-то, мотает головой.

Я ей снова:

– Да что с вами? Вы плохо себя чувствуете? Может быть, вызвать врача?

А она в ответ блевать, еле отскочил.

Ну, думаю, не оставлять же пьяную женщину без помощи. Под мышки и к себе в номер. Она и не сопротивляется, тащу ее, как куль.

Вокруг нее увивался тут один мухолов, но, видно, без натиска. Я ее на кровать и давай отпаивать коньяком.

Ну, брат, дальше можешь сам себе все представить! Пожалел только, что тебя не было (не забыл еще волоокую хористочку с ниточкой в пупке?).

Обожаю все эти пьяные слезы, этот осовелый скользкий взгляд, это бессмысленное мычание, это освобожденное бесстыжие!

Она бормочет что-то нечленораздельное, а я ее раком.

P.S. Все мы умрем, брат. Главное – умереть молодцом! Надо загребать жизнь обеими руками.

Слушай, чудо мое, странную сказку. Случилось все это тысячу лет назад, когда тебя и в помине не было.

Никому не рассказывал, носил в себе. Тебе, доченька, расскажу, слушай. Ты ведь у меня умница – ничего не поймешь.

Твой папа был тогда совсем другим, у него самого еще были живы мама и папа, а он был юношей. Юноша – это такое существо с жидкой бородкой, которое играет в крокет и кегли, руководит фантами и говорит дерзости девицам. А потом ночью корпит над *actio hypothecaria* и *pignoratitia*¹⁹. И вот одним утром, когда снег за окном спешил к трем вокзалам, он отправился на экзамен – всю ночь готовился, проспал и теперь очень торопился, прямо бежал по лестнице, а внизу чуть не упал, поскользнулся на заледенелых ступенях, это дворник носил воду и расплескал. И в дверях юноша столкнулся нос к носу с заснеженным почтальоном. Тот принес ему телеграмму. Телеграмму юноша открыл уже в трамвае. В ней его отец сообщал без точек и запятых, что мама юноши скорпостижно скончалась и что похороны будут тогда-то. «По возможности, – телеграфировал отец, – приезжай». Юноша доехал до университета и машинально, плохо соображая, что происходит, разделся в гардеробе и поднялся по лестнице до аудитории. Там его окликнули и сказали, что о нем уже спрашивали. Он вошел в экзаменационный зал, и на него набросился профессор романист Платонов, грузный и рыхлый – когда поднимался на кафедру, она трещала под ним. Юноша был его любимым студентом.

– Ну, где же вы пропадаете? Берите билет! Берите, берите, что вы тут перед нами как каменная баба из кургана!

Юноша взял с алой бархатной скатерти бумажку. Ему достался конек профессора – отличие *dominium* от *possessio*²⁰.

– Вот и чудесно! – обрадовался Платонов. – Я уже имел удовольствие с вами, молодой человек, дискутировать по этому вопросу. Отвечайте-ка без подготовки, *ex tempore*²¹!

За длинным экзаменационным столом сидели какие-то седобородые старцы, которых юноша должен был поразить своими способностями, Державины русского права, дышавшие на ладан.

Платонов заерзал на заскрипевшем под ним стуле, торжествующе поглядывая на коллег, мол, сейчас увидите, этот покажет!

Юноша хотел что-то сказать, объяснить, показать телеграмму, но вдруг почувствовал, что не может выдать из себя ни слова, будто кто-то сжал ему челюсти.

Платонов потирал руки, как бы предвкушая удовольствие, его большое тело еле помещалось за столом. Он подбадривал хрипловатым баском:

– Ну же, молодой человек, с высоты этих пирамид на вас смотрят тридцать веков! – и сам первый заразительно засмеялся своей шутке, пихая в бок то мумию справа, то слева.

Впервые этот обожаемый юношей умница показался ему ничемным дурашливым стариком, а его *dominium* с *possessio* каким-то бредом.

Платонов не унимался:

¹⁹ Предоставление залога, поручительство путем предоставления залога (*лат.*).

²⁰ Доминиум, имущество (*лат.*).

²¹ Экспромтом (*лат.*).

– Давайте, давайте, Александр Васильевич, глазомер, быстрота, натиск! Режь, коли, бей! Пуля дура, штык молодец!

Юноша все молчал.

Профессор забеспокоился:

– Ну же, что с вами, дорогой мой? Переволновались? Бывает. Начинайте, начинайте, мы ждем.

Юноша стал что-то бормотать.

Мумии переглядывались.

Платонов мял себе то мясистые уши, то рыхлый нос, ничего не понимая.

Когда юноша замолк, профессор долго кусал губы, покачивая головой. Потом сказал:

– Вы меня очень, очень разочаровали.

Из университета юноша поехал на трамвае по Мясницкой на Казанский вокзал.

Попутчиками в купе оказались сонливый полковник и мрачная когтистая дама, терзавшая всю дорогу толстую машинопись корректорскими каракулями. Полковник то и дело клевал носом, но, начиная храпеть, просыпался и принимался расспрашивать юношу о жизненных планах. Юноша забрался на верхнюю полку и сделал вид, что спит. Потом полковник обратился к соседке:

– Вы, мадам, не составите мне компанию пообедать? – и, не дождавшись ответа, исчез за дверью на целый день, а дама, к счастью, так и не проронила за всю дорогу ни слова. Только где-то за Пензой вдруг произнесла недовольно:

– Молодой человек, потрудитесь выйти, мне нужно переодеться.

В поезде ночью юноша, то есть, конечно, я, неважно, никак не мог заснуть. Проезжали какую-нибудь станцию, свет от фонарей врывается на несколько мгновений в купе, потом опять все окуналось в темноту. Полковник то храпел, то ворочался. Напротив с полки свесилась его рука. Когда за окном мелькали огни, по жирному обручальному кольцу пробегали искорки. Иногда поезд останавливался, тогда были слышны шаги рабочего под окнами вагона и стук молотка по железу.

Я думал о маме. Вспоминал, как в школе, после уроков, забегал в туалеты, чтобы соскоблить со стен, пока никто не видит, все эти убогие надписи о химичке, которыми изощрялись мои соученики. Вспомнил, как однажды, это было на каникулах, в Пятигорске, мы прогуливались вдвоем по бульвару и она хотела взять меня под руку, будто я ее кавалер, а мне было четырнадцать, и я отпрянул, наверно, стыдился ее.

Вспомнились все бесконечные детские страхи. Когда я заболел ветрянкой, раздался звонок. Я лежал в своей комнате и смотрел на сыпь, выступившую на стене – житья не было от комаров, и стены не успевали отмыывать от их останков. Из флигеля было три выхода: один вел непосредственно в актовый школьный зал, другой во двор, третий на улицу. Кто-то позвонил с улицы.

Я не знал, кто пришел, слышал только голоса в прихожей, потом в гостиной. Отец был дома, значит, это случилось в субботу или воскресенье. Я прошмыгнул в туалет, а оттуда, никем не замеченный, в кухню. Покрытый язвочками организм требовал лакомств. Я стащил несколько ломтиков пастилы и пошел на цыпочках к себе, когда меня вдруг догнали слова, смысл которых дошел не сразу. Отец, отвечая на вопрос невидимого гостя, сказал:

– Нет, Саша не знает, кто его настоящая мать.

Я добрался до своей кровати, но проглотить пастилу уже не смог.

Скоро голоса переместились снова в прихожую, хлопнула входная дверь. Я хотел было броситься к окну, но моя комната выходила во внутренний садик.

Вошел отец, за ним мама. Она присела ко мне на кровать.

– Это еще что такое?

Она разжала мой кулак с растаявшей слипшейся пастилой.

Я хотел спросить, кто это приходил и что все это означает, но язык мой окостенел, и я не мог вымолвить ни слова. Меня охватил ужас при мысли, что они пришли сказать какую-то чудовищную, невозможную правду. Правду, которая перевернет весь мой мир, сломает и исковеркает мою жизнь.

Логические умозаключения, к которым детский мозг еще не был готов, царапали и рвали что-то внутри. Если эти люди, пришедшие сообщить нечто важное и теперь взволнованно трогавшие мне лоб, шупавшие губами мою горевшую кожу, встревоженно переглядываясь, откуда это у ребенка вдруг жар и озноб, – если эти люди не мои родители, то как же так? Кто тогда эта женщина, что роется в коробке с порошками и таблетками, и кто этот мужчина, что вызывает в соседней комнате по телефону врача? И кто тогда я? Почему лежу здесь с липким кулаком и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой? Как я сюда попал? Куда мне теперь идти? И кто в таком случае моя настоящая мать? И не был ли это мой настоящий отец, кто сейчас приходил?

Врач дал выпить какого-то порошка, и я заснул. А когда проснулся и мама принесла мне, как обычно, стакан какао, счастливая, что ее Сашенька пришел в себя и что весь этот ужас уже позади, я вдруг почувствовал, что мне, моему миру объявлена безжалостная война, тот, невидимый, нанес первый удар, а я нечаянно, поневоле отбил этот натиск. Родители, пришедшие сказать мне что-то, испугались моего приступа и, возможно, решили разговор отложить.

Это, наверно, приходил посланник сарацин-невидимок.

Мама водила меня в театр Зимина, только что тогда построенный, на утренники. И вот там один раз, когда сестрицы Одноглазка, Двухглазка и Трехглазка улеглись дома в своих кроватках, стена покачнулась, что-то порвалось, и размалеванный задник с тяжелым вздохом рухнул на спину, подняв клубы пыли. Вдруг оказалось, что мы не в уютной хатке, а в каком-то огромном грязном пространстве с неряшливой кирпичной кладкой. Оттуда подул ветер. Стало жутко.

Так было и после тех невозможных слов, обрывка брошенной фразы, которая, может, вообще мне только почудилась, или я что-то неправильно понял, или вообще речь шла о ком-то другом. Я не мог тогда сформулировать словами это странное ощущение. Окружавшая меня жизнь, теплая, уютная, единственная, вдруг оказалась какой-то дурно сляпанной декорацией, в которой я ненароком прорвал дыру. Откуда-то из-за кулис пахнуло затхлой огромной темнотой, и у ребенка под мышками засквозил холодок. Мама, отец, все взрослые кругом оказались переодетыми актерами, участниками устроенного кем-то для меня утренника. Все вжились в свои роли, но время спектакля уже подходило к концу. Еще немного, и актеры выйдут кланяться: человек, играющий роль моего отца, снимет бороду, мать – парик. Чудесная сказка закончится. Начнется какая-то чудовищная, немыслимая реальность.

Ночами я просыпался в морозном поту от тошнотворных снов. Но открыться, рассказать маме или отцу о своих детских страхах было совершенно немыслимо. Детский ум понял только одно: нужно сделать все, чтобы продлить это представление в детском театре школьного флигеля как можно дольше.

Когда взрослые разговаривали друг с другом, я всячески напоминал им о своем присутствии – библикал, фыркал, говорил голосами своих игрушек подчеркнуто громко, чтобы там, за столом или в креслах, не забылись, не проговорились. Если меня отсылали к себе в комнату, следил, чтобы дверь была плотно прикрыта, чтобы в щель не просочились слова, которые я так боялся услышать. А когда кто-нибудь, разговаривая, проходил мимо моей двери, я затыкал пальцами уши. Мне не нужна была никакая правда, мне нужно было что-то, что гораздо важнее. Любое слово могло оказаться пробоиной в днище моей лодки – через эту дыру готов был хлынуть тот самый ненавистный невидимый мир и потопить мое суденышко.

То, что скрывалось за разрисованным задником, было совершенно недоступно. Получалось, что самые близкие люди обманывали меня. Я терялся в догадках, кто еще вовлечен в этот невероятный заговор.

Достаточно было одного слова или взгляда, чтобы заставить подозревать в родственнике или друге дома двуличие. Стоило кому-нибудь, ухватив меня за щеки, заявить, что весь я вылитый отец, а вот зеленые глаза от матери, или, наоборот, что от отца у меня только нос, а во всем остальном я маменькин сынок, – как трепавшие меня руки сразу делались холодными, чужими, невыносимыми.

Детские мысли крутились вокруг одного и того же – кто моя настоящая мама? Я придумывал, что она умерла, когда я был еще совсем маленьким. Утонула или попала под поезд. И вполне возможно, что у нее была сестра. И эта сестра взяла к себе крошку на воспитание. И вот теперь меня хочет забрать к себе настоящий отец. А ненастоящий так привык ко мне и так любит меня, что не хочет отдавать. И тогда настоящий отец захочет меня увести силой или выкрасть тайком. Я стал бояться гулять. На улицу, во двор меня могли вывести только силком.

Или, – придумывал я, и это заставляло страдать еще сильнее, – женщина, родившая меня, просто бросила своего ребенка. Родила где-нибудь в канаве около пристани. Я видел их там, неопрятных, размалеванных, хохочущих, злых. Меня подобрали, сдали в приют. Туда пришел бездетный школьный директор с женой, чтобы взять себе дочку или сына, и выбор их совершенно случайно остановился на мне. Могли бы выбрать кого-нибудь другого. Может быть, моя мама сказала:

– Васенька, давай возьмем вот этого. Посмотри, какой он страшненький и жалкий, ведь если мы его не возьмем, он никому больше такой не будет нужен!

Или мне приходило в голову, что родители просто купили меня у какой-нибудь бедной женщины. На улице я смотрел кому-то вслед и думал: а ведь это, может быть, ждет трамвая на остановке под зонтиком моя мать или вот закуривает папиросу на ветру мой отец, и спички у него то и дело гаснут.

После уроков я обычно гулял в школьном дворе. Один раз у меня защемило сердце: я увидел, как к чугунной ограде подошла женщина, простенькая, в темном пальто, в платке, и стала смотреть на меня. Рядом бегали еще другие дети, но я был уверен, что она смотрела именно на меня. Я сделал вид, будто ничего не заметил, но тут же попросился домой. Нянька моя решила, что я капризничаю. Я стукнул ее, она меня. Я визжал и царапался, меня скрутили, я лягался ногами. Все кругом сбежались, в окно что-то кричала мать. Та женщина ушла. Я успокоился.

Через несколько дней я опять увидел ту женщину у ограды. Она искала мои глаза. Я почувствовал себя онемелым, набитым, как чучело, замороженным. Какая-то сила заставила подойти к ней. Рот открылся, и язык хотел произнести:

– Вы что, моя мама?

Но ее уже не было.

Сиротский приют был в соседнем квартале, и раз в неделю их проводили по нашему переулку в кинематограф. Они были все какие-то пришибленные, одинаково одетые, коротко стриженные. Шли парами, их подгоняли окриками. Нянька вздыхала:

– Несчастные!..

Я только сильнее хватал ее за руку.

Страх перед невидимым поселился во мне, как проглоченный паук. Прижился где-то внутри, присосался к стенкам желудка. Месяц проходил за месяцем, год за годом, временами все забывалось, но иногда паук снова начинал перебирать лапками, вызывая ужас до тошноты.

Поймаешь на себе через открытую дверь взгляд гимназического швейцара, попивающего чаек в своей каморке, – и холодок по коже – неужели и он знает?

Теперь все эти переживания показались мне смешными. Какая разница – настоящая, ненастоящая. Ее больше нет.

Проснулся я поздно, вернее, меня разбудил полковник, уже в форме, выбритый, пахнувший терпким лосьоном.

– Вставайте, юноша, жизнь проспите!

Промелькнули Малые Каменки, за ними Большие.

Отец в квартире не было – он давал урок. Даже в такую минуту он считал своим долгом рисовать на доске стрелы Зенона и объяснять, почему Ахиллес никогда не догонит черепаху.

Мама лежала в гостиной на столе. Меня почему-то поразил платок на голове – я никогда не видел ее в платке. Кожа была восковой, прозрачной, а губы почернели. Я хотел дотронуться до ее лица, поцеловать, но что-то удержало.

В комнате непривычно пахло, чем-то чужим. Я походил по пустой квартире и пошел на кухню, делать себе чай. Было странно, что все стоит на своих местах, все эти чашки, кастрюли, кофейник, сахарница, а человек, который позавчера еще брал из нее сахар, лежит за стеной на столе, и на пальцах застыл воск со свечи.

Пришел отец. Захотелось броситься к нему на шею, обнять, зареветь, но я чего-то испугался, и наоборот, шарахнулся от него. Юноша больше всего боялся заплакать. Все юноши дураки.

Я спросил:

– Как это случилось?

Отец сказал, что у мамы и раньше было плохо с сердцем. А тут ее вдруг стало тошнить – прямо за столом. Потом стошнило в спальне, в ванной. Потом она стала жаловаться на сердце. Отнялся язык. Вызвали врача, но уже было поздно.

Я еще зачем-то спросил:

– Она очень страдала?

Отец кивнул:

– Да.

Мы сели ужинать. Все было непривычно – чай всегда разливала она, на зеркале за спиной отца что-то висело, штору никто не задернул. Давно и быстро стемнело, в окне отражались мы вдвоем, молчаливо жующие.

Отец что-то иногда спрашивал про учебу, про экзамены. Я пожимал плечами. Поймал себя на том, что, как в детстве, заплетал из бахромы скатерти косички.

Укладываясь, открыл шкаф, чтобы взять белье, и вспомнил, как один раз мама, отчаявшись справиться со мной без отца, заперла меня вот в этот шкаф, он казался тогда огромным. Я не привык к такому обхождению и – жестокая детская месть – сорвал все висевшие там платья и истоптал их ногами.

У кладбища нас встретили ребячьи крики – перед домиком смотрителя дети лепили снежную бабу. Через голые ветки деревьев и ограды было видно, как они приставили к ней лопату.

Заснеженные мраморные часовенки, кресты. Даже тут отгородились все друг от друга – хоть сажень, да моя.

Было странно, что все в шубах и шапках, а мама в одном платье.

Похороны были чудовищными – с венками от попечителя, от родительского комитета, от педагогического совета. Читали по бумажке какие-то речи. Играл гимназический оркестр. В перерывах музыканты-старшеклассники переговаривались, продували мундштуки своих труб. Было не так холодно, чуть ниже нуля, но на ветру все окоченели, стучали каблуками,

хлопали себя по бокам, терли уши. Отец не сказал ни слова. Стоял, обнажив голову. Ему говорили:

– Наденьте шапку, простудитесь! Ей все это не нужно. Наденьте, вам говорят!

Но отец никого не слушал. Все остальные стояли в шапках, и я тоже.

На снегу кругом могилы был разбросан мерзлый песок. Я заглянул в яму. Там из стенок торчали концы обрубленных корней.

Когда стали подходить прощаться, отец, наклонившись над гробом, долго смотрел на ее лицо, убрал ей прядь у виска под платок, что-то прошептал, слышное только им двоим.

Я прикоснулся губами к маминому лбу. Мне показалось, что я дотронулся до холодной железной трубы.

Споро и ловко заколотили крышку, и гроб, подергиваясь, пошел вниз. У рабочих, опускавших веревки, руки вытягивались, становились длиннее. Стали бросать в могилу землю, чтобы была пухом, я тоже бросил горсть снега вперемешку с песком.

Набросали холмик, обровняли лопатами.

Воткнули дощечку, на которой черной краской было написано, кто здесь. Было странно, что человек превратился в буквы.

Когда выходили из ворот кладбища, детей уже не было, наверно, их позвали обедать. Снежная баба стояла в одиночестве посреди оград и крестов, устало опершись о лопату, будто взирая рябиновыми глазами на плоды своего труда.

На поминках ели мало и говорили вполголоса, о чем-то постороннем. О покойной никто за столом ничего и не сказал. Отец сидел, сгорбившись, и смотрел на рюмку водки, которую он так и не выпил.

На кухне помогала Ксения, бывшая мамина ученица, вышедшая в прошлом году, – мама преподавала еще в Калитниковской женской гимназии. Ксения была совсем ребенком, классе в четвертом или пятом, когда я уехал в Москву, но и тогда она обращала на себя внимание охапкой своих волос, вьющихся, крепких, смоляных, может, у нее кто-то в роду был из цыган. Я не мог сидеть за столом и, чтобы куда-то уйти, пошел к ней. Ксения мыла тарелки для горячего, а я вытирал. Я вдруг почувствовал себя рядом с ней большим, столичным и о чем-то говорил снисходительно, как с маленькой девочкой, глядя на ее выросшую грудь и взрослые губы.

Плита была горячая, и я как-то умудрился обжечься. Ксения схватила яйцо, кокнула его в миске и стала смазывать мне палец белком. Она держала мою руку, водила по моей коже, дула на обожженное место, подставив мне затылок, и я еле удержался, чтобы не поцеловать ее в шею.

Было жарко, душно, накурено, мы с Ксеньей вышли на крыльцо. Я набросил ей на плечи мою тужурку. Уже начинались декабрьские сумерки. Мы пошли в соседний двор, где была беседка, пустая, зимняя, обвитая замерзшим сухим хмелем. В домах зажигались окна. Мы залезли на скамейку и уселись, смахнув снег, на перила.

– Все это ужасно, – вздохнула Ксения, – бедный...

Меня эта жалость, о которой я не просил, отчего-то задела, но оказалось, что она жалела вовсе не меня.

– Как ему теперь тяжело, – еще раз вздохнула Ксения. – И Галину Петровну жалко. Она ведь была добрая. На нас кричать надо, а она не умела.

Сидеть было холодно, темнело быстро, и мы пошли домой. У дверей я заглянул в почтовый ящик. Там лежали с утра письма и телеграммы с черной полоской отцу, а одно письмо было маме. Я показал его Ксене:

– Смотри, там, в этом конверте, она еще живет. Забавно, правда?

Ксения не улыбнулась.

В прихожей было тесно от пальто и шуб. Проходя мимо, Ксения чуть задела меня грудью, и ее волосы скользнули по моему лицу, они еще пахли улицей и морозом.

Все уже вставали из-за стола, чтобы расходиться.

Отец попросил меня остаться, но я уехал в тот же день.

Через пару месяцев я получил из дома короткое письмо. Твердым отцовским бисером сообщалось, что они с Ксенией поженились.

Я сухо, несколькими пустыми фразами на открытке поздравил их.

На отца я не обиделся, его я еще как-то мог понять, ему трудно было остаться одному. Но Ксене я простить не мог. Мне казалось, она просто воспользовалась положением. Использовала тяжелое состояние отца после случившегося. И потом, почему они не могли подождать хотя бы еще немного. Все это было оскорбительно для мамы. И главное, я не понимал, почему отец, всегда такой щепетильный в этих вопросах, вдруг так просто обидел и память человека, с которым он прожил всю жизнь, и меня. Во всяком случае, я написал им, что желаю счастья. Я сказал себе, что все это не мое дело.

Летом я, как обычно, приехал домой на каникулы. Сначала вовсе не хотел приезжать, но потом решил, что обижу этим отца и будет намного лучше, если я приеду просто на недельку и буду вести себя вежливо, приветливо, непринужденно, как ни в чем не бывало, а потом уеду, чтобы никогда их больше не видеть и лишь посылать им регулярно рождественские открытки.

Открыла мне Ксения. Она была беременная, и до родов оставался месяц, может, два.

– Проходи, что ж ты встал! – усмехнулась она. – Разве отец тебе не написал?

Квартиру я узнал с трудом, был сделан ремонт, полы сверкали, свежие обои золотились, выбеленные потолки поднялись. Хотя мебель осталась все та же, с казенными инвентарными бляхами в укромных местах. Запахи здесь жили теперь совсем другие. Раньше, приезжая домой, я будто возвращался в свое детство, теперь я приехал в чью-то чужую жизнь.

Было странно видеть везде на привычных местах незнакомые вещи – какие-то флакончики, тюбики, коробочки, везде появились горшочки с цветочками – у мамы бы они давно все передохли. Везде был новый, неприятный, чужой уют.

И отец стал каким-то другим. Будто помолодел, от чего-то освободился. Без конца шутил, смеялся, обнимал Ксению, прижимал к себе, целовал ее в густые волосы, совершенно не стесняясь меня, словно, наоборот, хотел мне сказать: вот, смотри, это моя жизнь, и мне ни в чем и ни перед кем не стыдно.

Я не решался задавать какие-либо вопросы, но отец сам все время заводил разговор об их будущем ребенке, что, мол, хорошо бы это была девочка и тогда бы они назвали ее Аспазией или Фриной, и вообще, словно хотел сменить роль строгого и мудрого, которую он привык играть со мной, – я уже учился в университете, а он все еще, как когда-то, возвращал мне мои письма, подчеркивая красным ошибки или неловкие обороты, – на роль старшего товарища по жизненной прогулке, полной забавных проказ и приключений.

Это молодечество быстро стареющего и, я знал это, больного человека – у него был испорченный желудок, и ему приходилось принимать пилюли и магнезию во время каждой трапезы, – человека, только что похоронившего жену, было и жалко, и уродливо, и смешно. Мне было болезненно неприятно смотреть, как отец старается выглядеть перед Ксенией остроумным, изящным, неотразимым, как кладет свою руку, обтянутую сухой, сморщенной кожей, обрызганной рыжими пятнами старения, на ее коленку, как подмигивает мне украдкой, мол, смотри, юноша, какую шамаханскую царицу умыкнул казак, смотри, учись и завидуй.

Какие-то нечаянные слова резали слух. Например, Ксения искала что-то, и отец крикнул ей из кабинета:

– Посмотри у нас!

Так он говорил маме.

Перед сном мы опять столкнулись с Ксеньей в коридоре – она вышла из ванной комнаты, запахнувшись в халатик. На ногах были открытые шлепанцы, торчали пальцы, на ногтях красный лак, мерцавший в тусклом свете лампочки.

Я сказал:

– Беременность тебе очень идет. Ты еще больше похорошела.

Она вдруг прошептала:

– Я тебя очень прошу: постарайся хоть ты быть человеком с ним. Он тебя так ждал. Ему нужна твоя поддержка. Хоть ты не унижай его.

Я не понял:

– О чем ты?

– Все ты понимаешь, – сказала Ксения и ушла к ним в спальню.

На следующий день отцу пришла повестка явиться в городскую следственную часть. Он долго вертел ее в руках, недоумевая, что бы это значило.

Через день к назначенному часу отец отправился к следователю. Вернулся он совершенно разъяренный. Я никогда не видел его в таком бешенстве. Он метался по всей квартире, хлопая дверьми и расшвыривая стулья.

– Мерзавцы! Скоты! Подонки!

Он ругался словами, которых я прежде никогда от него не слышал.

Я хотел выяснить, в чем дело, но ничего от него не добился.

Ксения даже не пыталась его успокаивать, лишь испуганно выглядывала из кухни.

Отец заперся у себя и не появлялся до самого обеда. А к столу вышел, будто ничего не произошло, спокойный, подтянутый, с усмешкой на губах.

Я боялся его расспрашивать, ел молча. Ксения тоже смотрела только в свою тарелку.

Помню, что за окном, выходящим на улицу, поливали из шланга мостовую, иногда были видны брызги, сверкавшие на солнце, и вдруг на несколько мгновений над подоконником выросла совершенно неуместная радуга.

Отец пообедал, не проронив ни слова, потом промокнул салфеткой губы, откинулся на спинку стула, обвел комнату рассеянным взглядом и сказал, как бы между прочим:

– Должен сообщить вам, Ксения и Александр, следующее. Кто-то написал уже несколько писем, в которых утверждает, что будто бы я убил, то есть отравил, Александр, твою мать. Следователь, конечно, извинялся, уверял меня, что это обыкновенный донос, такое пишут больные люди без остановки, сотнями, но уже поползли слухи, и они вынуждены назначить следствие.

Мы сидели несколько минут молча.

Наконец я спросил:

– И что это значит?

– Это значит, что будет проведена эксгумация. Они хотят выкопать тело и сделать анализы. А я должен там присутствовать на опознании. Сказали, что такой порядок. Порядок такой.

Отец побагровел и со всей силой ударил кулаком по тарелке – та подпрыгнула и разбилась вдребезги на паркете.

– У них такой порядок, вам понятно или нет?! Порядок такой!

Ксения сидела с закрытыми глазами, схватившись руками за горло.

Отец хватал тарелки, чашки со стола и швырял их на пол. В оконное стекло полетел чайник. Звон осколков резал уши.

Я бросился к отцу, попытался схватить его за руки, но он отшвырнул меня с какой-то незнакомой мне силой и ненавистью.

О разбитый стакан отец порезал себе руку – кровь хлестала во все стороны. Он ревел одно и то же:

– У них такой порядок! Порядок такой!

Потом резко, неожиданно успокоился. Пошел в ванную, там долго отмывался. Вышел с перевязанной платком ладонью. Буркнул не глядя:

– Извините!

И отправился к дверям.

Ксения крикнула:

– Васенька, ты куда?

– Пойду пройдусь перед сном, подышу воздухом.

Он бродил по нашему саду до темноты. Через открытое окно я иногда слышал его сдавленные, с хрипом, вздохи.

Мы с Ксеньей до ночи убирали в гостиной, отмывали пятна чая и крови на полу, стенах, даже на потолке.

Эксгумация должна была производиться через неделю, то есть уже после моего отъезда, но я сказал отцу, что останусь, пока вся эта бредовая история, пока все это чудовищное недоразумение не выяснится. Я думал, он пожмет мне руку, поцелует или каким-то другим способом выразит свою благодарность, но он даже будто не услышал меня. Все эти дни он почти не выходил из своего кабинета, ни с кем не разговаривал, не писал писем, не читал газет, впрочем, и дел особых в это время у него не было – в летней прохладной гимназии было пусто, только по углам коридоров собирались рыхлые холмики тополиного пуха, налетавшего в открытые фрамуги. Отец осунулся, сгорбился, стал рассеянным, забывал причесться, одевался неряшливо. Я несколько раз звал его пройтись куда-нибудь в парк, на Волгу или в летний театр, но он отказывался – наверно, боялся встреч, ведь его знал почти весь город. Да и со мной знакомые здоровались как-то странно, я это сразу почувствовал.

В пятницу мимо наших окон провели девочек из Сиротского приюта. Они шли парами, с бритыми, как у рекрутов, белобрысыми затылками.

Однажды ночью я проснулся – из спальни доносились какие-то приглушенные звуки. Ксения плакала, редела навзрыд, а отец ее успокаивал. Потом он прошел на кухню, шаркая босыми ногами, и было слышно, как наливает воду в стакан.

Я каждый день уходил куда-нибудь подальше от дома и часами смотрел, как мальчишки поджигают пух вдоль железнодорожной насыпи. Однажды один из них подошел к телеграфному столбу и прижался к нему ухом, другие подбежали и облепили со всех сторон сизое от непогоды бревно – слушали что-то. Потом, когда кругом никого не было, я тоже приложил ухо к телеграфному столбу. Горячее, нагревшееся на солнце дерево чуть гудело.

В назначенный день отец, уже одетый, в начищенных ботинках, гладко причесанный, благоухающий одеколоном, с зонтиком в руках – из-за Волги нагнало тучи, – сел в прихожей у дверей на стул и замотал головой:

– Я не могу! Не могу!

К нему подошла Ксения, взяла его за голову, прижала к своему животу, стала гладить седые виски. Я заметил, что отец надел рубашку с разными запонками – наверно, впервые в жизни.

Неожиданно для самого себя я выпалил:

– Оставайся! Я пойду.

Он даже не поднял головы, все бормотал:

– Не могу, не могу!

На улице было жарко, душно, дождь собирался уже несколько дней. Гроза набухала в пыльных тяжелых кронах. Я шел как в дурмане, ничего не узнавая, будто в первый раз в жизни шагал по этой с детства знакомой мостовой, будто никогда раньше не видел этой

старой каланчи с березкой в затылке, этой афишной тумбы, этого больничного забора, этих львов над воротами, стерегущих хвори. Мимо шли люди, поглядывая на небо, обмахиваясь платками. Прогромыхал трамвай в клубах пыли и тополиного пуха.

Меня охватило какое-то странное чувство от обыденности этого июньского дня, обложного тучами, и невозможности того, что сейчас должно произойти. В желудке я ощутил неприятную пустоту. На Ильинке, увидев памятник Гончарову, вдруг вспомнил, как когда-то, сто лет назад, еще до школы, нарвав здесь в скверике одуванчиков, я принес их маме, и она все время их нюхала и целовала меня, и потом, дома, поставила их в банку с водой, в которой они на следующий день завяли, а в тот вечер отец и я, мы смеялись за столом, что у нее под носом все желтое, но она смотрела на себя в зеркало, тоже хохотала и говорила, что не будет теперь никогда больше умываться.

У входа на кладбище уже ждали, там было несколько человек из следственного управления, понятые и двое рабочих с лопатами. Я сказал, что отец не придет, но мы можем начинать, я подпишу за него все необходимые бумаги.

– Василий Львович плохо себя чувствует, – объяснил я.

Следователь, похожий скорее на Тургенева в старости, чем на Шерлока Холмса, кивнул головой:

– Хорошо, хорошо. Я все понимаю.

Раскрыв свою папку, он записал что-то, потом вздохнул и обратился ко всем:

– Что ж, пойдете!

Кладбище тоже все было белым от тополиного пуха. Я не был здесь еще с зимы. Несколько раз за эти дни во время моих долгих бесцельных шатаний по пригородам я собирался прийти на мамину могилу, но что-то удерживало меня, цепляло за рукава, вязло в ногах.

Я брел последним. Кладбище было пустынным, какая-то сухая старуха в черном, наливавшая у фонтанчика воду в лейку, смотрела с удивлением на нашу процессию.

Я помнил примерно, в какой стороне похоронили маму, но сейчас, летом, все выглядело совсем по-другому, и я вряд ли бы сам быстро нашел это место. Загородку убрали уже накануне. Небольшой памятник из черного камня с крестом и золотой надписью рабочие подняли необыкновенно легко и поставили на песок прямо передо мной. Имя и годы жизни – ничего больше отец не велел писать.

Цветы аккуратно выкопали с землей и положили рядом у соседней могилы. Потом лопаты стали вонзаться в желтый сухой песок. Все кругом стояли и молча смотрели. Иногда дул ветер и в яму залетал пух. Кто-то сказал:

– Надо бы управиться до дождя.

Рабочие быстро вспотели и стали раздеваться, сбросили рубашки, их мокрые спины сверкали.

Вдруг раздался сухой крепкий стук – добрались до гроба, намного быстрее, чем я ожидал.

Кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. За мной стоял следователь. Он сказал негромко, так, чтобы не слышали другие:

– Как вы себя чувствуете? Вам не дурно? У меня с собой нашатырь. Я всегда беру. Мне-то уже привычно, а вот приглашенным, знаете... Понюхайте.

Я замотал головой.

– Нет-нет, спасибо, все хорошо. Ничего не нужно.

Лопаты застучали по крышке.

Потом рабочие вылезли и, зацепив какими-то крюками гроб, стали вытаскивать. Веревка выскальзывала, песок под ногами осыпался в яму. Стоявшие кругом принялись

помогать. Я в каком-то секундном помешательстве тоже чуть было не ухватился за конец веревки, но, опомнившись, отпрянул.

Гроб вытащили и поставили на кучу песка, неровно, кособоко. Я, помню, почему-то подумал, что это нехорошо, нужно поправить. Обивочная материя и ленты все были в песке и чуть потеряли свой цвет. На крышке были следы от ударов лопат.

– Открываем! – сухо сказал кто-то.

Рабочие стали засовывать отмычки в щели и нажимать на них, как на рычаг, гвозди поддавались с визгом. Снова за мной послышался голос:

– Понюхайте, вам говорят!

Я отпихнул протянутую руку с ваткой.

Сперва я увидел ноги. Узнал мамины туфли, которые она надевала только на праздники.

Что-то подкатило к горлу. Мама в моем сознании, в моих мыслях умерла уже давно, в каком-то далеком прошлом, тысячи повседневных дел и забот уже вытеснили ее из моей жизни, я вспоминал о ней в Москве лишь иногда, я знал, что ее больше в этом мире нет и никогда не будет, ни ее самой, ни ее голоса, ни ее взгляда, ничего. Она ушла из этого мира, просто исчезла. Я знал, что могу представить ее себе такой, какой она когда-то была, но тела ее, которое можно обнять, уже нигде нет.

И вдруг вот она снова. Передо мной.

Не знаю, что я ожидал увидеть – страшную картину разложения, полуистлевшую мумию, скелет, одним словом, я был готов встретиться с чем-то уже нечеловеческим, что имело бы к ней лишь опосредованное отношение, – и вдруг перед моими глазами, когда крышку сняли и аккуратно положили сбоку, оказалась моя мама, почти такая же, какая она была тогда, в день похорон, только лицо еще больше осунулось, вылез нос, впали щеки, ногти почернели, а цвет кожи стал совсем желтым, будто она все эти полгода нюхала те мои одуванчики. Я смотрел на нее в каком-то столбняке и никак не мог оторвать взгляда.

Ко мне снова подошел следователь и стал говорить что-то. Я понял лишь:

– Вы удостоверяете?

– Да-да, – я закивал головой. – Конечно.

Я должен был где-то расписаться, причем в двух местах.

– Благодарю вас, – он положил мне руку на плечо и стиснул. – Вы, собственно, можете идти.

Рабочие сматывали веревку, измазанную глиной. Гроб снова прикрыли крышкой, но что они там делали дальше, как несли к воротам, как увозили, я уже не видел. Я спешил куда-нибудь поскорее уйти.

Совершенно не помню, как добрался домой. Отца уже не было, его увезли в больницу с сердечным приступом.

Я приходил к нему в больницу каждый день. У отца отнялись рука и нога на правой стороне. Мы с Ксеньей по очереди сидели у его кровати. Пахло лекарствами и резиной от кислородных подушек. Свою беспомощность отец переживал очень тяжело – подкладывание судна и прочее. Он то плакал от унижения, то принимался шутить – зло, без улыбки. Кружку с трубочкой в ручке для лежащих, из которой он сосал жиденький чай, отец называл чашей мудрости, чашей Грааля. Один раз он усмехнулся и попросил меня вернуть Асклепию петуха и передать поклон Мелету с Ликоном.

Это были странные дни. Я возвращался вечером из больницы домой, но это был уже не мой дом. Ксения рано ложилась спать. Я бродил по комнатам, брал с полки первую попавшуюся книгу и листал ее, думая о том, что вот теперь, может быть, сейчас, именно в эту минуту умирает где-то в темноте, в одиночестве мой отец, может быть, зовет меня.

Я наткнулся на книжку, которая когда-то ошеломила меня в детстве, – учебник акушерства. Разрезы в натуральный цвет, прикрытые стыдливо папиросной бумагой, и отвращали, и манили шестилетку. Мне, ребенку, открылась простая животная истина. Вскрытые потроха со мною внутри не давали заснуть. Я был то каким-то зрачком, то ушной раковиной, то препаратом из кабинета зоологии. Вереницей летели картинки со вздернутыми, как крылья, ногами. Между ног болталась или орущая детская головка, или ручка, или ножка. Жирная прозрачная пуповина, продетая разноцветными веревочками, затягивалась узлом на шее дохлого младенца. Теперь я запрятал эту книгу подальше, во второй ряд, чтобы она случайно не попала на глаза Ксении, впрочем, она, кажется, вообще ничего не читала.

Мне пришла повестка. Я отправился к следователю. Он положил передо мной на стол заключение. В теле мамы был найден мышьяк.

– Потому так и сохранилось...

Я спросил:

– И что теперь?

Он походил по комнате, вороша седую короткую бороду и усы.

– А я не знаю, что теперь.

Взял со стола графин, подошел к окну, стал поливать стоявшие на подоконнике цветы. Потом поставил графин на место и сказал:

– Подождем. Даст Бог, Василий Львович выздоровеет, тогда и посмотрим, что делать. И ко всему еще она ведь с химией дело имела...

Потом вдруг предложил мне чаю:

– Я, знаете, с мяткой завариваю. Хотите?

Я пил мятный чай из горячего стакана, который обернул, чтобы не жгло пальцы, платком, а он все ходил по комнате и говорил, что давным-давно знает и уважает Василия Львовича и что был очень огорчен всем случившимся и во всяком случае уверен в его полной невинности. Он взял со стола скрепку и теребил ее в руках, разгибал, скручивал.

– Но сами понимаете, Александр Васильевич, служба есть служба. И иногда приходится заниматься очень неприятными вещами.

Потом бросил скрепку в мусорницу и вдруг сказал совсем другим тоном:

– И сынок мой старшенький у вашего отца учился. Да что уж теперь. Как говорится, человек рождается на смерть, а умирает на живот. И слава Богу.

Походил, положил мне руку на плечо, потрепал.

– Я ведь вас, Александр Васильевич, вот таким еще помню!

И сделал руками как рыбак.

Еще он сказал, что маму снова захоронили и я могу поехать посмотреть, все ли в порядке.

Отец умер в больнице через день, второй удар с ним случился ночью. Я застал его уже в бессмысленности. Ксения сидела рядом с кроватью и смотрела, держа руки на животе, куда-то за окно. Перед смертью его дыхание превратилось в ровное, хриплое клокотание, как кипение воды.

Он лежал в часовне клиники. Помню, что шел дождь и больничная кошка забежала в открытую дверь. Села по-египетски и смотрела на живые лужи.

Все хлопоты по устройству похорон принял на себя, к счастью, педсовет. Я ходил уставшим, разбитым, сонным и вряд ли был бы хорошим распорядителем. Могила снова раскопали, чтобы похоронить отца рядом с мамой. Мне все представлялось дурным сном – опять кладбище, гроб, речи. Те же рабочие с теми же лопатами. Один из них приветливо мне улыбнулся, как старому знакомому. Какие-то люди, многие из них совершенно неизвестные, подходили, пожимали руку. Об отце говорили, что это был удивительный, необыкновенный человек, кто-то даже сказал, что школе нужно дать его имя – и все потом повторяли это в

каждой речи. Я был рад, что отец умер летом, на каникулах, иначе сюда нагнали бы все классы.

Каждый выступавший тискал мне руку, а кто-то и обнимал, а на Ксению, стоявшую рядом же, в черной косынке, заплаканную, удивительно и неожиданно некрасивую, даже и не смотрели, будто ее вовсе нет. Ее живот чуть нависал над низко поставленным гробом. Она стояла, ни на кого не глядя, комкая платок перед носом, потом ушла вообще с похорон, в тот вечер я ее больше не видел.

Я смотрел все время на отца. Его руки были как-то ненужно кинуты поверх покрывала. В больничном морге ему зачем-то сделали лицо неестественно живым, нарумянили, накрасили, подвели рот. У него никогда за всю жизнь не было таких румяных щек. Теперь, в цветах, он выглядел живее себя живого. Даже, казалось, губы были растянуты в привычную усмешку. Это странное ощущение еще усиливалось оттого, что один глаз был закрыт не полностью и из-под ресниц сверкал белок.

На мгновение мне даже показалось, будто сейчас он вот-вот сядет в гробу, смахнув с себя гвоздики, и скажет, оглядев ошарашенную толпу:

– Все служащие по ведомству народного просвещения смертны. А ваш покорный директор вчера получил ответ на свою просьбу об отставке. Вы только посмотрите, как быстро они на сей раз обернулись! Шведской стенки для спортивного зала у них месяцами не допросишься, а тут раз – и готово!

Я еле дождался конца всех этих бестолковых церемоний и пустых слов, не имевших к этому человеку никакого отношения.

И снова мне показалось, что у рабочих вытягиваются руки.

Наконец его закопали. После дождей песок был мокрый, глинистый. Я бросил горсть в могилу, и ладонь была в грязи – все снова стали подходить ко мне по очереди, а я не знал, обо что ее вытереть. Я благодарил и приглашал на поминки. Кто-то кивал:

– Да-да, конечно.

Кто-то отказывался. Извинялся за что-то.

На поминках какие-то женщины разносили тарелки, раскладывали приготовленные Ксенией салаты.

Всем налили водки. Отцу поставили на пустую тарелку рюмку, накрытую куском хлеба. Я еще подумал: вот бы отец посмеялся – он ведь никогда не пил.

Все замолчали и смотрели на меня. Наверно, я должен был что-то сказать перед первой рюмкой.

Я поднялся. Взгляд мой почему-то упал на книжный шкаф, там, на верхней полке, лежал отцовский очечник. Отец просил принести ему очки в больницу, и я обыскался, перерыл всю квартиру, а они вот, оказывается, где лежали.

Горло перехватило. Не сказав ни слова, я вышел из-за стола, заперся в уборной и там разревелся. Это была моя первая публичная речь.

Следующие дни мы с Ксенией разбирали вещи – казенную квартиру нужно было освободить, уже назначили нового директора, какого-то Сидоренко. Перебирая шкафы, мы то и дело спрашивали друг друга:

– А вот это тебе нужно?

И отвечали:

– Нет.

Она все время говорила:

– Мне ничего не нужно. Мне уже больше ничего не нужно.

Мы выбросили чемоданы скопившихся бумаг, раздали мешки вещей. Почти вся мебель была казенная. Отцовскую библиотеку оставили школе.

Мы поехали по объявлениям смотреть ей квартиру – Ксения остановилась на первой же.

– Мне все равно, я устала. Никуда больше не поеду.

Помню, как один раз за ужином Ксения говорила что-то про переезд, про то, что квартира маленькая, конечно, но уютная, и что топить зимой будет дешевле, и вдруг замерла, будто прислушиваясь к чему-то, побледнела.

– Что с тобой?

– Ничего, все уже хорошо. Просто показалось, что Василий Львович у себя в кабинете и зовет. А ты, что же ты не кушаешь? Вот, возьми еще пирога.

Для переезда я заказал фургон. Мы не наполнили его и на четверть. Прежде чем уезжать, поднялись в последний раз в нашу, уже бывшую, квартиру. Ксения хотела присесть на дорогу. В комнатах было пусто, неуютно, гулял сквозняк, перегоняя по паркету клочок непонятно откуда взявшейся ваты. Сели рядом на широкий кожаный диван, на котором я в какой-то другой жизни любил кувыркаться в отсутствие отца – хорошо было, набегавшись, прижаться горячим вспотевшим лбом к его холодной коже.

Я чувствовал, что теперь на мне лежит ответственность за Ксению и за ее будущего ребенка, я хотел все эти дни поговорить с ней о том, как лучше устроить ее будущее, но она каждый раз уходила от этого разговора, будто чего-то стыдилась или, наоборот, считала меня недостойным заботиться о ней, – одним словом, я не понимал, в чем дело. И вот, когда мы сидели на том диване в отцовском кабинете, а внизу стоял нагруженный фургон, а мы все сидели и не вставали, то ли не было уже сил после всего, что пришлось перенести за последние дни, то ли оба ждали чего-то, – я снова стал говорить, что считаю себя обязанным помогать ей. Ксения резко оборвала меня:

– Замолчи.

Я взял ее за локоть.

– Но почему? Я ничего не понимаю. В конце концов, это ребенок моего отца.

Ксения вырвала руку.

– Это не его ребенок.

Тут скрипнула входная дверь, не закрытая нами, и в коридоре показался крепкий, но очень маленького роста человек, мне, может быть, по пояс, не выше, с выпяченной грудью, с кривым горбом, надувшим на правой лопатке пиджак. Увидев нас, он сказал, что его фамилия Сидоренко, что он новый директор, и смущенно улыбнулся:

– Только вы, ради Бога, не торопитесь! Когда соберетесь, тогда и соберетесь.

И стал ходить по комнатам с рулеткой, осматриваясь, примеряя, что куда ставить при переезде.

Отодвинул диван – а там в обнимкудохлая оса и запонка.

Уважаемая публика! Господа присяжные заседатели! Коронный суд!

Вот перед вами Анастасия Рагозина. Убийца собственного дитяти. Судите ее!

Судите, но помните: нет такого преступления, которое невозможно было бы оправдать! Оправдаете и это. Вот увидите. Да и так ли уж чудовищно и невероятно содеянное этой недалекой особой? Какую такую Америку открыла нам эта распутившая нюни Колумбесса? И нам ли, уже не летающим во сне, не зная, сколь призрачна, сколь условна граница, обозначенная лишь привычкой, между добродетелью и пороком? Злым, учит нас Блаженный Августин, может быть только доброе! Добро, лишенное всякого зла, есть чистое добро. То же добро, в котором находится зло, есть испорченное или худое добро, и где нет никакого добра, там не может быть и какого-либо зла! Зло без добра и кроме как в добре не существует, зло есть порча, подвергнуться же порче может лишь что-то доброе. Зло произошло из добра и есть лишь форма его существования, столь же необходимая миру для устойчивости, как необходим какой-нибудь червяк, затыкающий собой, может, брешь, сквозь кото-

рую, выдерни его, устремится в нас *vacuum horrendum*²². И не червяку ли, в конце концов, повелено было свыше подточить корень тыквы, под тенью которой покоился пророк (Ион. IV, 6–7)? И мелкий воришка, не сомневайтесь, так же нужен мирозданию, как какой-нибудь монстр, вроде того сельского учителя, что за двадцать лет беспорочной службы – не пойман, не вор – выгрыз половые органы у трех дюжин умерщвленных им детишек. Вот все вместе – и с этим воришкой, и с сельским учителем, и с тем червяком, и с тем пророком, и еще со всем остальным, не говоря уже о моей подзащитной, мы с вами, уважаемые, и составляем мировую гармонию.

Начну с того, что осмеянные долихокефалами папуасы оставляют в живых лишь двоих детей – мальчика и девочку, а остальных новорожденных закапывают в прибрежный песок. И чем, скажите, эта привычка хоронить недышавшего хуже обычая выковыривать трехмесячного человечка из разверстого лона, как это принято у нас, так сказать, в цивилизованной Европе? Современные люди, такие же, как мы с вами, отличаясь лишь цветом кожи, душат, режут, удавливают, топят, сжигают своих младенцев, и это не считается никаким преступлением. На островах Фиджи до сих пор пожирают своих дитятей – почитайте Bode или, на худой конец, Kohler'a. Тот описывает, как на его глазах свертывали новорожденным головы, продавливали темя пальцем. На недоумение сердобольного европейца женщины отвечали, смеясь его тупости, что детям ведь не больно, они еще ничего не чувствуют. А одна молодая мать, убившая незадолго до того свою дочь, сказала заезжему любознатцу, что она жалеет только, что ее мать не сделала в свое время того же с нею самой. Двойни почти у всех народов уничтожают, поскольку видят в этом доказательство неверности жены, наивно полагая, что от одного мужчины может быть только один плод. На острове Ниасе новорожденного помещают в мешок и вешают на дерево в лесу. У американских индейцев в каждое ухо ребенку заколачивают по горящему углю, а труп бросают в костер. В Египте детоубийством занимаются родители, в Греции это дело вовсе государственное. В Риме *pater familias*²³ сам решает судьбу своих чад – вспомните *jus vitae ac necis*²⁴. Платон в своем философском государстве уничтожает ничтоже сумняшеся всех детей, зачатых вне закона или женщинами старше сорока. Он же позволяет убивать детей не только слабых, но и вполне развитых, если число родившихся превышает известную норму. Аристотель, не отставая от учителя, призывает регулировать количество детских ртов пропорционально количеству пропитания. Цицерон, Сенека, Тацит, Плутарх, лучшие умы человечества, ничего не имеют против детоубийства и относятся к нему снисходительно – лучше убить орущий желудок, чем видеть развращение ребенка дурным воспитанием, делающим его нечувствительным к голосу чести и добродетели, говорит Плутарх, и если родился ребенок, допустим, у бедняков, то так нужно поступить потому, что бедность есть величайшее из зол и нечего передавать потомству печальное наследие нищеты. Приходит Цезарь в Галлию – и там та же история. У кельтов новорожденных бросают в Рейн, выбранный в судьи: выплывет ребенок – значит, законный, не выплывет – туда ему, ублюдку, и дорога! Но Бог с ними, с язычниками! Уже упомянутый мною Бузенбаум, установив запретность преднамеренного и сознательного детоубийства, делает исключение для того случая, когда совершение его будет «дозволено Богом, Господином всяческой жизни»²⁵. Еще более внятно и без обиняков говорит о том же Петрус Алагона: «По

²² Наводящая ужас пустота (лат.).

²³ Глава семьи (лат.).

²⁴ Закон жизни и смертоубийства (лат.).

²⁵ См.: Herm. Busenbaum. Medulla Theologiae Moralis. MDCCXV. Lib. III. Tract. IV. Cap. I. Dubium IV: “A n aliquando liceat occidere? Directa intentione et scienter nunquam licet, nisi Deus omnis vitae Dominus cecedat”, p. 125. В парижском издании 1670 г. “Dubium IV” читается так: “A n aliquando liseat occidere innocentem?” – Герм. Бузенбаум. Лучшее моральной теологии. MDCCXV. Кн. III. Тракт. IV. Гл. I. Доп. IV: «Дозволено ли иногда убивать? Никогда не дозволено убивать с определенным намерением и сознательно, кроме того случая, если Бог, Господин всяческой жизни, это позволит»; «Дозволено

повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо Он есть Господин жизни и смерти и всего, и потому должно исполнять Его повеление»²⁶.

Да что далеко ходить – Соборное уложение нашего государя Алексея Михайловича вполне благосклонно относится к умерщвлению чад! Сколько существует человечество, столько существует детоубийство. А тут нам хотят, поставив все с ног на голову, провозгласить нездешний завет – не убий! Вот и мой уважаемый оппонент среди многих преувеличенный высказал эту бесспорную, как ему кажется, истину. Да как же не убивать?! Представьте себе только на минуту – Каин не убивал Авеля! И тогда получается, что ничего не было: ни Юлия Цезаря, ни Наполеона, ни Сикстинской мадонны, ни «Аппассионаты», ни Шекспира, ни Гёте, ни «Войны и мира», ни «Преступления и наказания»! Ничего! А вы талдычите свое: не убий! Иппонийцы, опомнитесь! Так ли уж, между нами говоря, невинен этот захлебнувшийся в вонючем пруду, полном лягушачьей икры и отражений морковных на закате облаков, толком и не поживший младенец? Не написано ли разве, что каждый подлежит суду не только за то, как жил, но и за то, как жил бы, если бы прожил дольше. Ибо в очах Божиих имеют значение не только прошлые, но и будущие грехи, от ответственности за которые не освобождает и смерть, если она наступает раньше, чем они совершены! А тут еще календарь! Оторвала листочек, а там Мария Египетская. С двенадцати лет пошла блудить. С двенадцати, чуετε, грешные?! Что, присяжные рукоблуды, небось, поежилось в мошонке? А в семнадцать – навсегда ушла в пустыню. И ходила там до самой старости совершенно нагая, прикрывая грязное свое тело пальмовыми листьями, срывая их только в минуту горячей молитвы, когда ноги ее, обросшие, как у всех босяков, сухой чешуей крепче ногтя, отрывались от песка и она поднималась в раскаленный пустынным солнцем воздух и повисала в невесомости – как и многим в доньютоновскую эпоху, ей была свойственна левитация. И вот там, в календаре, и написано черным по серому, всё экономят на хорошей бумаге: на загробном суде будет Мария Египетская судить всех блудниц. Вот кому решать ее судьбу, не вам! Вот где выслушать ей свой приговор, не здесь! Да и вам ли, не почитающим толком отца и мать свою, душевным прелюбодеям, казнокрадам по случаю, святым лгунам, желающим осла ближнего своего, вам ли бросать в эту несчастную камни? За неимением камней швырните в нее хоть картуз! Ну, кто посмеет? Молчите? Вам ли, вчера в этом душном зале проголосовавшим за смертную казнь сидевшему вот тут недоумку, вам ли поучать эту попавшую в беду девочку: нельзя убивать! И если этот семнадцатилетний подросток, волнуемый страхом и стыдом, истерзанный отчаянием и безысходностью, надевший рожденному в страдании сыночку по дороге к пруду свой нательный крестик, скажет вам, кивающим на Пришедшего не от мира сего спасти вас и убитого вами: я живу, скажет, в мире сем. Я живу в мире сем! И пойдет по заросшей подорожником тропинке к Борисовским прудам. Вы в это время смотрели на закат, похожий на железнодорожную фуражку с кокардой, ходили с козырной, выгнали газетой осу в форточку, отковыривали ногтем застывшую слезку с коры вишни, нюхали затылок своего ребенка и думали: вот он, мой ангелочек, мой Олежка, радость моя, отрада моя, утешение мое, – а она шла мимо пруда, увидела два кирпича, сняла платок с головы, завязала в него кирпичи, ребенка и спустила с мостков. Кирпичи вывалились, платок развязался, ребеночек всплыл. Она посмотрела кругом – лежит палка. Стала подталкивать его палкой. Потом сама бросилась в воду – то ли сыночка своего спасти, то ли самой утопиться.

ли иногда убивать невинного?»

²⁶ См.: P.Petrus Alagona. Sancti Thomae Aquinatis Theologiae summam compendium. Romae, 1619. Ex prima secundae. Quaestio XCIV: De lege Naturali. Articulus 5: “Ex mandato Dei licet occidere innocentem, furari, fornicari, quia est Dominus vitae et mortis et sic facere efus mandatum est debitum”. – П.Петрус Алагона. Суммарное изложение теологических трудов Фомы Аквинского. Рим, 1619. Вопрос XCIV: О естественном законе. Статья 5: «По повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо Он есть Господин жизни и смерти, и потому следует, повинаясь страстям, исполнять Его волю» (лат.).

Впрочем, положи руку на сердце – какое нам с вами дело до этой дурехи? Вон их сколько! Что ж, из-за каждой теперь убиваться? Мой патрон, когда я пришел к нему записываться новобранцем со значком *alma mater* и поглядывал украдкой, сидя у него в кресле, в зеркало, как счастливо сверкает в синем ромбе эмалевый крест, увенчанный орлом, так вот, он сказал:

– Вы их, главное, не жалеите! Чего их жалеть? Все одно – сердца на всех не хватит. Да и жалости-то они, по правде говоря, не достойны. Это они здесь, на этой отполированной тюремными штанами да юбками скамейке – несчастные. А в жизни – дураки или мерзавцы. Вы бы им и руки-то не подали. Вам их не жалеть нужно, а спасать!

Мой Илья Андреевич всех записывал себе в помощники, никому не отказывал, но при этом строгим тоном предупреждал:

– На дела от меня не рассчитывайте! Промышляйте сами. Времена теперь уже не те.

И сам продиктовал:

– В видах зачисления в сословие помощников присяжных поверенных...

У него в кабинете на стене висела японская гравюра, изображавшая со всеми восточными ужимками счастливый исход какой-то легенды: в тот момент, когда меч палача вот-вот должен был снести голову осужденному, руки и ноги которого скрутили задумчивые самураи, клинок ни с того ни с сего разламывался, даже не коснувшись стриженного затылка. Илья Андреевич страшно любил эту картинку. Останавливался против нее, помешивая ложечкой лимон в стакане чая, прищуривался, отхлебывал и изрекал с прилипшей к губе чайинкой:

– Вот что значит искренне помолиться. А наши все отказываются от исповеди. Надеются, дураки, что никогда не воскреснут!

Он был совершенно не похож на известного цивилиста: крепкие мужицкие руки, мятый, рыхлый нос, лоб неандертальца, на пальцах толстые рыжие волосы, которые он, забываясь, грыз прилюдно. Речей мой патрон не писал – иногда на лоскутках бумаги делал какие-то каббалистические значки, а накануне выступления два-три часа ходил из угла в угол, и горе тому, кто, по неведению, мешал ему. Причем бумажками своими никогда не пользовался и ничего никогда не упускал, ни единой детали – забивая доказательства в речь плотно, как паклю между бревнами. Любил всегда поесть и, уже тяжелобольной, все набивал себе желудок, несмотря на запреты докторов. При этом говорил, что умрет, лишь уморив себя голодом, подобно Исократу. Так до конца и остался чудачком – перед смертью потребовал газету, чтобы, как он выразился, не предстать недостаточно осведомленным. И еще все время просил не делать вскрытия и похоронить как есть целым:

– Чтобы потом таким, согласно описи, и встать по трубе Господней.

Я слушал, как он рычит перед присяжными, и все не верилось: неужели и меня когда-нибудь будут слушать в этом огромном зале? Я любил этот битком набитый зал, беготню судебных приставов, внушительные окрики полицейских, легион уголовных дам, прихвативших с собой театральные бинокли. Любил, когда кто-то из местных светил снисходительно называл меня, не сказавшего еще ни единой речи, – коллегой.

Помню, с каким перепуганным видом выбежала из своей комнаты моя хозяйка и сообщила, что трижды приходил ко мне курьер из Окружного суда – полицейский чин с револьвером и шашкой, – ей пришлось расписаться за повестку и пакет с номером и печатью. На орластом бланке было приглашение пожаловать для личных объяснений по вопросу о зачислении. На радостях я бросился в лавку на первом этаже, и мы тут же со старухой распили бутылку шампанского.

В назначенный час я явился в тогда еще совсем чужое здание Судебных установлений. Скольких я насмотрелся потом этих дебютантов – только что из парикмахерской, бледных, счастливых, бестолковых, не привыкших еще к неудобному казенному стилю нашего правосудия. Вот он проталкивается впервые через неряшливую толчею в коридоре гражданских отделений, мимо пригорюнившихся баб, отставных военных, изувеченных фабричных.

Юркие типы шныряют из одной канцелярии в другую, осаждают загородки судебных приставов.

Никогда не забуду, как после Совета, решившего мою судьбу, секретарь-письмоводитель вынес из комнаты заседаний свидетельство о моем зачислении и громко, так что весь коридор обернулся, пробасил:

– С вас двадцать пять рублей.

Я так и опешил. Никто меня ни о чем не предупредил, таких денег у меня с собой, конечно, не было.

– Помилуйте, да за что?

– На расходы по кассе, за пользование библиотекой и на содержание канцелярии.

Я стал как-то оправдываться под насмешливыми взглядами, объяснять, что позже занесу. Даже сейчас мороз бежит по коже.

Помню, как мечтал о медной табличке на двери и эмалированной – на улице, о том, чтобы иметь в швейцарской здания Судебных установлений свой крюк на вешалке. И вот мечты сбылись. Изучал византийское право, а нужно заняться закладными, арендами, взыскивать по безнадежным векселям.

По гражданскому праву у меня было «весьма», а когда первый же доверитель пришел консультироваться о наследстве, не смог вдруг вспомнить, какую именно долю получит из наследственной массы он сам, его братья, мать – рука порывалась к книге, но было стыдно копаться при клиенте в законах. Я его заболтал.

А вот первая уголовная защита по назначению. Мальчишки швыряли камни в окна проходящих поездов, и одного поймали.

Мое дело поставили в тот день на утро. Заявился в суд раньше всех – в зале еще убирают, моют. Вышел на улицу, там свежо после ночного дождя, между булыжниками еще не просохло. Подошла мать, родственники. У нее желтые овечьи зубы. Увидела меня – и в слезы. Патрон учил говорить родственникам как можно строже, что ничего определенного об исходе дела предугадать нельзя, что коронный суд строг и что всё в руках Бога.

Я зачем-то принялся успокаивать мать:

– Ну-ну, не тревожьтесь, никаких улик нет, он будет оправдан! Все будет хорошо, вот увидите!

Мамаша мне вдруг целует плечо. Смотрю, а она уже с утра пьяная. Еле отпихнул.

Перед заседанием прошел в канцелярию, поздоровался с секретарем, подал руку обоим его помощникам, скромным писцам в судейских тужурках.

Немногочисленная публика молча сидела на скамейках, тупо глядя на большой торжественный стол, покрытый красным сукном.

Пришел судебный пристав, что-то мне сказал, я не расслышал, показалось, что будто бы у меня в костюме что-то не в порядке, побежал в уборную, посмотреть на себя в заржавленное зеркало, вроде все на месте. Пригляделся – а на щеке и подбородке белые пятна от зубного порошка.

Преступник – малолетка, безотцовщина, на лице угри, на затылке лишай, ковыряет в носу, грызет бородавки, перемигивается с друзьями в зале.

Когда председательствующий читал приговор мирового судьи, я тщетно пытался вспомнить свою речь. Дрожащими руками вынул из лязгнувшего портфеля записки – прочитать ничего не мог, видел только, что много слов подчеркнуто, на полях то там, то здесь красовались *notabene*. Лучи солнца золотили листы.

Помню, что член присутствия с краю, нагнувшись, шептался о чем-то с товарищем прокурора, а мне почему-то показалось, что он полез с ним целоваться.

После, когда все кончилось, зашел в буфет и не удержался, похвастался перед буфетчиком, что вот, мол, вел первое дело и выиграл. Тот в ответ лишь усмехнулся, наливая мне чаю:

– Пустое, привыкните.

Стали приходиться неутешительные мысли: получаешь ежедневно с почтой рекламки – предложения выписать пишущую машинку “Underwood” или “Torg-pedo”, а тут за 20 рублей должен выступать по ничтожному делу шесть раз. И что это за призвание, какой в нем смысл? Еще одно дело о выселении и уплате квартирных денег, еще один спор о толковании договора, еще один случай самоуправных действий. И вот каждый день иски, отзывы на заочное решение, ходатайства о допросе свидетелей, поездки с судебным приставом на опись. Чтобы лишить истца возможности получить исполнительный лист, предъявляешь встречный иск, а там просишь суд в подтверждение каких-нибудь обстоятельств допросить свидетелей, якобы живущих в Порт-Артуре или Закаспийской области. Окружной суд удовлетворит ходатайство, дело пошлют для допроса свидетелей в Порт-Артур, а за это время ответчик успеет разделаться с имуществом, а истец – потеряет возможность взыскать с должника.

Сутяжничество притупляет ум и воображение.

Все время охватывало ощущение, будто тащишь тачку, нагруженную ворохом скучных бумаг, а тебя понукают люди, исполненные ненависти друг к другу, доходящей до умоисступления.

У одного ангина, нарыв в горле, не может говорить, так он шипит, сжимая кулаки:

– Все продам, все деньги потрачу, но выведу правду на свет Божий!

А правда в том, что никак не мог разделить дачу с мужем сестры.

Порой казалось, что весь мир увяз в повестках и резолюциях, что нет ни одного человека, который не вел бы какой-нибудь тяжбы. И все мешкотно, тошнотворно, невыносимо. Так бы завернуть земной шар в исполнительные листы и исковые прошения да поддать ногой.

И обязательно взбесит какой-нибудь доверитель, спрашивая с игривой и невинной наивностью:

– Когда же у вас будет хорошая чернильница?

Обратимся теперь, друзья мои, к следующей нашей сегодняшней теме. Это статья 569-я Уложения о наказаниях, а именно – не оказание помощи ближнему. И ладно бы там что-нибудь своровал. Хуже, конечно, у соседа, лучше у казны. Что ж тут такого? И казнокрад Фемистокл столовался на персидские деньги, однако ж от него было более пользы Элладе, чем вреда. И не обвинялся ли Фидий в утайке золота, отпущенного на статую Афины? А князь Пожарский? Не был ли освободитель России верховным взяточником? Городовой, который берет гривенник с извозчика, тут же, не раздумывая, жертвует собой для общества, исполняет свой долг, погибая при задержании сумасшедшего убийцы. Грех воровать, говорит народная мудрость, да нельзя миновать, не было бы воров, не было бы дворов, казна не вдовая солдатка, ее не оберешь, на казенные денежки дыр много, честен бык, так он сеном сыт, законы хороши, да мы-то все торгаши, Богу молись, а к берегу гребись, умер – радуйся, родился – плачь. Ты не возмешь – другие прикарманят. Да еще мало того что обворуют, так все норовят нагадить, очистят шкаф и повесят в нем кошку, выпотрошат ящик стола и бросят в него дохлую крысу, опорожнят буфет и там напакостят. А главное ведь – не знаешь, с какой стороны ждать. *Et quis custodiet custodes ipsos?*²⁷ Несколько квартирных краж в доме, а ограбил, выясняется, сам дворник. Чем торгуем, то и воруем. Подчас и вовсе на людей не подумаешь, вроде чистая публика, порядочная! Одна дамочка вся из себя в мехах подманила в магазине кольцо – приказчик ведь на что уж глазастый, а на бархатной доске с гнездами замечает-то лишь пустые места. Кольцо незаметненько засунула в олеандр. Выбрала недорогую брошь и давай восхищаться олеандром. Сделала еще заказ на несколько тысяч

²⁷ А кто устережет самих-то сторожей? (лат.)

и упростила продать цветок. Хозяин, конечно, удивился этой прихоти, но уступил за 20 рублей. Во как надо! Глупый, сказал Соломон, совершает преступление как бы смеясь, а у мужа премудрого есть разумение. А то мальчишку подошлют. Прибегает и говорит, что случилось несчастье, мол, ваш муж или там, смотря по обстоятельствам, дочь – в больнице. Прислали за бельем и деньгами. Перепуганная семья тотчас собирает несколько пар белья, дает наскоро деньги. И потом себе удивляются. А я так скажу: сами во всем и виноваты. Вот отъехали на дачу, забелили окна, чтобы не выгорала мебель и обои – лень, понимаешь, надеть чехлы, отодвинуть кресла от окон поглубже в комнату. А это знак – приходи и бери, никого нет. Домушники, кто не знает, работают с 12-ти до 4-х. В эти часы дворники уже утомились и отдыхают после обеда – легко проскользнуть незамеченным. Да и понятно, мы бы с вами тоже в это время пришли – хозяин на службе, барыня гуляет или с визитами, горничная и лакей – хвост трубой, а кухарка по горло в работе. А один даже получил удостоверение, что он клептоман – воруй не хочу. И то еще хорошо, если в живых оставят. Вот я как-то зашел к Николаю Николаевичу, так чего там только в этих шкафах не увидишь – настоящий музей: ломы, топоры, камни, молотки, палки, кистени, гири, скалки, бритвы, ножницы, всевозможные ножи – на многих следы крови. Картуз с рассеченным топором козырьком. Знаменитый утюг, тот самый, которым, помните, в прошлом году в Хамовниках Сивопляс разбивал головы спящим по очереди – всю семью уколошил. Но я, кажется, отвлекся.

Рассмотрим в качестве примера дело помощника прозектора, в течение последнего года заведовавшего бактериологической станцией, некоего М., обвинявшегося в неоказании помощи земцу Д., истекавшему кровью в городском саду, где сладко пахло никоцианой и ночными красавицами.

Вкратце сюжет таков:

Мы живем в тяжелое время. В провинции преступления обычно грубы и если иногда поражают, то только своей жестокостью.

А тут Юрьев, город солдаток и ссыльных. Места глухие, самоедские. Серый в яблоках день. Два дыма от фабрики за Колокшей стоят над городком, как галифе. С Липицкого поля доносятся звуки битвы, там ростовчане восьмой век бьют владимирцев. Овощные купола отражаются в тинистой Гзе. Михайло-Архангельский монастырь, бывший лагерь. Стена с печурами подошвенного боя, исцарапанными туристами. Особую ценность представляют резьба Георгиевского собора, рассказывающая о вознесении Александра Македонского, и вертикальная надпись «БАКУ» на архивольте портала северного фасада, в которой видят первые буквы автографа зодчего Бакуна (Авраама). Кентавр-китоврас на северной стене западного притвора одет в русский кафтан и шапку-ушанку, в руках булава и заяц, что делает его похожим на княжеского ловчего. Другой китоврас – в медальоне на правой лопатке южного притвора, одет в такой же кафтан, но держит в руке топор. В бывшем храме – кино-театр. Кадр на экране вдруг останавливается, пленка начинает плавиться, пучиться и расползаться, потом, вздувшись пузырем, лопается и ослепляет белизной пустоты. По голому экрану бежит волосок. Зрители, в основном работающие на фабрике расконвоированные из местной зоны, свистят, топают сапогами, бросают вверх билеты, скомканные в шарики, и они вспыхивают в луче проектора, как трамвайные искры.

Земец Д. – немолодой уже человек, с русой бородкой, больными почками, отсюда мешки под глазами по утрам, шестым пальцем на правой ноге, отрезанным еще в детстве, коротким будущим и левша. Мать учила писать правой, но рисовал, ел и прочее левой. Никаких особых неудобств это не доставляет, разве что нельзя садиться за столом близко к соседу – не донесешь ложки до рта, да и ножницы сделаны для правшей – ломаешь себе ногти. В ресторане все время меняешь ножи с вилками. Дома уже привык, а гости, кто не знает, приходят и недоумевают: что они, не умеют стол накрыть, что ли. Да и с музыкальными инструментами проблема.

В тот день Д. проснулся поздно. Пил кофе со сливками. Листал газету.

В Германии опять погромы. У финских шхер затонул паром. В Москве грипп. В Алапаевске родила пятерых. В Непале землетрясение. В Тьмутаракани наводнение. Рубль в порядке. Ночью осадки. В Большом «Лебединое». В моде пестрядинное. В огороде дядька. В Киеве бузина.

Скомкал, швырнул под стол.

А она там корчится, вздыхает, скребется. Видно, распирают те, кто был на пароме, киевский дядька, новенькие из Алапаевска. Шуршат, ворочаются.

Д. был женат. Маша по солннопутью кузнечик – знак летний, легкий, сенный.

В ночь перед свадьбой, десять лет назад, Д. вдруг проснулся. На столе в темноте светились ее туфли и пахли магазином. Маша сидела на кровати, покачиваясь, спрятав голову в колени, то ли припевая, то ли всхлипывая.

– Что с тобой? Что случилось? – испугался Д.

– Зуб.

– Что? – не сразу понял Д. – Зуб?

Щеку за ночь раздуло.

Они поехали в ночную дежурную поликлинику на Красносельской. Д. сидел в полутемном зале, где стояли деревянные диваны, как на вокзале, а из приоткрытой двери падал холодный резкий свет и доносился звон железной ванночки, в которую врач бросал инструменты. Зуб раскрошился, и никак не получалось вытащить осколок с корнем. Маша то громко стонала, то тихо скулила, и врач все время кричал на нее:

– Рот!

Или:

– Руки!

Или:

– Сидеть!

В Юрьеве им выделили жилье в Стрелецкой башне. Узкие бойницы глядели в кусты бузины. Предыдущие жильцы мусор вообще не выносили, бросали все по углам, помой выливали прямо под окно в крапиву. В комнатах в нос лезли гниль и зловоние. Д. и Маша убрали несколько дней, мыли, скребли, оттирали. В местном магазинчике, где была очередь за сахаром – весь город варил варенье, давали по талонам, но только начали продавать, как сахар уже кончился, – купили дешевенькие обои, сварили в миске крахмал и целый день провозились в закупоренной, распаренной комнатке. Ни дверь, ни окно нельзя было открыть, и они так и легли – потные, уставшие. Ночью мокрые обои вокруг дышали, шевелились, поскрипывали. Маша заснула у Д. на плече, его рука затекла, но он не хотел ее будить. Так лежал и слушал, как она посапывает и как перешептываются в темноте обои.

Д. любил мыть ей голову, волосы всплывали в тазу, расплзались, как водоросли, а потом, чисто промытые, повизгивали под пальцами. Заворачивал, мокрые, в полотенце, свивал жгутом и выжимал.

Иногда ночами Д. не спалось, и он думал о том, что вот эти самые камни, которые он сверлил дрелью, чтобы повесить книжную полку, эти монастырские стены, этот вал, заросший за столько веков лебедой и лопухами, видели тысячи бесследно исчезнувших людей. Когда-то проскакал здесь сам Юрий Долгорукий. Не успели построиться – Батый. И начаша бити и сечи и жещи без милости, и все люди побита, и течаше кровь христьянская, яко река, и жены и дети мечи исекоша и иных в реце потопиша, и не оста во граде ни един живых, вси равно умроша и едину чашу смертную пиша. Только обстроились, обжились – Тохтамыш. И опять лежаша вси на земли пуге, на траве ковыле, снегом и ледом померзоша, никим брегома, от зверей телеса их снедаема и от множества птиц разстерзаема. Потом отдали городок в кормление литовцу Свидригайлу – и был глад велик. Затем казанцу Абдуллятифу – и

был глад велик. При Иване Грозном – астраханскому царевичу Кайбуле – и был глад велик. Тушинский вор послал сюда сына касимовского царя Мурада – и был глад велик. Свидригайле выкололи глаза. Абдуллатифа пытали, потом переломали руки-ноги и посадили на кол. Кайбулу отравили. Мурадку закачали, как лягушку, водой через задний проход. Потом сюда ссылали раскольников. Здесь им отрезали языки. Потом пригнали пленных шведов – все погибли от мороза и слабения живота. При Пугаче здесь открыли его прелестную грамоту – рвали ноздри. При Николае бунтовали военные поселения – забивали шпицрутенами. Потом стали прокладывать железную дорогу – а по бокам-то все косточки русские, сколько их, Ванечка. Построили фабрику – забастовки, аресты, каторга. Война – мужики здоровые ушли, безногие вернулись. Революция – в башне разместились ЧК. Прямо за валом братские могилы. Мальчишки раскапывают черепа и бегают с ними, надев на палки. Потом коллективизация, индустриализация. В монастыре устроили лагерь. В башне были красный уголок и библиотека. Расстреливали теперь за городом, в лесу. Мальчишки и там раскапывают и бегают с черепами на палках. Снова война. Мужики здоровые ушли, безногие вернулись. Был глад велик. Опять раскапывают и бегают.

Ночью спасения не было от комаров.

В ведении Д. находился, в частности, клуб, куда приходили учащиеся двух городских ПТУ на танцы. После танцев на Владимирском спуске устраивались драки, тупые, свирепые, увечные. Дрались солдатскими ремнями с пряжками, бутылками с отбитым донышком, велосипедными цепями. Д. звонил в милицию, и в трубку на другом конце бурчали недовольно:

– Да знаем, знаем!

Уазик приезжал не спеша, будто выжидая, когда все само по себе закончится, и упирался фарами в поднимающийся с Колокши туман. Подростки успевали уже исчезнуть, разбив по дороге фонарь или стекло киоска. Те, кому досталось, ковыляли, матерясь и харкая кровью. Один раз Д. тащил от самой воды к дороге парня, которому ткнули заточкой в живот. Парень скрипел зубами, корчился от боли и, выкатив глаза из орбит, сипел:

– Убью!

Д. ругался с милиционерами, что те ничего не делают и не хотят делать, что все пускают на самотек, что так ребята просто перережут друг друга, но ничего не менялось. Д. снова звонил, снова ругался. Однажды сержант процедил сквозь зубы, плохо прикрыв трубку рукой:

– Вот мудила.

Все время разбивали камнями фонарь у входа в клуб. Д. заказал специальный решетчатый намордник на лампу. Мальчишки прибили к длинной палке гвоздь и через провололочную решетку проткнули лампочку.

Рояль, стоявший на сцене клуба, расцарапывали, выламывали клавиши. Д. приделал к крышке замок. Замок скovyрнули.

Воровали всё, тянули кто что может. Исчезали выписанные из Владимира бумага, тушь, ручки, карандаши. Ночью в кладовой разбили окно и вынесли проигрыватель, мячи, всякую дребедень, оставили только переходящий кубок, наделав в него. С окон снимали шпингалеты.

Крыша протекала в нескольких местах. Туалет был уже до приезда Д. закрыт – дверь забили досками крест-накрест. В его кабинете после протечки паркет разбух, приподнялся, пошел волнами, поставив на дыбы стол и шкафы.

Деньги, выделенные на ремонт, рассосались, даже не дойдя до Юрьева. Городские власти, приняв однажды Д. у себя в особняке с колоннами на главной площади, где в сквере обмякли разморенные на солнце георгины, полные ухверток, больше на все его звонки,

докладные, письма и прошения не реагировали или присылали безграмотные, с примитивными ошибками, отписки. Видно, сразу поняли, что Д. можно не бояться.

Иногда Д. звонил в Москву, отцу и бабушке, которые жили в Строгине. Отец в молодости служил на подводной лодке и с тех пор не расставался с тельняшкой. Он пропивал и свою пенсию, и пенсию своей ослепшей от старости матери, а когда деньги кончались, надевал медали и шел клянчить к магазину.

Когда отец был трезвым, он очень радовался звонкам Д. и говорил:

– Здравствуй, сынок! Ну как ты там? Все хорошо?

– Да-да, все в порядке! – отвечал Д.

Отец звал к телефону бабушку:

– Мать! Иди быстрее! Быстрее! Это Женя!

Бабушке было за девяносто, и она заговаривалась. Сначала расспрашивала Д., как у них с продуктами, а потом ей могло показаться, что это ее отец с ней говорит, будто она просилась пойти во двор погулять с подружками, а отец ее не пускает.

– Можно? – спрашивала она в трубку. – Можно?

– Бабушка, да это я – Женя! – кричал Д.

– Женя? – испуганно повторяла она. – Алло, кто это?

Потом бабушке казалось, что это опять пришли арестовывать ее мужа, и она начинала плакать в трубку:

– Не надо! Отпустите! Что вы делаете!

– Бабушка! – пытался прервать ее Д. – Да это же я, твой Женя! Успокойся! Дай отца!

Но та не слушала.

– Отпустите! Что мы вам сделали? Отпустите!

Бабушка перед смертью совсем высохла, была легче ребенка. Д. приехал в Москву на похороны. Отец, бывший старуху, тут вдруг не дал ее кремировать, хоть так было бы всем проще, уверяя, что это была ее последняя воля. Настоял, чтобы отпевали в церкви, что обошлось в копеечку, и платить в конце концов пришлось Д. из денег, которые они с Машей откладывали на отпуск. Пришлось тащиться на разбитом «ПАЗе» на кладбище в Малаховку. Была самая распутица, дождало, сугробы садились на глаза, и могила, вырытая накануне, была чуть ли не до краев залита водой. Гроб, практически пустой с бабушкой-ребенком, все время всплывал, и пришлось придерживать его лопатой, когда забрасывали землей.

Д. возвращался домой в тот же день, быстро уйдя с поминок, на которых пили соседи, а отец первым упал под стол. Д. ехал в поезде уставший, промокший и вспоминал, как когда-то в детстве, летом, на даче был жаркий день и бабушка хотела пойти с ним на речку, а он почему-то не хотел, и так довел ее своим упрямством, что она взяла ветку и стала его больно хлестать по голым ногам, и так гнала его по их улице, которая называлась Солнечный тупик. Потом Д. заснул, и ему приснился сон, будто он идет в своих лакированных туфлях, парадных, еще тех, купленных на свадьбу, по улице в дождь и сквозь тонкие подошвы чувствует сырость асфальта.

В Юрьеве тоже было пасмурно и темно с утра. В дождь небо накрывало городок плотно, низко, черно, как подошвой небесного сапога.

Одни окна квартирки в Стрелецкой башне выходили на Заречье, и там был почерневший снег и далекая насыпь, по ней шли с севера эшелоны с лесом, а другие окна выходили на зады столовой, оттуда выносили и ставили охлаждаться в сугроб окутанные паром баки.

Топили дровами. Дрова приносил Виктор, расконвоированный зэк из местной колонии, беззубый, заскорузлый, заискивающий, в черной засаленной тужурке с номером. Ему оставалось до освобождения пару месяцев.

Маша угощала его чаем с баранками. Виктор подолгу держал баранки в чашке и потом обсасывал их. Маша спросила, за что он сидит. Виктор осклабился.

- Зятя прибил.
- Господи, – она всплеснула руками. – Да как же так?
- На свадьбе.
- На свадьбе?
- Ну да, на свадьбе.
- На какой свадьбе?
- На моей, на чьей же еще.
- Но почему, Виктор?

Он пожал плечами, обсасывая баранку.

– По пьяни. Выпил, Мария Дмитриевна.

– Но зачем, Виктор, я ничего не понимаю, что он вам сделал?

– Да я ведь в беспамятстве был, Мария Дмитриевна. А человек-то он хороший, ничего не могу сказать.

Допив чай и рассовав баранки по карманам, Виктор уходил, оставляя после себя запах тюрьмы.

Печка дымила, в комнате было удушливо, мглисто.

Кутаясь в шаль, Маша дышала в открытую форточку и говорила, что все это нестерпимо, что нужно уезжать, просто бежать из этого города и из этой страны, спасаться, что здесь вся жизнь еще идет по законам первобытного леса, звери должны все время рычать, показывать всем и вся свою силу, жестокость, безжалостность, запугивать, забивать, загрызть, здесь все время нужно доказывать, что ты сильнее, зверинее, что любая человечность здесь воспринимается как слабость, отступление, глупость, тупость, признание своего поражения, здесь даже с коляской ты никогда в жизни не перейдешь улицу, даже на зебре, потому что тот, в машине, сильнее, а ты слабее его, неможнее, беззащитнее, и тебя просто задавят, снесут, сметут, размажут по асфальту и тебя, и твою коляску, что здесь идет испокон веков пещерная, свирепая схватка за власть, то тайная, тихая, и тогда убивают потихоньку, из-за спины, вкрадчиво, то открытая, явная, и тогда в кровавое месиво затягиваются все, нигде тогда не спрятаться, не переждать, везде тебя достанет топор, булыжник, мандат, и вся страна только для этой схватки и живет тысячу лет, и если кто забрался наверх, то для него те, кто внизу, – никто, быдло, кал, лагерная пыль, и за то, чтобы остаться там у себя, в кресле, еще хоть на день, хоть на минуту, они готовы, не моргнув глазом, перерезать глотку, сгноить, забить саперными лопатками полстраны, и все это, разумеется, для нашего же блага, они ведь там все только и делают, что пекутся о благе отечества, и все это благо отечества и вся эта любовь к человечеству – все это только дубинки, чтобы перебить друг другу позвоночник, сначала сын отечества бьет друга человечества обломком трубы по голове, потом друг человечества берет сына отечества в заложники и расстреливает его под шум заведенного мотора на заднем дворе, потом снова сын отечества выпускает кишки другу человечества гусеницами, и так без конца, никакого предела этой крови не будет, они могут натянуть любой колпак – рай на небесах, рай на земле, власть народа, власть урода, парламент, демократия, конституция, федерация, национализация, приватизация, индексация – они любую мысль, любое понятие, любую идею оскоят, выхолостят, вытряхнут содержимое, как из мешка, набьют камнями, чтобы потяжелее было, и снова начнут махать, долбить друг дружку, все норовя по голове, побольнее, и куда пойти? – в церковь? – так у них и церковь такая же, не Богу, но кесарю, сам не напишешь донос, так на тебя донесут, поют осанну тирану, освящают грех, и чуть только кто попытается им напомнить о Христе, чуть только захочет внести хоть крупинку человеческого, так его сразу топором по голове, как отца Меня, все из-под палки, все, что плохо лежит, в карман, лучше вообще ничего не иметь, чем дрожать и ждать, что отнимут завтра, все напоказ, куда ни ткни, все лишь снаружи, все обман, а внутри пустота, труха, как сварили когда-то ушат киселя, как засунули его в колодец, чтобы

обмануть печенегов, вот, мол, смотрите, нас голодом не заморишь, мы кисель из колодца черпаем, так с тех пор десять веков тот кисель и хлебают, все никак расхлебать не могут, земли же согрешивши которой любо, казнить Бог смертью, ли голодом, ли наведением поганых, ли ведром, ли гусеницею, ли иными казнями, аще ли покаявшиеся будем, в нем же ны Бог велить жити, глаголетъ бо пророком нам: «Обратитесь ко Мне всем сердцем вашим, постом и плачем», – да аще сие створим, всех грех прощени будем: но мы на злое возвращаемся, акы свинья в кале греховнемъ присно каляющесе, и тако пребываем, посади цветы – вытопчут, поставь памятник – сбросят, дай деньги на больницу для всех – построит дачу один, живут в говне, пьянстве, скотстве, тьме, невежестве, месяцами зарплату не получают, детям сопли не утрут, но за какую-то японскую скалу удавятся, мол, наше, не замай, а что здесь их? – чье все это? – у кого кулаки крепче да подлости больше, тот все и захапал, а если у тебя хоть немного, хоть на донышке еще осталось человеческого достоинства, если тебя еще до сих пор не сломали, значит, еще сломают, потому что ни шага ты со своим достоинством здесь не сделаешь, здесь даже просто бросить взгляд на улицу – уже унижение, ты должен стать таким, как они, чтобы чего-то добиться, выть, как они, кусаться, как они, ругаться, как они, пить, как они, здесь все будто создано, чтобы развращать, тому дай, этому сунь, а не дашь и не сунешь, так останешься, мудака, с носом, сам виноват, кто не умеет давать, тот ничего не получает, кому нечего воровать, тот ничего не имеет, кто хочет просто честно жить и никому не мешать, тот и вздоха не сделает, и если ты, не приведи Господь, не такой, как они, если есть в тебе хоть крупица таланта, ума, желание что-то узнать, открыть, изобрести, написать, сотворить или просто сказать, что ты не хочешь быть среди этих уроков, что ты не хочешь принадлежать ни к какой банде, ты сразу станешь у них шибко умным, тебя заплуют, затрут, обольют помоями, не дадут тебе ничего сделать, убьют на дуэли, заставят жрать баланду во Владимирской пересылке, стоять у метро с пачкой сигарет и бутылкой водки, сожгут твою библиотеку, в школе твоего ребенка затравят прыщавые ублюдки, в армии доведут сына до того, что не только себе пустит пулю в рот, но еще и пятерых заодно уложит.

– Здесь нечего больше ждать, – повторяла Маша, закрыв глаза, сжимая ладонями виски, – на этой стране лежит проклятие, здесь ничего другого не будет, никогда не будет, тебе дадут жрать, набить пузо до отвала, но почувствовать себя человеком здесь не дадут никогда, жить здесь – это чувствовать себя униженным с утра до ночи, с рождения до смерти, и если не убежать сейчас, то убежать придется детям, не убегут дети, так убегут внуки.

Вечерами, когда замолкала лесопилка, в квартире становилось тихо, сумеречно, тревожно. Поскрипывало соломенное кресло, цокало перо о чернильницу, в открытое окно вливались запахи резеды, табака и гелиотропа, перевернутая страница незаметно возвращалась на свое место, из-за реки доносились пьяные песни фабричных, луна напоминала косточку лимона, вниз у, в квартире этажом ниже, надрывался ребенок, высоко по краю темнеющего горизонта бесшумно ползла гусеница с желтыми пятнами, это ехали северяне на юг, к морю, в Ялту, Евпаторию, Сухуми, Новый Афон.

Иногда приходил Юрьев, бледный стройный блондин, молодой офицер, только что выпущенный, служивший начальником отряда в местной колонии.

Юрьев приносил Маше охапки полевых цветов, непритязательных, подкупающих, дурманящих.

– Такую красивую женщину, Евгений Борисович, как ваша супруга, – говорил Юрьев, пряча ее руки в свои и прикладываясь к нежным запястьям обветренными губами, тогда Маше становилась видна красная полоска кожи на лбу от узкой фуражки и не по годам ранняя плешь на темени, – нужно баловать, вы слышите, баловать!

Он усаживался на табуретку у окна, солнечные пятна бегали по его белому кителю, обжигая форменные пуговицы.

– Ну и жара сегодня, – говорил Юрьев, обмахиваясь фуражкой и вытирая шею несвежим платком. Когда вытягивал из кармана брюк платок, на пол всегда что-то выпадало: хрусткий коробок, пружинистая шпилька, стержень в проволочной оплетке – заключенные любят мастерить, плести, рукодельничать.

– Ей-богу, вы счастливчик, и похоже, сами того оценить не можете в полной мере, – продолжал гость, обращаясь к Д., но глядя на Машу, которая искала глазами ножницы, чтобы обрезать стебли. – Ваша жена удивительная, обаятельная, образованная и вынуждена скучать здесь в этой заплесневелой башне. Что за странное желание жить поближе к небу? Ну-ка, признавайтесь, когда вы в последний раз приглашали Марию Дмитриевну в ресторан? А в консерваторию? Молчите. А когда вы в последний раз сказали ей: пойдем, ты выберешь себе любое платье, какое захочешь, – не помните? Вот вы ее не балуете, Евгений Борисович, а потом локти будете кусать в один прекрасный день. В один прекрасный день. Вот увидите.

Юрьев встал, снова подошел к Маше, еще раз поцеловал ее ладони.

– Природа одарила вас, Мария Дмитриевна, вкусом и инстинктом красоты, – продолжил он, заложив руки в карманы и становясь то на каблуки, то на носки. – Легкая небрежность в одежде придает вам особую прелесть, вы хорошо сложены, ваша неприступность – это то, что манит в женщине. Худая, гибкая, стройная, грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица, во взгляде светится молодость, красивая, гордая. А походка! *Vera incessu patuit dea!*²⁸

– Не умничайте, – бросила Маша, охватив руками плечи и сев резко на диван. Она вдруг вспомнила, что забыла сегодня по пути домой зайти в аптеку и купить ваты. Диван был продавленным и залатанным, но скрипучим и звонким, будто в нем не пружины, а струны.

Д. каждый раз несмело предлагал гостю партию в шахматы:

– Как насчет реванша, дружок?

Но Юрьев наотрез отказался играть с ним после того, как в первый вечер потерял на пятом ходу ферзя. Шахматы подарила Д. когда-то Маша на день рождения – изящные, на тонких ножках. Фигурки были выточены каким-то умельцем в столярке зоны. На подметке каждой из них стояла тройка, почему-либо важная для неизвестного мастера цифра, срок, наверное. Маша играть не умела, а когда Д. учил ее, как ходят фигуры, принималась хохотать и прыгать конем с доски на стол, потом на тарелку, затем скок на его колено, оттуда на живот.

Доска с расставленными фигурами скучала на подоконнике. Закатившуюся куда-то пешку заменяла абрикосовая косточка, мохнатая от пыли.

Садись пить чай. В дождливые вечера в открытое окно влетали брызги, темнело быстро. В перерывах сонливого дождя от листвы шел шорох, будто кто-то рвал мокрую газету.

– Ну, рассказывайте, – говорила Маша, разливая чай в эмалированные кружки, тоже из зоны, подарок Юрьева к Новому году, – что у вас там новенького.

Но слушала невнимательно, рассеянно. Она пошла на кухню за сахарницей, в прихожей взгляд ее упал на шлепанцы, стоптанные, заляпанные, и она удивилась, как они могут принадлежать ей, здоровой, умной, красивой, молодой.

Сперва Юрьев говорил о зоне неохотно, безрадостно, потом увлекался, принимался рассказывать забавные истории, изображая героев в лицах, пародируя повадки и ужимки, интонацию и выговор вохровцев, сук, опущенных.

Юрьев рассказывал, как охранники торгуют водкой и какие забавные надписи можно прочесть, если забраться на вышку, и говорил, что, в сущности, никакой зоны нет, там у них то же самое, что и здесь.

²⁸ Походка являет в ней истинную богиню! (лат.)

– Это удивительно, – восклицал Юрьев, выключая свет, чтобы не летели комары, – жизнь за колючей проволокой идет по тем же самым законам, что и у нас с вами!

И в который раз принимался рассказывать про своих чудо-богатырей, как сержанты воруют продукты у солдат и заставляют для себя готовить отдельно, с мясом, и стоило одному очкарику («вот как вы, Евгений Борисович») возмутиться, как ему сказали окопаться у параша и всем приказали на него помочиться, и вот все подходили по очереди и мочились, а только он хотел что-то сказать, ему сапогом в зубы.

– И все-таки в каждом из них, – заключал Юрьев, отщипывая виноград, – при желании можно и нужно разглядеть человека.

И, не в силах остановиться, снова говорил, горячо, зажигательно, убедительно, о том, что нельзя сажать провинившихся солдат, вроде одного калмыка с какой-то (он пощелкал пальцами) собачьей фамилией, в общую камеру, потому что его там за красные петлички опустили и, выбив все зубы, заставляли совершать непотребства, а потом всласть замучили, или о необходимости отмены прописки, унижающей человеческое достоинство, неэффективной, изжившей себя, – когда всякого вновь пришедшего старослужащие прописывают: вколачивают в красивые юные тела звезды с ременных блях.

– Одетый в форму защитника отечества, или в арестантскую робу, или голый, какая разница, даже самый гнусный из них, – не мог успокоиться Юрьев, пока не съедал весь виноград, – все равно есть человек, несчастное существо, отколовшееся от человечности. И как бы низко он ни пал – все равно остается носителем искры Божьей.

Маша слушала рассказы Юрьева и не понимала, что влечет ее к этому неуверенному в себе, недалекому, угловатому юноше, почти еще мальчику, брошенному судьбой в этот кабаный мир – кто не выплывет, тот не моряк.

Из зоны время от времени кто-нибудь убегал. Один во время мытья в острожной бане спрятался под нижнюю полку и голый пролежал в луже воды с сумерек до глубокой ночи, потом пролез через печную трубу на крышу. Что он будет делать там, голый, черный от сажи, его, видно, мало заботило. Прыгнул с трехсаженной высоты и сломал ногу. В другой раз с лесозаготовок сбежали пятнадцать заключенных – все погибли в снегах, нескольких загрызли волки, троих забили самоеды. Одного из бежавших никак не могли найти – он устроил себе ночлег на лиственнице, а потом во сне свалился оттуда и переломил хребет.

Во время побегов город оцепляли, по занесенным сугробами улицам ходили патрули, останавливали и прощупывали штыками подводы, в поездах у всех проверяли документы. Люди в дорассветных очередях становились хмурыми, молчаливыми.

Хрущобы промерзали насквозь, так что лопались водопроводные трубы.

Один раз, отстояв два часа за селедкой, с отмороженными руками, изругавшись, измучившись, едва передвигая безразмерные, выше колен, валенки, отяжелевшие от слякоти, Маша вернулась домой и застала там Юрьева, ожесточенно спорящего с Д., который только что поставил на плиту чайник со снегом – водопровод замерз.

– Да, в этом вы правы! – кипятился Юрьев, бегая из угла в угол и теребя верхнюю петлю кителя, будто задыхаясь. – Да, зайдешь в камеру, нос закладывает от смрада, запахов заношенного белья, обуви, а главное, этого чудовищного, ни с чем не сравнимого запаха страха, выпускаемого порами. Не спорю: нет такого уголка на свете, где бы не надевали на человека ошейник, не брили бы лоб, не выжигали бы номер на руке, где бы не дотягивалась до каждой шеи рука правосудия, карающая щедро, милующая скупно, но, согласитесь, только у нас тюрьма несет особую, удивительную, цивилизаторскую функцию. В конце концов, не каторжниками ли возведена наша Северная Пальмира? А железные дороги? Каналы? А высотки? Ракеты? Спутники? Да что далеко за примером ходить – возьмите хоть эти дрова! Я давно, Евгений Борисович, собирался написать об этом, но все как-то руки не доходят. Или, думаю, вот бросить все и написать роман, в котором все женщины беременны и ждут чуда.

От изразцовой печи шел оранжерейный жар, от которого полезли и раскрылись цветы на обоях, замерцали хвощи на стеклах. Увидев Машу, Юрьев бросился к ней, поцеловал ее озябшие ладони и продолжал:

– Поймите, Мария Дмитриевна, это не хорошо и не плохо. Это эволюция. Промысл природы. Многообразие форм. Все для чего-то необходимо. Настурции нужно солнце, ящерице – лапки, всем – жидкость, жаворонку – крылья, России – тюрьма.

Звонкий хлопок – моль отпечаталась на двух ладонях.

– России нужны не тюрьмы, а школы! – взорвался молчавший до этой минуты Д. Он пытался расщепить тупым столовым ножом сучковатое полено и теперь швырнул все на пол. Нож, вибрируя и звеня, отпрыгнул к печке и лягнул о кочергу. – Как вы не понимаете? Школы!

Юрьев налил себе из графина стакан воды. Вода была талая, с сором. Юрьев поддел ногтем мизинца обломок сосновой иголки и залпом выпил.

– Меня просто поражает, Евгений Борисович, – сказал он, вытерев губы обшлагом, – как вы, с вашим открытым умом, свободным от предубеждений, не видите, а может, и не хотите видеть совершенно очевидную вещь: это у них там, в Элладах и Гельвециях, выделяют деньги сперва на строительство школ, а потом уже тюрем. Построил школу – готовь тюрьму. А у нас? Взгляните хотя бы на историю нашего края! Сперва гниль, тлен, топь и варварство татарских князьков. Потом приходит Ермак. Жерла пушек изрыгают Христову правду. Соглашусь, все эти средневековые штучки с казацким присвистом, все эти массовые избиения, поголовное вырезание мужского населения освобожденных таежных земель выглядят для нашего сегодняшнего просвещенного взгляда малоаппетитными, но ведь, не забываяте, все нужно умножать на коэффициент эпохи! Тогда никто не посыпал чело пеплом, не ломал руки, восклицая: «Какое варварство! Ах, эти людоеды-конквистадоры!» Отнюдь. Жестокость была вкусом времени. Раз живете – грызите, запихивайте в рот, жуйте за обе щеки. Да и, уверяю вас, ханские царевичи с Иртыша, не задумываясь, сотворили бы то же самое, если еще не хуже, дай им волю, с нашими прадедушками и прабабушками, а эти люди, жившие на этой самой земле Бог знает когда и дышавшие, может, тем же глотком воздуха, что теперь в ваших легких, эти сутулые, задумчивые, уставшие, ищущие правды, проверяющие на своем горбу прописные истины люди и есть мы сами – ведь для сущего нет ни времени, ни смены поколений. Осирис не может умереть, понимаете? Он возрождается без конца в каждом, и каждый возрождается в нем. Вы вот сдохнете когда-нибудь в луже собственных испражнений, а про вас напишут: «Осирис имя рек». Вы – это и есть ваш отец, потому что ваш сын – это и есть вы. Вы переходите в вашего сына, он еще в кого-то, я перехожу в вас, вы в меня, все во всех. Они смотришь. Мы поете. Ты едим. Вы люблю. Она умер. Я, ты, вы – какая разница! Пифагор из Самоса даже в лае собаки узнал голос умершего друга. Так ребенок, отломав голову одной игрушке, приставляет ее к туловищу другой – и прирастает, разговаривает как ни в чем не бывало, кушает кашу. Вот мы они и есть. Понимаете? Скажем, я – Ермак. А вы, скажем, тоже Ермак. И туманятся по берегам Туры урманы. Кусты боярышника и таволги плещутся в воде. Река неглубокая, с каменистым руслом, только наши струги и пройдут. Берега сдвинулись, будто насупились угрюмо на незваных гостей. И вот с высокого правого берега Туры – тучи стрел. Но гребут дальше по зеркальной глади сибирской реки бесстрашные путники-удальцы. Нам ли бояться шальной смерти? С ясным взором и молитвой в сердце. Нет сомнений в душе лихого атамана – не попустит Господь свершиться неправому делу. Господи, даждь победу и одоление! Впервые от сотворения мира оросила непроходимую тайгу тихая христианская молитва. Рубись, ребята, с именем Божьим на устах, и гибель понесем поганым! А через несколько прибрежных утесов степная луговина, тайга отступила. На берегу сети. Где-то рядом улус. Сейчас выскочат. А вот и они – ватага конных татар в остроконечных шапках, в халатах из козьей

шкуры, с короткими копьями рванула из тайги и бросилась к берегу. Слышно, как звенит тетива – летят, шипя, стрелы. Скользят в воду, втыкаются в струги, впиваются в казаков. Мы с вами кричим: ребята, целься в ручницы! Гром самопалов. За дымом вопли раненых хищников. Густая завеса застилает берег, тайгу, лодки. Крики, стон из сотен грудей. Испуганные лошади – быstroногие малорослые коньки – мечутся по берегу, топча израненные татарские тела. Враги кинулись врассыпную, диким воем оглашая окрестности. Мы: еще угости, Петруша! Славно! А чуть дальше и улус. Окруженные валом, одна к другой ютятся юрты, сложенные плотно из мха, прутьев, вереска, крытые сверху шкурами оленей и коз. Из юрт струятся синеватые дымки. Городок мурзы Епанчи, объясняет татарин-толмач Ахметка. Мы: причаливай! Днища скребут о каменистое дно. Издалека видно, как бегут мохнатые дикари, наспех захватывая из юрт детей и узлы. Входим в их городище. Мед и пшено. Развешенные на деревьях божки. Брошенные старухи с длинными седыми косами, перевитыми ракушками и золотыми пластинками. Посмотри-ка на наших молодцов! Не брезгают и старухами. Ржут задорно, залихватски, свирепо. Примеряют на себя чапаны из бухарских пестрых шелков, обмахиваются от мошкары отрезанными старушечьими косами. Приводят пленного. Кривоногий, в узких штанах из меха. Костяные пуговицы. На голове меховой колпак. Войлочные сапоги. Доха из верблюжьей шерсти. Золотые побрякушки у пояса и на шее. Бегают воровски черные злые глаза. Спроси-ка нехристя, Ахметка, далеко ли до столицы Кучумсалтана? Ахметка лопочет что-то, тыркая воздух остатками языка, болтая разорванными ушами. Татарин плюет в ответ, мол, не хочу разговаривать с джаман-кишляром – изменником. Ахметка позеленел: пытай его, бачка, вели выколоть ему глаза, собаке! Мы: сам знаю! Эй, Михалыч да Панушка – потеревите молодца малость! Казаки стаскивают с ног татарина мягкие чоботы. Желтые пятки. Волокут к костру. Мы отворачиваемся – и так насмотрелись. Доносится скрежет зубов. Шипение. Запах горящего мяса. Вопли. Мы: ну ладно, ребята, побаловали, и хватит. Татарин делается разговорчивей. Кричит, что до Кучумова града идти еще долго – Тавдой, Тагилом, Тоболом да Иртышом и что Кучум, хоть и стар и слеп, но разгромит нашу рать, мол, не видать нам Искера, мол, все сдохнем здесь. Мы в толпу казаков: ручницу! Чуть слышным рокотом проносится по рядам дружины: ишь, опалился атаман. А мы снимаем с себя железную кольчугу и вешаем на сук. Прогнулась толстая ветка. Отходим и, вскинув пищаль, стреляем. Эхо скачет по берегам. Кольчуга вспархивает, бьет крыльями. Все дивятся – пробита навывлет. Берем ее и бросаем собаке-татарину. Гляди! Видишь, что сделала моя пуля! Медь, железо, булат – все разорвет. Пойди и отнеси это твоему салтану и скажи – то же будет с ним, коли не сдаст своей охотой Искер-град и все царство свое нашему государю! Дали татарину коня, привязали к седлу и пустили. А мы, похлебав каши, дремлем у костра на вдвое сложенном потнике. Иглистое пламя. Сладко спится в юрте. Богатырский храп. Шкуры убитых медведей и лосей. Замшелые кошмы покрыты персидскими коврами. В котле еще что-то варится. Пар и дым поднимаются в небо, улетают в звездную дырку, а часть стелется легким туманом по юрте. По стенам турсуки с кумысом. У входа какие-то замызганные шайтанчики. А наутро, отслужив молебен, сжигаем юрты – и дальше в путь. Дует северяк. Морозный осенний утренник. Удадь и отвага рожденных для блага родины. Бьются горячие православные сердца. Защитники и спасители от нечисти бессерменской. Плыдем на страх поганым, возвещая пищальным громом славу отечеству. И быстрее стругов ползет по тайге молва о нас, белом салтане: на крылатых лодках с кумачовыми парусами, с золотым рогом, наполненным кумысом, в одной руке, с серебряным луком, пускающим горячие стрелы, против которых не защитит никакая кольчужка, в другой. И когда вылетает та смертная стрела, раскалывается над тайгой небо и гремит такой силы гром, что трясутся и падают сами собой стоеросовые идолы. И так вот улус за улусом, городок за городком. Много русской крови пролито в тайге, много храбрецов легло в боях, прокладывая путь в новые земли и открывая богатства неизвестного края. Удалая русская сила молодецкая. Покрывая славой

русскую землю. Мощь русских лесов, гладь серебряных рек, вольные звуки русской песни. Русские богатыри. Подвиг. Вооружимся на общих супостат наших и врагов и постоим за православную веру, и за святые Божия церкви, и за свои души, и за свое отечество, и избежим славную смерть, аще и будет нам то, и по смерти обрящем царство небесное и вечное, нежели зде безчестное и позорное и горькое житие под руками враг своих! А вы, православнии, мужайтесь и вооружайтесь и совет между собою чините, како бы нам от тех врагов своих избыти! Время, время пришло, во время дело подвиг показати и на страсть дерзновение учинити, как вас Бог наставит и помощь вам подаст! Прибегнем к Богу и пречистой Его Матери и к великим чудотворцам и ко всем святым, припадем к ним с теплою верою и со умильным сердцем и с горящими слезами: некли нам милость свою подадут! И препояшемся оружием телесным иже и духовным, сиречь молитвою и постом и всякими добрыми делами, и станем храбрски за православную веру и за все великое государство! Что стали? Что оплошали? Чего ожидаете и врагов своих на себя попускаете и злему корению и зелию даете в землю вкорениться и паки, аки злему горькому пельню, расположатся? То ли вам не весть, то ли вам не повеление, то ли вам не наказание, то ли вам не писание? Ох, ох! Увы, увывы! Горе, горе! Люте, люте! И где идем? И камо бежим? Како не восплачемся, како не возрыдаем, како от сердца не воздыхаем, како в перси не бием? Како сами себя презираем и не радим о себе, видя за великия и безчисленные грехи наша от Создателя и Зажителя всех конечное на нас смирение, и их, тех врагов чужих и своих, поущение и всякое от них на себя ругание и смеяние? И царство наше от них не отстоится, погибнет, – кто не восплачется, кто не возрадуется, кто не воздохнет? Како таковая великая и преславная земля во всех землях стала в разорении, и такое великое царство в запустении, и таковая великая царская ризница в расточении! Ибо земля наша пренарочита и красна велми, и скотопажитна, и пчелиста, и медом кипяща, и всяцами земными семяны родима, и овощми преобилна, и благоплодна, и зверишта, и рыбна, яко не мощно обрести другаго такова места во всей земли нигдеже таковому подобно месту красотою и крепостию и угодием человеческим, не вем же, аще есть будет в чужих землях! О светло светлая и украсно украшена земля Русская! И многими красотами удивлена еси: озера многими, реками и кладязями месточестными, горами крутыми, холми высокими, дубравами чистыми, города великими, селы дивными, винограды обителными, дома церковными, князми грозными, бояры честными, всего еси исполнена земля Русская, о правоверная вера християнская! И вы, православнии, Богом почтении, содрогните сердцем, зряще на себе такие неудобносимые беды и скорби, и смерть свою всегда видяще во очех своих и попрание веры наша православная, и не давайте сами себя в руки врагом своим! Взяв Бога на помощь и пречистую Его Матерю и великих чудотворцов и всех святых, дерзайте на врагов наших! Тоска разлился, печаль жирна тече средь земли Русской! Кровь и отец и братия наша, аки вода многа, землю напои, села наша лядиною пороста, величество наше смерися, красота наша погыбе, богатство наше онем в користи бысть, земля наша в поношение быхом, в посмех быхом врагом нашим! Наш же брат, православный християнин, видя свое осиротение и беззаступление и их, врагов, великое одоление, не смеет ин и уст своих отверсти, бояся смерти, туне живота своего сступает и только слезами обливается! Лучше бы нам потятым быть, нежели полоняным быть от поганых! Братия моя милая, сынове русския, молодые и великия, сия бо смерть не смерть есть, но живот вечный! Ничто же убо земнаго не помышляйте и не желайте брате земнаго живота, но да венцы увяземся от Христа Бога душам нашим! Русские удалцы, время приближися, а час прииде! Трубят трубы на Коломне! Не пощадим, брате, живота своего за землю за Русскую и за веру християнскую, седлай, брате, свои борзые комони, а мои готовы, напреди твоих оседланы! Не в силе Бог, но в правде! Свет и ветер по всей Руси могучей вширь, вдаль, далеко, неудержимо. И все горит за спиной тот улус – огромный костер и столбы дыма, надкушенные утренним солнцем. И вот для того, чтобы освоить, цивилизовать этот безлюдный, гиблый, топкий край,

нужны дороги. Чтобы проложить дороги, нужны руки. И закладываются один за другим в медвежьих безрадостных местах остроги, зоны, лагеря. Где тюрьма, там и начальство. И вот строят жилье для охраны, вольнонаемных. Присылают ссыльных, поселяют освободившихся. Вот вам и нарождается деревня, село, городок. Глядишь, уже возводится церковь, клуб. А где люди, там и дети. И вот уже появляется потребность в школе. Вы понимаете? От острога к школе идет прямая связь!

– Вы меня не убедили, – отрезал Д., задерживая шторы и закалывая их края булавкой. Он устал и хотел спать. Его бесило, хотя и не подавал виду, что этот молодой человек заполняет собой всю комнату – своим полудетским крикливым голосом, скрипом новых сапог, терпким одеколоном, желанием казаться умным, начитанным, талантливым, а главное, своей сиротской потребностью в ласке и любви.

– Все! Хватит! – захлопала в ладоши Маша и вскочила с забренчавшего дивана. – Хватит дурацких, скучных философий! Давайте танцевать! Слышите, я хочу танцевать! Женя, сыграй что-нибудь!

Д. покорно сел за рояль. С первыми аккордами кадрили Маша схватила за руки Юрьева и закружила его по комнате, смеясь звонко, весело и молодо.

– Осторожно, не опрокиньте самовар! – буркнул Д. Из-под рояля была видна его нога, нажимавшая на педаль, из дырки в носке торчал большой палец.

– Ха-ха-ха! Самовар! – хохотала Маша, верхняя пуговица ее блузки расстегнулась, юбка развевалась, волосы растрепались, под мышками проступили темные пятна. – Ха-ха-ха! Самовар!

«Господи, где я? – вдруг подумал Юрьев. – И кто я? И кто эти люди? И что я здесь делаю?»

И все никак не мог оторвать взгляда от розового пальца на педали под роялем.

Он вспомнил, как тащили из клуба этот рояль, как не хотел инструмент пролезать в узенькую дверь башни, как отпиливали ножки. Д. почему-то без конца повторял, будто оправдываясь:

– Все равно там его доломают.

Маша вдруг остановилась, вырвала свои руки и схватилась за голову.

– Господи, – прошептала она чуть слышно, – где я? Кто я?

Музыка оборвалась. Д. испуганно посмотрел на жену.

– Что с вами, Мария Дмитриевна? – подскочил Юрьев. – Вам дурно?

С минуту она оглядывалась, будто никого не узнавая. Потом ужас в глазах ее рассеялся.

– А, это вы, – вздохнула Маша и, взяв со стола «Вечерку», стала обмахиваться. – Ничего. Уже все прошло. Все хорошо.

В гостиной пробило десять. Юрьев принялся колоть орехи, вставляя их в створ двери. Д. уткнулся в свою земскую статистику. Маша, покрасневшая после танца, умылась и прошла к шкафу взять чистое полотенце, встряхивая пальцами. Одна капля упала Д. на шею, он поежился, другая на страницу, превратив Ш в лиру.

Дверь визжала и кричала.

Маша снова села на расстроенный диван, подобрав под себя ноги, и сцарапывала с ногтей остатки лака, потом, изогнувшись стройным телом назад, взяла с комода ножницы, дамские, тонкие, кривоклювые.

– Боже, кому все это нужно? Кому? Зачем? – Д. вскочил и швырнул свои бумаги под стол, листы разлетелись с легким шелестом по всему полу. В комнате стало светлее. – Зачем, я вас спрашиваю! Я вру своему начальству, оно моему, те еще выше, и так снежным комом до самой Москвы! Им главное – отчитаться, а что здесь на самом деле творится, никого не интересует! Никого! Как мы живем? Чем мы дышим? Что мы едим? Да им там плевать!

– Ну, мне пора, – сказал Юрьев, собирая скорлупу с крышки рояля в горсть. – Пойду, пожалуй, а то дождь по дороге застанет. Идти-то без малого версты четыре.

Он подошел к окну. Уже совсем стемнело. В стекле забился мотылек. Юрьев осторожно поймал его и выпустил в ночь. Кончики пальцев от пыльцы стали скользкими.

– А звезды-то, звезды! – Юрьев втянул в себя свежий ветер. – И ночь такая пряная, лихая – вишь, нализалась луны.

Маша тоже встала, стряхнув с юбки обрезки ногтей.

– Я провожу вас.

– Ну что вы, Мария Дмитриевна, зачем? – сказал Юрьев, отдирая приставший к подошве сапога лист. Улыбнувшись, он добавил:

– *Semper aliquid haeret*²⁹. Вы устали. Вам завтра рано вставать.

– Нет-нет, ничего не говорите. Я хочу пройтись, подышать. Хотя бы до пруда.

– Что ж, – вздохнул Юрьев, подавая руку Д. – Давайте прощаться. Все-таки удивительно, как мало порядочных людей в России.

Рука была мягкая, сухая, будто Юрьев пожал тесто, обсыпанное мукой.

В полутемной прихожей он хотел подать Маше одеться и ждал, глядя, как она у зеркала пудрит нос, щеки, подбородок. Забывшись, она взяла пинцет, чтобы выдернуть несколько волосков у края губы, но, цапнув воздух, положила обратно.

– На лестнице у нас темно – лампочку все время вывинчивают, так что глядите под ноги! – предупредил Д., заводя будильник. Взгляд его упал на паутину в углу над вешалкой. «Внизу метешь, – подумал он, – а наверх и не посмотришь».

– Я пойду вперед, – сказал Юрьев Маше, надевая фуражку и натягивая перчатки. Он подумал, что надо бы на дорожку зайти в уборную, но вспомнил треснувший, желтый от ржавой воды унитаз, залитый пол, нечистый кружок, отбитый кафель на стенах, убогую картинку из «Огонька» и махнул рукой. – А вы держитесь за мое плечо!

– Там ступенька сгнила, не упадите! – сказала Маша, застегиваясь. Нижняя пуговица болталась, вот-вот отскочит. Маша оторвала ее и положила в карман, чтобы не потерялась.

Сапоги застучали коваными подметками по гулким ступенькам. Юрьеву показалось, что кто-то выскользнул у него из-под ног и шаркнул вниз.

– Крысы? – спросил он.

– Постучишь ночью по батарее ножницами, – сказала Маша, нащупывая в темноте его плечо, звездочка на колючем погоне уколола ладонь, – и вроде ничего, замолкают.

– Здесь небезопасно, – бросил вдогонку Д., собираясь закрыть за ними дверь. Он вглядывался в тьму лестницы с горящей спичкой в руке. – Встретятся неровен час пьяные, или беглые, или солдаты. Ради Бога, осторожно!

– А мы убежим, – рассмеялся Юрьев, надевая фуражку Маше на голову. – Ведь убежим, Мария Дмитриевна? Убежим?

Маша, ничего не ответив, взяла Юрьева под руку, они вышли из башни, перебрались по разбросанным кирпичам через лужу у дверей и зашагали по мягкой, пыльной дороге.

После долгого жаркого дня в воздухе было свежо, тянуло пряным ароматом с лугов. Пахло дождем и сеном.

– Если бы я был женщиной, – говорил Юрьев о Лермонтове, – то за один только поцелуй такого человека отдал бы всю жизнь. А все эти убогие Варечки Лопухины, Бухарины, Сушковы ждали, что он обязан вести себя как смертный, жениться, народить кучу обосранных детей. Знаете, вот наше училище не все любят, но оно особенное... И одно только присутствие в здании лермонтовского музея...

²⁹ Всегда что-то прилипнет (*лат.*).

– Отчего вы вдруг замолчали? – спросила Маша, сорвав с вишни ветку и обмахиваясь от комаров – ей уже искусаи ноги.

– Задумался о чем-то.

– О чем?

– Как странно все на этом свете.

– Что вы хотите этим сказать?

– Вот лет пятьдесят или сто назад какие прекрасные, умные, благородные люди жили на этой земле, как глубоко они умели чувствовать, как высоко умели страдать! Какая прекрасная была жизнь! А мы? А какой кошмар будет еще через пятьдесят или двести лет?

Дошли до водокачки, оттуда прошли к пруду. В березняке было темно, жутко, шевелили сныть ужи, тревожно кричала какая-то птица, будто точила ножницы. Юрьев замедлил шаг, прислушался.

– Это коростель.

На мосту Маша остановилась, облокотившись спиной на перила, и, придерживая рукой фуражку, опрокинула голову назад, отдала глаза звездам.

– Когда-то я могла по расположению созвездий определить время с точностью до четверти часа. А теперь все, все забыла. Вот Орион, вот Стрелец, а который час – не знаю.

Она сунула фуражку Юрьеву:

– Возьмите, а то упадет, и придется вам лезть к лягушкам. То-то будете хороши.

Маша забросила обе руки за голову, вынула шпильки, и ее волосы рассыпались по плечам телогрейки.

– Знаете, Слава, у меня в детстве была коробка с морской свинкой. Папа подарил. Мы закрывали ее на ночь, а чтобы свинка дышала, проделали в крышке сверху несколько дырочек. И вот мне казалось, что ночь – это когда землю накрывают такой огромной крышкой, а звезды – это те дырочки.

Юрьеву захотелось тоже рассказать что-нибудь о детстве, но он не знал, что и как. Отца у него вовсе не было. Никогда и никакого. Ему запомнилось, как он играл во дворе с другими мальчишками, и кто-то похвастался, что грузовик ему купил папка. Юрьев побежал домой и спросил:

– Где мой папка?

У мамы кто-то был, и она зашикала на него.

Мама, работница-ткачиха, отдавала сына на пятидневку. Когда дежурный воспитатель запирался на ночь в своей комнате, в палатах начиналась жизнь по своим, детским законам, жестоким и неизменным. Плевались друг в друга, прикрываясь простынями, пока они не становились мокрыми. Привязывали полотенцами к кровати и били. Один на один дрались редко, почти всегда наваливались гурьбой на кого-нибудь послабее. Кричать и звать на помощь было нельзя – затравили бы совсем. Приходили старшие, обшаривали тумбочки, забирали все, что находили, поэтому карандаши или конфеты, вообще всё нужно было прятать под матрас, но смотрели и под матрасами. Глупые проделки вызывали всеобщий восторг. Один раз спящему Юрьеву вставили в губы завернутый воронкой лист и помочились. Его вытошнило, и все кругом умирали от хохота. Его заставили убирать рвоту наволочкой. Потом все уже спали, а он в туалете отстирывал ее холодной водой, то и дело принюхиваясь, но она все еще пахла. По водосточной трубе мальчишки постарше залезали на второй этаж, где спали девочки. Онанировали открыто, бахвалясь, любили спускать младшим в ботинки и валенки. В уборной бумаги никогда не было, летом вытирались сорванными с кустов листьями, а зимой вырывали страницы из школьных тетрадей, но и это отбирали старшие. Все хотели дежурить на кухне, потому что тогда можно было что-нибудь своровать и съесть. Каждый вечер поварихи уходили домой с огромными сумками, набитыми мясом, рыбой, фруктами, а учащихся всегда кормили или кашей, или водянистым пюре с поджарен-

шей котлетой, а пить давали мутный компот из сухофруктов. После уроков директор иногда уводил кого-нибудь нашкодившего в туалет и там бил. Тот жаловался своим друзьям из местных, и тогда били директора, подкараулив его вечером у автобусной остановки.

Еще Юрьев хотел сказать, что у него никогда толком не было девушки, что он никогда еще никого по-настоящему не любил, а то, что было, скорее похоже на какое-то неловкое недоразумение, и вспоминать то седьмое ноября, кусок селедки, упавший на коленку новых брюк, пьяную подругу мамы, тоже ткачиху с фабрики, ее скользкий от пота, как намыленный, большой живот неприятно, стыдно и совсем не хочется.

В ванной из него вылетали в зеленую горячую воду детки-медузки, но хотелось любить по-настоящему, влюбиться так, чтобы забыть долг и совесть.

Один раз только было у Юрьева что-то напоминавшее юношескую, почти детскую влюбленность, но и там рассказывать особенно было нечего. Однажды мама забрала его прямо с уроков, и они поехали на вокзал. В кассовом зале были бесконечные очереди, и мама стала пробиваться к окошку, размахивая телеграммой, но другие люди, распаренные, злые, тоже тыкали ей в нос такие же телеграммы и отпихивали ее. Тогда они пошли прямо на перрон, к поезду, и мама долго говорила о чем-то с одной проводницей, потом с другой, но каждый раз отходила от них, ругаясь и сплевывая. Потом она подошла к какому-то проводнику, пузатому, с золотыми зубами, и долго шептала ему что-то в самое ухо, тот улыбался, сверкая коронками, будто ему щекотно, поглядывал на крышу вокзала, с которой солдаты из стройбата сдирали куски железа, на маму, на Юрьева, чесал в жирном затылке, в складках шеи и в конце концов кивнул, мол, проходите, что-нибудь придумаем. Мама и Юрьев разместились в купе проводников, он залез на верхнюю, третью полку, а мама с проводником, заперев дверь, достали колбасу, помидоры, водку, смотрели в окно, пили и разговаривали. Проводник рассказывал о какой-то Наде, которая работала телефонисткой на станции скорой помощи, принимала вызовы, но ушла оттуда, потому что не могла записывать каждый день в журнал, как груднички падают со стола на пол, когда их пеленают растяпы-мамаши. Надя влюбилась в женатого, у которого было двое детей, а тот влюбился в нее, но уйти к ней не мог из-за сыновей. Они с женой договорились, что будут хотя бы для детей, пока не подрастут, делать вид, что они все еще семья, а домой он и так приходил не каждый день, к этому дети привыкли, ведь знали, что их папа работает проводником и уезжает иногда, если долгий рейс, на неделю. Потом Надя заболела, и никто не мог понять, что с ней происходит, она стала худеть, сохнуть на глазах, передвигала ноги с трудом, а врачи никак не могли поставить диагноз, одни говорили, что волчанка, другие, что онкология, но никто ничего сделать не мог, и всем было понятно, что Надя умирает. Тогда его жена сказала, что Наде нужно родить ребеночка. «Детку вам нужно, – сказала она мужу, – детку. И все тогда будет хорошо, все будет славно. Детка успокоит, даст то, что никто не даст». И вот Надя забеременела, и все ее болезни как рукой сняло, стала поправляться, ожила, повеселела. Родила с кесаревым, но здоровенького. Проводник взял отпуск, чтобы помогать ей в первые недели, самые трудные. У Нади начался мастит, заразили в роддоме, но в остальном все было хорошо. Все удивлялись и радовались, потому что это было как чудо. Потом Надя сказала, что хочет пойти наконец в парикмахерскую. Он сидел с ребенком и ждал ее, а она попала под машину и умерла в больнице от множественных переломов, не приходя в сознание. Ребенка проводник взял себе, и вот теперь у них с женой трое детей. Мама Юрьева гладила проводника по ежику на жирной голове и смотрела в окно, там плыли по снежному горизонту огромные шары газового завода. На следующий день они приехали в Стерлитамак, где в деревянном доме рядом с новостройкой жили тетя Юрьева с дочкой и дедушка, вернее, жили только тетя с дочкой, потому что дедушка лежал в холодных снях на столе. На его лице была салфетка, из-под нее торчала борода. Ногти были сиреневые. «Хорошо, здесь холодно, – сказала тетя Юрьева, вытирая пахнувшие селедкой руки о фартук, – и никакой заморозки не надо». Таша была

Юрьеву ровесницей. Их отправили вместе принести воды, чтобы не мешались. Колодец был во дворе, нужно было долго качать, чтобы пошла вода. Юрьев и Таша качали по очереди, считая, и только на тридцатый качок в ведро потекла тонкая струйка. Останавливаться было нельзя, чтобы вода не ушла, и Юрьев весь взмок, пока набрали два ведра, и Таша тоже. Потом они пошли в парк, там все было в свежем снегу, и даже провода от снега провисали над головой тяжелые, толстые, как надутые пожарные рукава. От солнца тени деревьев были яркосиними, и тень от дыхания на снегу тоже была синей, пока не исчезала. Снег был слипчив, и, забравшись в глухой конец парка, они стали бросаться снежками из-за кирпичного забора в прохожих. Снежки были мокрые, тяжелые, вперемешку с семенами липы. Одни прохожие растерянно оборачивались и сокрушенно тряхивались. Другие ругались и грозили во все стороны кулаком. Один военный заметил Ташу, у нее была вязаная шапочка с ярким красным помпоном, засмеялся, щурясь на солнце, швырнул снежком в их сторону и побежал дальше – с белой отметиной на спине шинели. Потом из окна соседнего дома кто-то стал на них кричать и грозить кулаком в форточку, которая, открываясь, сверкнула отраженным лучом, и Юрьев с Ташей бросились сломя голову по сугробам к выходу из парка. Потом она потащила его на стройку. Был выходной день, и рабочих не было. Дом стоял насквозь продетый лучами сквозь пустые, без рам, окна. Сторож грелся в вагончике. Никто не видел, как они вошли в заваленный ящиками с плиткой подъезд и стали подниматься по бесконечной лестнице, перешагивая через мятые белые ведра, черные рулоны, гнутые железные прутья. Все было заляпано краской, раствором, грязью. Сначала Юрьев считал этажи, но потом сбился и поднимался, думая уже только о том, как бы не отстать от Таши. Они ходили по темным коридорам, загроможденным досками, связками паркета, дверными коробками. В пустых, залитых солнцем комнатах со змеиными язычками проводки в потолке было эхо, и Таша принималась мяукать, а Юрьев лаять, и это было смешно, и они хохотали. Кое-где уже были вставлены рамы с мутными, забрызганными краской стеклами, но везде было холодно, промозгло, и изо рта шел пар. Юрьев и Таша открыли дверь на балкон, которого еще не было, а может, и не должно было быть. Где-то далеко внизу были крошечные дома с белыми, сверкавшими на солнце крышами, а совсем под ногами – дом Таши. Было видно, как открылась дверь, с крыльца сошла мама Юрьева, маленькая, меньше божьей коровки, и вылила ведро с помоями в сугроб, поставила другое ведро под трубу колодца и принялась качать воду. Таша вдруг схватила Юрьева за рукав и дернула, будто хотела спихнуть его вниз. Юрьев испугался, а Таша засмеялась. Тогда Юрьев схватил ее за рукав и дернул, будто хотел выпихнуть ее в дверь несуществующего балкона, и они оба засмеялись. Юрьев подумал, что так хорошо, как тогда, перед открытой дверью в многоэтажную пустоту, наполненную скрипом колодца, и в которую они с Ташей, раскрасневшиеся, с замерзшими пальцами и носами, пихали друг друга, умирая от хохота, ему никогда больше не было. И вот теперь он шел рядом с этой маленькой, ему по плечу, еще совсем не старой и, наверно, когда-то красивой женщиной, слушал, как она говорила ему о своем муже, которого не любила, и почему-то Юрьеву показалось, что когда все между ними произойдет, а произойдет как-то наверняка неловко, стыдливо, второпях, ему будет неприятно смотреть на нее. Она станет какой-то другой, несвежей, помятой, и он постарается побыстрее от нее избавиться, убежать, помыться. И Юрьев снова вспомнил тот зияющий балконный сквозняк, далекие крыши внизу, Ташу, у которой от мороза и смеха то и дело вытекала из носа изумрудная на солнце сопля, которую она вытирала своей мохнатой варежкой.

Маша говорила Юрьеву о Жене, о том, как им трудно вместе, потому что он добрый, умный, очень одаренный, однако при этом тяжелый, раздражительный, беспокойный, неуютный, но она все равно счастлива с ним. Потом опять принималась жаловаться на мужа, что он мелочен, капризен, придирчив, много ест, нечистоплотен. Иногда ей казалось, что Юрьев не слушает ее, думает о чем-то своем, но Маша почему-то не могла остановиться

и рассказывала, как когда-то давно, вскоре после свадьбы они поехали на юг отдыхать и снимали комнату в Пицунде в большом деревянном доме в пяти шагах от моря, их комната была заставлена четырьмя кроватями, и кособокий, неуклюжий дом просто распирало от таких комнаток, заставленных продавленными панцирными койками. Хозяин был старый грузин, иссохший, наверно, чем-то больной, с тощими узловатыми ногами, покрытыми синими шишками. Его внук, скучавший на верхней террасе, болтая над Машей грязными босыми ногами, прицеливался из пластмассового пистолета в окно соседнего дома и говорил, что, когда вырастет, перебьет всех абхазов. «Но почему?» – спрашивала Маша. «Потому что это не люди», – отвечал мальчик. «А кто же они?» – недоумевала она, удивляясь, откуда в таком маленьком человечке уже столько злобы. «Абхазы», – говорил мальчик, стреляя заодно и в Машу. Каждый день они ходили на пляж и проводили там почти целый день, жарясь на солнце, а когда становилось невмоготу и казалось, что волосы вот-вот вспыхнут, лезли тушить себя в воду. Женя брал с собой толстую английскую книгу и два тома словаря и читал, закутав голову майкой, как бедуин, и надев черные очки. Чуть ли не из-за каждого слова он копался подолгу в словаре и что-то записывал в толстую тетрадь, потом, сморенный жарой, засыпал. В черных очках отражалась галька и время от времени чья-нибудь нога в резиновых шлепанцах. Отдыхающих было много, полотенца и одеяла расстилались плотно, почти впритык друг к другу. Над головой все время ходили. Пахло вареной кукурузой, которую продавали из ведер, прикрытых тряпкой. Обгрызенные кукурузные кочерыжки бросали просто на камни, и ими кормились тощие коровы и огромные, не меньше коров, свиньи, бродившие утром и вечером по пляжу. Очнувшись, Женя шел в воду, окунался у берега и снова принимался копать в своих словарях. На солнце бумага быстро выгорала, и вечером становилось заметно, как пожелтели за день страницы. Маша видела, с какими ухмылками окружающие смотрели на Женю, и ей было неприятно, но старалась не обращать на них внимания. Иногда ей тоже хотелось побежать по раскаленным гладким камням к соснам и играть в волейбол с черными от загара, красивыми, мускулистыми молодыми людьми и стройными, легкими, ловкими девушками, потому что она в школе тоже когда-то хорошо играла в волейбол, или заплывать куда-нибудь далеко за буй, потому что она хорошо плавала и не понимала, как это можно утонуть – ее волна выпихивала, как шарик от пинг-понга, но Женя не играл в волейбол и не плавал, только плескался у берега, не заходя на глубину, и она оставалась лежать с ним, перебирая руками камушки, живые в воде и на глазах умиравшие на солнце, собирала в пучки длинные сухие иголки, падавшие с пицундских сосен, и глядела на ленивый знойный прибой, почти невидимый за безногими, бюстами, головами. Шум моря был едва слышен за гомоном, криками, музыкой из пляжной палатки, футбольным репортажем по радио. Еще на пляже через каждые двести метров стояли вразвалку кабинки для переодевания, в них густо пахло мочой и во все щели были заткнуты куски побуревшей ваты. Везде было много людей, и в доме, упианном кроватями, и на пляже, выложенном телами, и на черноволосом рынке, где все толкались и нужно было крепко держать в кулаке кошелек, и в столовой, в которой спертый воздух звенел от мух и все наступали в разлитый по цементному полу борщ, и Маше казалось, что единственное человеческое во всем этом людном гаме – море, но только подальше от берега, где уже не было ни водных велосипедов, ни надувных матрасов, ни плавающих голов. Умывальник был на дворе, к нему вела дорожка, на которой валялись раздавленные ягоды, нападавшие с шелковицы, и гниющие абрикосы. От умывальника женщины ходили в уборную, неся перед собой кружку воды, и Маша тоже носила в кружке воду, идя мимо стола под виноградным навесом, где пили вино и водку мужчины, играли в нарды и смотрели на нее. Она отворачивалась и глядела за забор или на облака и горы, ей было отчего-то стыдно, хотя другие женщины, проходя мимо стола, смеялись, и шутили с мужчинами, и кричали что-нибудь озорное и веселое, делая вид, что сейчас выплеснут воду из кружки на них и обольют и стол, и нарды, и мужчины тоже сме-

ялись, озорно и весело, и во всем этом не было ничего постыдного. В покосившейся уборной, сколоченной из сизых от времени и непогоды досок, пол скрипел, прогибался, и было страшно, что он вдруг треснет, а в неровно выпиленной дырке, совсем близко, может, на расстоянии руки, шевелилась жижа, это были какие-то белые черви, как разваренная вермишель. Один раз они ходили в Леселидзе за вином, им дали адрес одной абхазки, которую все называли старухой Изергиль. Пока старуха наливала в бутылки вино, ее сын, толстый, веселый, в наколках, угощал их хачапури и рассказывал, как накануне пьяный грузин на машине задавил ребенка. «Вот увидите, – сказал он, – придет день – и здесь ни одного грузина не останется. Ни одного!» В соседнюю комнату поселились две налитые голосистые харьковчанки, которые так обгорели в первый же день, что кожа с них сходила, как пленка. Они для того, наверно, и приехали на юг, чтобы каждый вечер с кем-нибудь совокупляться, и потом, в комнате, делились подробностями, хохоча и матерясь – сквозь тонкую перегородку все было слышно, и каждое слово, и как встряхивали с простынь песок, принесенный с пляжа, и как, намазываясь кремом, звонко шлепали друг дружку по ляжкам. Перед тем как заснуть, Маша прижималась к Жене, чувствуя под губами его соленую от морской воды кожу, и думала о том, какое счастье им было дано в жизни найти друг друга в этом помойном, засранном мире, где правят сперма и злоба.

– Да вам деток нужно, Мария Дмитриевна, – вдруг сказал Юрьев, – деток. И все тогда будет хорошо, все будет славно. Детки успокоят, дадут то, что никто не даст.

Маше захотелось рассказать о той зимней ночи, когда заболело, будто снова начались месячные, только, может, немножко сильнее, и вышло совсем немного крови, и это был их с Женей ребенок, и о том, как Женя понес на улицу то ведро с помоями, о враче, который подбрасывал в печь дрова и теми же руками, не сполоснув их, стал обследовать ее, полез пальцем, обмакнув его в вазелин, о том, что детей у нее не будет, не может быть, но подумала, что все равно этого не расскажешь, не объяснишь, да и зачем.

О том, что Д. лежит в городском саду на подорожниках рядом с затоптанной поколения назад клумбой, обливаясь кровью и взывая о помощи, сообщила бывшему помощнику прозектора М., каким-то образом встретив его на аллее, утонувшей в запахе ночных фиалок, значит, было достаточно поздно, потому что оркестр, в котором толстая труба ухала вкусно, ушел, отыграв свое, в казарму и солдаты уже построились к вечерней молитве, дивные слова которой теряются в розовеющем небе, мешаясь с шепотом листвы, ведь в этот тихий закатный час благодарят Господа за щи да кашу и просят дать им пожить еще немного все воины России, некая девица иудейского вероисповедания, что нередко случается в романах, проходившая свидетельницей по названному делу, черномазая, клювоносая, пугливая. Соня, называем ее так, скрыв в интересах следствия истинное ее имя, ибо кто из нас знает свое истинное имя, если аз есмь сый, то и вы – сый, и она, и вот это пресс-папье с ручкой-яйчком – тоже сый, показала на допросе, что знала Д. давно, уже несколько комариных лет и гриппозных зим, состоя с ним в должностных сношениях, исполняя обязанности заведующей библиотекой, в которой уже давно все разворовали, а то, что есть, изорвано, истрепано, изрисовано гениталиями, и она что могла спасти, спасла, перенесла к себе в комнатку, которую снимает в избушке на курьих ножках, где постель льдиста, а в окне бысть облак огнен распростерт. На вопрос, как она познакомилась с истекающим кровью и взывающим о помощи, свидетельница ответила, что не помнит, пытаюсь, разумеется, отпереться запамятливостью и грузом прошедшего с той застуженной минуты времени.

– Да ничего особенного, честное слово! – проямлила Соня. – Холодно было, мороз, набросила на себя все что могла, сидела целый день в шубе, хотела чаю заварить, да кипятильник сломался.

Разочарование в зале – читаем дальше в скобках запись ремингтонистки. Вот если бы вы, голубушка, ехали на лошади и та, взбесившись, погнала бы, а он ее под уздцы, спасши вам череп и жизнь...

Да и Д. подумал однажды о том, вспоминая далекий день, когда шел мимо поваленного снегом забора с зарослями ржавой колючей проволоки, которая каждое лето цветет выюнками и когда-нибудь принесет плоды, а другая часть забора, что ближе к шпалопропиточному заводу, уже два года в бегах, и в первый раз постучался к ней в библиотеку, что если он действительно лишь действующее лицо одного русского романа, то встреча героя и героини могла бы произойти как-то поромантичнее, что ли, где-нибудь, например, в банной мгле санпропускника в Карлаге, он, например, фельдшер, отвечающий за борьбу со вшами, в мокром, прилипшем к спине и животу халате, она – голая, прикрывает свои обвисшие тряпочки и свой никому не нужный бритый срам и говорит, потряхивая завшивленной головой, бормочет сквозь зубы, не надеясь быть услышанной: «Хоть волосы оставьте! Все отняли, мужа, сына, ничего больше нет – хоть это оставьте!», а фельдшер, отлепляя от спины и живота мокрую ткань, успокаивает: «Да зачем тебе волосы, дура, только морока – утром будут к нам примерзать, придется отдирать по прядям, а такотрежем – и будет легко, свободно!» Или, например, он – красавец, обгоревший танкист, товарищи спасли его из подбитой машины на окраине Грозного, а она, допустим, ни рожи ни кожи, моет полы в госпитале Бурденко, и вот оба одинокие, потерянные, нелюбимые, она моет под его кроватью и смотрит на фотографию на тумбочке, каким он был до исполнения долга и каким уже никогда не будет, потому что глаза сгорели, и уши, и многое другое, одним словом, еще только петь может, вот лежит и поет, а она приходит послушать, потом они женятся, и она возит его в метро в кресле на колесиках, и он держит в руках ту фотографию и поет, денег собирают немного, но на жизнь хватает, во всяком случае больше, чем ее зарплата и его пенсия. Или еще что-нибудь в том же роде. И пусть это, конечно, ходульно, книжно, подумал Д., но все лучше кипятильника.

В комнате было стыло и темно, в углу у образов мерцала вишневая лампадка. Соня пыталась читать, и каждый раз приходилось снимать варежки, чтобы перевернуть страницу. «По сем взяли священника пустытника, – читала Соня, – инока схимника, Епифания старца и язык вырезали весь же; у руки отсеки четыре перста. И сперва говорил гугниво, по сем молил пречистую Богоматерь и показаны ему оба языка московский и здешний на воздухе: он же, один взяв, положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретется во рте». Соня смотрела на заросшее инеем окно и вспоминала, как летом на пляже в Пицунде клала на книгу раскаленный на солнце голыш, чтобы ветер не листал страницы, а мимо ходили по намытой полоске песка, и следы сразу подсыхали по краям.

Она любила устроиться где-нибудь рядом с детьми и смотреть, как они носят из моря воду в полиэтиленовых мешочках, надувших щеки. Из дырявых пакетов прыскало во все стороны. Или играли в доктора: ложились по очереди на живот и ставили друг другу банки – клали на спину горячие камушки.

Однажды она бродила по гряде гальки, и был странный закат. Сверху все обложило, будто укатали асфальтом, а на локоть от горизонта свесилось солнце, опустив вниз ленивые тупые лучи – как вымя.

Безоблачно было только первые дни, а потом пошли парные курортные дожди, граница неба и моря то и дело таяла, горизонт расплзался, и его скреплял собой, словно клепкой, далекий удильщик, сидевший на краю мола. К нему можно было идти долго-долго и вдруг увидеть, как выдернутая рыбешка взвилась пропеллером.

Дышать было хорошо, вольно, сладко от запахов мокрых дорожек, каких-то чудесных неизвестных южных цветов, дыма, тянувшего из шашлычных.

Иногда она ходила купаться ночью. Волны неторопливо разгребали гальку. Над ночным морем была луна, а море в лунках.

Один раз был шторм, и Соня никак не могла уйти с берега, стояла, пока совсем не промокла, и смотрела, как вот-вот сковырнет набережную, смоев прибрежные дома, сметет весь поселок, который и появился-то здесь, может быть, лишь в перерыве между двумя большими штормами.

Где-то, наверно, действительно слизнуло кусок берега, потому что пляж после шторма был завален, как длинной баррикадой, бревнами, деревьями, штaketником от забора, всевозможным мусором, а в прибое даже плясал, кувыркаясь, как мячик, розовый поросенок с раздувшимся телом.

Соня от нечего делать несколько раз ходила на экскурсию в Пицундский храм. Ее смешил экскурсовод, мохнатый, смотревший исподлобья, немногословный. Он говорил лениво, тягуче и иногда шутил, например:

– До тридцать шестого года здесь был монастырь и жили монахи. После тридцать шестого года храм с комплексом зданий охраняется государством.

Под окнами двухэтажной гостинички напротив храма он останавливался и рассказывал, поглядывая на окна, что здесь раньше были монашеские кельи. Растягивал слова долго и нудно, ожидая, пока кто-нибудь выглянет из окна. Тогда он указывал туда лохматым пальцем и говорил:

– Впрочем, вот пара монахов у нас еще осталась.

Почему-то все находили это очень смешным и много и дружно смеялись, и Соня каждый раз смеялась вместе со всеми.

В храме, обустроенном под концертный зал, она садилась в последний ряд в кресло и слушала, как одна такая же черномазая и клювоносая девушка, грузинка, наверно, а может, и армяночка, только поплнее ее и с красивой высокой прической, репетировала на органе свой вечерний концерт, и было странно видеть, как, опустив руки на сиденье, девушка мяла что-то невидимое ногами, раскачиваясь спиной и прической, и от этого получалась музыка, от которой, казалось, под замазанные известкой своды возвращалось то, от чего охраняли храм все эти годы.

Вечерами Соня ходила на пляж смотреть на остекленевшее, без единого всплеска, море, по которому хотелось прокатиться на коньках, и на костры, которые жгли на берегу, собирая выброшенные на берег коряги и охапки опавшей с пицундских сосен хвои. Иногда к ней подходили мужчины, чтобы познакомиться, но, разглядев поближе, обходили стороной. Она глядела на остатки заката, как уже утонувшее солнце просачивается в облака, и ей было неодинокое, радостно и просторно.

– Да это же просто делается, – сказал Д., повертев в руках околевший кипятильник. – Нужны пара лезвий для бритвы, спички, нитки и проволока.

Лезвиями Соня точила карандаши, коробок спичек был у Д. в кармане, катушка ниток нашлась в ящике стола среди прочего хлама. С проволокой оказалось сложнее, но Д. оторвал провод от кипятильника и лезвием зачистил концы. Оставались пустяки. Концы провода, загнув, приладил к торцам лезвий, проложил между ними спички и закрутил все это накрепко нитками.

– Готово! – сказал Д., улыбаясь недоверчивому и испуганному взгляду Сони. – Втыкайте!

Соня замотала головой.

– Я боюсь.

– Да я сам боюсь, – засмеялся Д. и воткнул вилку в розетку. – Считайте до трех!

И действительно, отметила ремингтонистка, вода вспучилась споро, жадно, нахраписто.

Далее свидетельница заявила, что Д. впоследствии заходил к ней в библиотеку неоднократно под предлогом составления сметы для ремонта: разбитое стекло, решетки на окнах,

облупившийся потолок, сгнивший пол, печка дымит, дверь в дегте, крыльцо пляшет, – или просто невзначай, мол, мимо проходил, дай, думаю, зайду на огонек, проведу, смотрите, снег какой выпал, сейчас бы на лыжах да на сопку.

Из окна, действительно, мир казался первоснежным, и на солнце струились за забором к реке голубые лыжные следы.

Д. не сразу заметил, что с пальцем Сони что-то не так, с мизинцем левой руки. Она все время прятала руку под стол, или сжимала в кулак, или совала под мышку. Это случилось лет пять назад, сад был уже раздет и разут, она ходила в Рождествено, к печнику, и по дороге, в Ильинской балке, на нее напали беглые, двое, били ее и, изорвав платье, насиловали. От удара палкой по голове она потеряла сознание, а когда пришла в себя, услышала их разговор – они подумали, что она уже умерла, и Соня продолжала лежать, не шевелясь и стараясь не дышать. Для верности один из них сломал ей палец, и Соня стерпела.

Однажды Д. пришел, а она сидела за столом и выковыривала английской булавкой косточки из вишен. Ее руки были вишневые и фартук, и даже на лбу и щеках были вишневые брызги. На столе лежала газета, и та тоже была вишневая и бугрилась. Перед Соней стояли две миски, одна с целыми вишнями, а другая с растерзанными, косточки с мякотью слиплись горкой посередине прямо на размокшей бумаге.

Соня сказала, держа булавку над миской, чтобы не капнуть на пол, что все варят варенье и вот она тоже решила сварить пару банок.

– Куда мне одной? Двух пол-литровых хватит.

Д. взял кухонное полотенце, набросил на живот и колени и тоже сел выковыривать косточки. Соня дала ему булавку. Спелые вишни брызгались и не давались. Мякоти на косточках оставалось много. Д. брал их в рот и обсасывал. Горка обсосанных гладких косточек походила на горку черепов оловянных солдатиков.

В открытое окно прилетали осы. Соня отгоняла их локтем. Одну, что ползла по передовице, Д. прижал к столу булавкой в талии и располовинил. Голова заползала по вишневым буквам, дергая щупальцами, а из острия отставшего туловища жало кололо знойный день.

Д. рассказывал Соне о своей выжившей из ума старой бабке, которая не узнаёт его больше по телефону.

– Это мертвые полезли, – сказала Соня.

– Как это? – не понял Д.

– Так бывает в конце жизни. Мертвые, они ведь никуда деться не могут. Это живые умирают. Был среди нас – и исчез. А мертвым – куда исчезнуть? И вот они всё ждут, а потом начинают лезть. Как бы приходят за нами. И забирают к себе. Так с каждым происходит. Это нормально.

И Д. вспомнил, как однажды уже с этим столкнулся, но забыл. Много лет назад отмечалось тысячелетие победы. Д. был тогда молодым журналистом. Ему сказали для победного номера сделать материал про дом. Там в одном подъезде висела мемориальная доска с фамилиями тех, кто жил в этом доме и погиб на войне. Короче говоря, небоскреб Нирнзее в Гнездниковском. И мать одной девочки, которой фашисты, как Зое Космодемьянской, отрезали грудь, еще, оказывается, была жива, ей только исполнилось тысяча лет, и старуха проживала в том же доме все в той квартире на шестом этаже.

В огромном пустом подъезде было холодно и жил сквозняк в разбитом стекле. То и дело хлопали двери. Под мемориальной доской пара почерневших гвоздик из тряпочек. Д. подумал, что повесь они здесь доски с жильцами, погибшими на другой войне, – никаких бы, наверно, стен не хватило.

Еще Д. подумал, поднимаясь – лифт не работал – по стертой лестнице, на которой когда-то лежали ковры, о том, как странно устроен мир: вот уже тысяча лет прошла, а этой женщине хоть бы что – библейский возраст. И ничем здесь никого не удивишь – тут всем

по тысяче давно исполнилось. И еще было странно, что когда-то, тоже тысячу лет назад, в пионерском лагере имени Зои Космодемьянской Д. смотрел в маленьком музее, где были выставлены заржавленные пробитые каски и даже штык, на большую фотографию мертвой девушки в снегу с петлей на шее и голой грудью, и от этой голой женской груди ему тогда становилось не по себе и что-то потягивало в отроческой мошонке.

Коридоры в доме были просторные, длинные, прямые, гулкие, как иллюстрации к словарной статье о перспективе.

Мать той девушки звали Клавдия Ивановна Бирюкова. К приходу корреспондента она накрасила губы, надушилась, надела парадное лиловое платье и медали. В двух маленьких комнатках стоял запах старинной мебели, лекарств и старческих духов. Клавдия Ивановна когда-то работала в ВЦСПС, а потом в Комитете советских женщин, и на стене висела фотография, на которой она была изображена в обнимку с Валентиной Терешковой.

– Вот я для вас приготовила, – сказала Клавдия Ивановна и достала листок, исписанный тряским, сенильным почерком. Она надела очки с треснувшим стеклом, подклеенным синей изолентой, и стала читать, теребя бумагу:

– В суровую годину испытаний, обрушившихся на нашу Родину...

Д. сначала слушал, оглядываясь, рассматривая корешки книг в шкафу, грудастую японку в купальнике на календаре, проросший лук на подоконнике в цветочных горшках. Потом вежливо прервал старуху и попросил, чтобы она просто рассказала ему про свою жизнь. Клавдия Ивановна недоверчиво взглянула на Д., а он стал объяснять ей, что у него такое задание, просто написать о ее жизни, о дочке и все такое прочее. Клавдия Ивановна сначала нерешительно отказывалась, говоря, что это никому не интересно и не нужно, но потом Д. спросил, как они попали в этот дом, и она стала вспоминать.

– Мы с моей мамой работали в пуговичной мастерской, – говорила старуха, чему-то улыбаясь. – Пришивали пуговицы к картонкам, мама большие, а я маленькие. Мне было восемь лет. И это вам интересно?

– Да, – кивал головой Д. – Вот это, про пуговицы, мне и интересно!

– А когда революция пришла, – продолжала она, уже не слушая Д., а глядя куда-то за окно, – я уже работала в швейной мастерской у Арбатских ворот, этого дома теперь давно нет. И началась для нас, простых людей, новая жизнь. Я пошла работать на военно-обмундировочную фабрику. Это у Краснохолмского моста. И никаких трамваев. Встанешь чуть свет, натянешь на себя все, что есть, перетянешься ремнем – и пешком через весь город. В огромном котле варили солдатские шинели. Очищали их от крови, вшей, а потом штопали, перешивали. А на них где лохмотья от шашки, где дырочка от пули.

Д. спросил про дом.

– Переехала сюда, когда вышла замуж. Мой Сергей Михайлович был членом партии с 1913 года, депутатом Моссовета, и ему выделили здесь квартиру. Наш дом так и назывался: 4-й дом Моссовета. У Сережи была большая семья, братья, сестры, и все мы ютились в одной комнате. Ночью ставили деревянные раскладушки, а днем вешали их на стену. А в двадцать пятом Леночка родилась. Доченька моя. Когда война началась, ей шестнадцати не было. Когда погибла, еще двадцати не исполнилось. А мне теперь уже восемьдесят три. Вот как вышло – ни Леночки моей нет, ни Сережи, а я все живу. Когда началась война, я работала в Центросоюзе. Дочка закончила восьмой класс. Мы заклеили с ней стекла бумажными полосками – вот эти самые стекла. Она сразу поступила в группу самозащиты дома. Я дежурила по ночам на работе – сидела на крыше, а она здесь. У них была дворовая компания – так говорили, но у них компания была, а двора не было – была крыша. Там когда-то раньше был знаменитый ресторан, а потом дети играли – огромная такая крыша. У них любимая игра была во флаги – нужно было захватить флаг противника – бегали с деревянными ружьями. Все хотелось им воевать. И вот пошли по улицам колонны бритых мальчи-

шек с вещмешками. Идут и каждому встречному милиционеру или военному кричат «ура!» У нас на крыше разместились зенитки. Бомбоубежище было в подвале, где театр «Ромэн». Когда зенитки стреляли, дрожал весь дом. В Центросоюзе был организован отряд на трудовой фронт, и нас послали рыть окопы на ближних подступах. Меня назначили комиссаром. 15 октября построились колонной и пошли по улице Горького с оркестром. Дошли до Белорусского вокзала, там должны были сесть на поезд. И вдруг приказ – срочно эвакуироваться. Завтра же. Прибежала домой, устроили семейный совет. Бабушка ехать отказалась, никуда, сказала, из нашего дома не поеду, если уж суждено умирать, лучше в родных стенах. Леночка тоже ни в какую. Не хотела оставить бабушку. Да разве я сама поехала бы, если б не приказ? Выделили Центросоюзу электричку. Подцепили к ней паровоз, и поехали мы в Новосибирск. Так, в электричке, всю страну и отмахали. А в январе сорок второго с первой же возможностью я вернулась. Леночка стала ходить на курсы радистов, здесь, неподалеку от Пушкинской площади, а мне сказала, что поступила в пищевой техникум. А потом вдруг приходит и говорит: «Мама, я ухожу на фронт». Я в слезы. Креплюсь, а слезы сами текут. Я ее уговаривать: ты же слабая, болезненная, ну какой от тебя там прок. Она у меня в детстве очень болела. В первом классе пришла из школы, стала ботинки развязывать, и никак. Я ей: «Что ты балуешься!» А она плачет, руки трясутся. Вызвали врача. Положили Леночку в больницу, целый год там провела. Прихожу к ней, а она, крошка еще совсем, меня утешает: «Ну что ты, мамочка, не плачь, я поправлюсь, вот увидишь!» И крови всегда боялась, бывало, порежется, кричит: «Кровь, мама, кровь!» Я пошла провожать ее на Курский вокзал, а сама все уговариваю ее, чтобы не ездила – я бы могла ей сделать бронь. Она когда услышала это, так на меня посмотрела, будто впервые увидела. И говорит: «Мама, ты что?» Их сначала отправляли в Горький. Она отметилась и подошла прощаться. В платянице своем, в кофточке. Я опять ей про бронь, так она ушла, даже ничего не сказав. Застыдилась меня. И видела я тогда Леночку мою в последний раз. Мне нужно было ездить в командировки. Больше времени в разъездах проводила, чем в Москве. Послали меня в Калининский облпотребсоюз, в Ржев. Только что город освободили. Пока ехала, эшелон разбомбили. Наши два последних вагона только чудом и уцелели. Что поделаешь – пешком пошла. Ночью только добралась, с ног от усталости валюсь, а вместо города одни развалины. Люди ютятся в землянках. Меня разместили в сарае. Легла, мешок положила под голову. Вдруг чувствую: кто-то по мне ползает. А это крысы. Так всю ночь и не заснула. А утром на работу. Вот такие были командировки. А Леночкина часть стояла в Горьком. И вдруг меня посылают туда. Я вещей теплых набрала, положила в чемодан кулек конфеток и поехала. Приезжаю вечером, а их, оказывается, накануне отправили на фронт. А мне все не верится. Стою у забора и смотрю на девочек. Все в форме, все на мою Леночку похожи. И отдала им конфетки. Письмами только и жила. Почта приходила нерегулярно. То месяц, два никакой весточки, то сразу несколько треугольников. А мои письма, Лена написала, ребята у нее просили на раскурку. И вот я пишу ей и думаю, наверно, и это письмо кто-нибудь скурит. Сыночки вы мои.

Старуха рассказывала, а Д. записывал. Потом он пришел еще раз, и снова старуха рассказывала, а он записывал.

Д. спросил про ее мужа:

– А что было с ним, вы ведь ничего о нем не говорите.

– Сергей работал в органах. Время ведь сами знаете, какое было. Куда партия направит, туда и шли, а кругом враги.

Клавдия Ивановна принималась переживать, что она рассказывает что-то не то, чего нельзя рассказывать, но потом увлекалась и говорила дальше.

Д. дал ей свой телефон, и однажды вечером она позвонила и долго извинялась за беспокойство.

– Вы поймите, я вот рассказала вам об окне, а теперь мучаюсь, не знаю, вдруг про это нельзя...

Дом странно изгибался, образуя полудворы, и прямо напротив окно было замуровано кирпичами, а сверху и снизу оконные проемы шли как положено. Клавдия Ивановна объяснила, что там жил Вышинский, и ему не нравилось, что кто-то может смотреть в его комнату. Окно с этой стороны заложили, а в глухой стене пробили.

Д. стал ее успокаивать, что ничего в этом страшного нет, что он, конечно же, ничего такого не напишет и ей совершенно нечего волноваться. Клавдия Ивановна долго благодарила, и все никак невозможно было повесить трубку.

На следующий день она снова позвонила, и Д. опять ее успокаивал, она опять благодарила, а через полчаса снова раздался звонок.

Клавдия Ивановна стала звонить почти каждый вечер. То она переживала из-за хлебной карточки, которую нашла в Спиридоньевском и не сдала, то из-за каких-то валенок, о которых Д. вовсе не мог вспомнить, чтобы она ему что-либо рассказывала.

– Скажите, – жалобно тянула она в трубку, – это ничего, не страшно?

– Нет-нет, Клавдия Ивановна, – пытался сдержаться Д., – все хорошо, успокойтесь, пожалуйста, все в порядке и с карточками, и с валенками. Все хорошо!

Потом она все время стала вспоминать своего покойного мужа.

– Я ведь вам не рассказала, как он умер, – мямлила трубка. – После смерти Сталина стали арестовывать всех его товарищей-следователей, а его уволили. Он очень боялся, что за ним придут. Сидел дома и никуда не выходил. А я пошла в магазин и забыла ключ. Возвращаюсь и звоню-звоню, а он не открывает. Оказалось, он решил, что это уже пришли увозить его, ведь я никогда не звонила, открывала всегда ключом, и вот он вышел в окно. Но ради Бога, прошу вас, ничего этого не пишите! Ради Бога!

Д. сказал, что больше к телефону подходить не будет, и трубку стала брать Маша. Теперь она подолгу разговаривала с Клавдией Ивановной и успокаивала ее, а та плакала в трубку.

– Вы знаете, голубушка, – говорила Клавдия Ивановна Маше, – я ведь теперь по ночам спать не могу, и сердце болит.

– Да вы не переживайте так, – все время повторяла Маша, – забудьте! Просто забудьте – и все! Будто ничего не было.

– Да-да, спасибо вам, спасибо! – Клавдия Ивановна вешала трубку, чтобы через час позвонить снова.

Наконец терпение кончилось и у Маши. Когда она слышала в трубке тягучее старушечье блеяние, просто нажимала на рычаг.

Потом как-то неожиданно звонки прекратились.

– Что-то наша бабушка не звонит, – сказала Маша, намазывая на ночь кремом руки и лицо. – Сдохла, что ли?

Д. несколько раз позвонил Клавдии Ивановне из редакции и с улицы из автомата – не хотелось при Маше, но никто не отвечал.

Идя как-то по Горького, он решил забежать в Гнезниковский, все равно по дороге. Лифт опять не работал, а в коридоре рабочие раскатывали длинные рулоны линолеума.

Д. несколько раз позвонил в дверь, в квартире было тихо. Он постоял в нерешительности и позвонил в дверь напротив. Там зашаркали шлепанцы. Женский голос, бойкий и недовольный, спросил:

– Кто там?

Д. стал объяснять двери, что он некоторым образом знакомый Клавдии Ивановны, которая живет в квартире напротив, вернее, не знакомый, а просто приходил к ней пару раз.

Дверь открылась, но только на цепочку. В проеме показалось лицо, бесформенное, как авоська.

– А, это вы! Довели нашу Клавдию Ивановну, а теперь в гости ходите! Она ко мне все приходила плакаться. И не стыдно вам?

– А что с ней? – спросил Д.

– Увезли в больницу. В таком возрасте-то! Разве можно что-то выпрашивать? Я вот у нее вчера была. Недолго ей осталось. Я-то, слава Богу, на таких насмотрелась, сразу вижу.

Д. не знал, что сказать и как уйти, и переминался.

– Дать вам адрес? – вдруг спросила женщина.

– Да-да, конечно, в какой она больнице? – почему-то обрадовался Д.

Соседка написала на клочке бумаги адрес больницы и номер палаты.

Д. поблагодарил и поспешил прочь.

Несколько раз, ища что-то в карманах, он натыкался на скомканный листок – это был обрывок белого газетного края. Потом выбросил в мусорницу.

Допустим. Теперь попытайтесь, пожалуйста, припомнить, жидовочка, не тот осиный вечер, когда, привлеченные сладким запахом варенья, они ломились в окно с остервенением, будто души, услышавшие призыв ангельской трубы, бессчетные, неразличимые, неостановимые, зудящие каждая свое, а другой, закрытый от нас пеленой не то времени, не то пара от ведра с кипящим бельем.

Да, читаем далее в показаниях, я стирала.

Когда Д. вошел, все было тускло, парно, сперто.

Низкая комнатка в одно окно, кровать, стол, рукомойник, печка с шипящим и клубящимся ведром, из которого что-то лезло. На полу лужи. На веревках от карниза до трубы белье, наволочки, простыня. Капель.

За простыней шлепанье, плеск. Под простыней ее босые ноги с розовыми пятками. Ноги замерли, пальцы, тоже розовые, растопырились, насторожились.

Сонин голос:

– Кто там?

Д.:

– Соня, это я!

– Евгений Борисович?

Д.:

– Да-да, это я, ради Бога, не пугайтесь!

Выглянула из-за простыни. Смотрит удивленно. На голых руках пена. Сдувает волосы со лба. В коротком халатике.

– Что же это я, дверь забыла запереть?

Д.:

– Вы, я вижу, стираете? Я вам не помешаю, я только на одну минуту. Хотел вам сказать что-то очень важное. Давно вот уже собирался. Сейчас пошел домой по непогоде, дождь, грязь, а ноги к вам привели – ну, думаю, значит, сейчас все и скажу. Ткнул в дверь, а она и не заперта. Так я пройду, можно? Не прогоните?

Пропустила его за простыню.

– Вот, – развела руками, мол, хотели – любуйтесь. – Вы извините, Евгений Борисович, у меня сейчас и присесть-то некуда.

Д.:

– Ничего-ничего, это неважно. Я сейчас только с мыслями соберусь...

– Вы, – перебила Соня, – говорите, а я буду белье развешивать. Хорошо?

Залезла на табуретку и стала привязывать еще веревку на гвоздь у окна. Подняла руки, и халатик полез по бедрам вверх.

– Говорите, говорите, я слушаю!

Д.:

– Давайте я вам помогу!

Рассмеялась. Потеряла на мгновение равновесие, закачалась на табуретке, схватилась пальцем за гвоздь. Другой рукой, спохватившись, одернула низ бесстыжего халатика.

Д.:

– Чему вы смеетесь?

Переступила одной ногой на кровать, нога по щиколотку провалилась в перину и скрип. Кровать запружинила, закачала. От расставленных ног халатик разошелся.

– Хотите помочь?

Д.:

– Хочу.

Так и стояла, схватившись одной рукой за гвоздь, другой убирая мокрые волосы за ухо, расставив ноги и покачиваясь на кровати.

– Тогда вот берите что в тазу и выжимайте.

Д. посмотрел в таз, там были ее трусики, лифчики, ночная рубашка, еще что-то розовое, лазурное, фисташковое.

Соня перестала качаться, глядела на Д. как-то странно, будто испытующе.

Д.:

– Да-да, конечно, одну минуту!

Сбросил пиджак на кровать, запонки сунул в карман, закатал рукава. Взял из таза что-то крошечное, как на куклу, сжал в кулаке, между пальцев потекло, закапало обратно в таз.

Соня спрыгнула на пол, подскочила, схватила за руку:

– Что вы, Евгений Борисович, прошу вас, не нужно! Не делайте этого!

Д.:

– Да что такое?

Стала разжимать его кулак:

– Ничего не нужно! Я сама!

Выхватила мокрый розовый комочек, швырнула его обратно в таз, шмякнулся липко.

– Ничего не нужно! Уходите лучше. Вас Мария Дмитриевна ждет. Поздно уже.

Д. стоял с закатанными рукавами и смотрел, как она скачет по комнате, выжимает, развешивает. Попала босой ногой в лужу – вытерла подошву о край кровати. Бросила взгляд на его ноги.

– Да у вас с ботинок течет – снимайте! Что ж вы сразу не сказали, что промокли.

Д.:

– Оставьте, Соня, ничего страшного.

Заставила снять ботинки, набила их газетой, поставила к печке.

Чтобы не мешаться, отошел к окну, оставляя следы от мокрых носков. По стеклу с той стороны барабанило, а ничего не было видно, запотело плотно, наваристо, так что все время капли стекали, но и в их дорожках ничего не было видно, стемнело.

– Завтра рано вставать, – сказала Соня, окутанная паром, уминая деревянной палкой белье, что лезло из ведра. – Я ведь еще на работу устроилась. Уборщицей в их бухгалтерии. Полы мою, мусор выношу. Хоть какие-то деньги. Первые дни было даже интересно. Ходишь по пустым кабинетам, заглядываешь во все шкафы, лезешь во все столы. Что ни стол, то натура. Так и представляешь себе, кто там сидит. Одни туфли под каждым столом чего стоят! И шваброй их, шваброй.

И опять засмеялась.

Так какого же черта, свидетельница, тогда, в банном настое, среди этих чулочных сталактитов, среди капельного перестука и шипения бельевого навара, выплеснутого через ведерный край на плиту, он так ничего вам и не сказал?

И в зале вдруг тоже стало мокро, душно, жарко, будто кипело с перехлестом белье – тюкала ремингтонистка – и от приставленных к печке ботинок, накормленных до отвала газетой, шел пар.

Да кто же верит свидетельским показаниям, дорогие мои! Вся французская академия отвергла показания очевидцев и постановила, что камень, оказавшийся в поле, лежал там всегда, но был прикрыт травой, и удар молнии с неба просто обнажил его, потому что камни с неба не падают. А ошарашенные хлебопашцы все твердили свое: явился звезда велика на востоке копейным образом. И кому верить? Изношенную поблядушку, нанятую за селедочный хвост, характеризуют перед судьями пожилой почтенной женщиной, которая не поймет зря присягать и целовать Евангелие. Увенчанный сединами, не лишенный благородства, хоть и хохол, будет уверять вас, что жиденыш вовсе не еврей, а сын его родственников из города, приехал подкормиться ребенок на каникулы, поэтому не надо его в овраг, а по глазам видно, что врет. И не сказал ли много веков назад один галилеянин в Большом доме на Литейном, когда ему показали фотографию: «Нет, не знаю»? Одна упомянет вам коротко, как бы проходя, о крушении поезда и примется во всех подробностях рассказывать, как искала новый зонтик, купленный по дешевой цене. Другой начнет уверять, что на «Сикстинской мадонне» на правой руке у святого Сикста шесть пальцев, и будет божиться, что сам видел. Третий не может не упомянуть все выпушки и петлички – для него нет Исакия или конки, а есть храм Исакия Далматинского и железно-конная дорога. Четвертый станет утверждать, что он, как Сенека, услышав впервые двести имен, может повторить их от конца к началу. О свидетелях Квинтилиан сказал просто: нужно сначала понять, что он за человек, и действовать в соответствии с этим. *Timidus terri, stultus decipi, iracundus concitari, ambitiosus inflari, longus protrahi*³⁰.

Так и нам, друзья, ничего не остается, как робкого застрашать, глупого одурачить, раздражительного распалить, пространного еще больше растянуть. Вот и приходится играть с ними в кошки-крысы. Самонадеянный сикофант, к примеру, уверяет Грецию, распростертую по карте рукой скелета, что его память, как лава, все вбирает в себя в расплавленном виде, и события, застыв, остаются в ней навсегда, и заявляет при этом ничтоже сумняшеся, что видел, допустим, того же, чтобы далеко не ходить, Д. с кем-то ночью в парке и от лунного света песок на аллее был нарезан на белые полосы, как ножом.

– Это в каком же парке, – спрашиваем ночного прохожего, обремененного базальтом, – уж не в Знаменском ли?

– Так точно, господа хорошие, – отвечает, – вот тот самый гражданин, которого вывезли мне под простыней, поддерживал под локоток вот эту самую гражданочку с заплаканными глазами и сморкливым распухшим носом, в ту ночь хохотунью, невесомую, прыгливую: держит в руке босоножку и прыг-скок.

– Никак сломала каблук? – допытываемся.

– Как на духу! Зачем же мне врать-то. Мы врать не привыкли.

– Какой каблук? – не унимаемся. – Вот этот?

И, не моргнув глазом, рубит:

– Именно, ваше благородие! Не сойти мне с этого места!

– Так-с, – продолжаем, – значит, вы утверждаете, дружок, что сломавшая каблук в ту подлунную ночь, утратив бдительность и наступив на решетку, якобы говорила тому, под

³⁰ Робкого застрашать, глупого одурачить, раздражительного распалить, тщеславного еще больше раздуть, длинного еще более растянуть (*лат.*).

простыней, что в ту минуту счастливее ее на всем свете никого нет и быть не может и не будет? Так ли это?

– Истинно так!

– Неужели?

– Более того, сперва еще, до того, как все промеж них случилось, она рассказала ему про то, как пошла однажды к печнику в Рождествено – печка дымила, и в щели огонь был виден, не приведи Господь, сгоришь еще, и вот она тащилась мимо Ильинской балки, а оттуда вышли двое, приземистые, заросшие, мутные. Она отдала им сумку, деньги, завернутые в полиэтиленовый пакет и перехваченные аптечной резинкой, сбросила сапоги. А те тащат ее в балку, в заросли орешника, подальше от дороги. Она упала лицом в корни, цепляется руками за траву, а они ее за ноги тащат. Обернулась, смотрит им в глаза, просит: «Не надо греха! Греха не надо!» И крестит их. А те ее палкой по голове.

– Да знаем, знаем, напичкали спермой, а потом еще и палец сломали, – подстегиваем очевидца. – Не отвлекайтесь. Мы в лунной ночи.

– Извиняйте, разумеется, куда ж нам оттуда. И вот, значит, гражданочка эта шепчет своему коханому: «Женечка, я нечиста, понимаешь, после всего, что тогда было, Женечка мой».

– А тот?

– А что тот? Тот руки ее берет и целует. Это они еще у нее сидели на кухне, за столом. Чашки, плошки, ложки – это все еще не убирали, не мыли. Заговорились, засиделись, засумерничались. И из окошка, как полагается, луна. И все в луне: и чайник, и скатерка, и колени, и кривой палец – вот этот мизинец у нее сухой. Значит, берет он этот сучок и целует.

– Стоп, любезнейший! – прервем тут сонное течение сессии и посмотрим, что можно сделать, если чувствуете, юные друзья мои, что свидетель, по природе своей призванный быть крылом истины, врет нагло, вдохновенно, стремглав.

Во-первых, оглянитесь. Какое впечатление произвел говорун на галиэю? Развлек заскучавших, взбодрил засыпающих, рассмешил задумавшихся о чем-то своем? Не отчаивайтесь, бой еще не потерян! Дайте словоохотливому свидетельствовать сколько его душеньке угодно – не успеете оглянуться, он и сам запутается в собственных подробностях! Поощряйте к преувеличениям, а получив благоприятный ответ, ни в коем случае не повторяйте, переходите спокойно к следующему, а то еще, не дай Бог, поправится, и тогда все будет потеряно: подчеркивание вопроса заставит подлеца держать ушки на макушке.

Спросите как бы невзначай, будто не расслышали и просто хотите уточнить:

– Значит, эта женщина, иссушенная одиночеством, познавшая людскую жестокость, попробовавшая вкус горя, так сказать, дальше горя, меньше слез, горе-горе, муж Григорий, хоть бы болван, да Иван, за морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое, потому и была так счастлива, что в ту лунную ночь, полную объятий любимого, будучи сама по грудь в луне, – зачала?

– Да.

Благосклонно улыбнитесь, когда противник скажет удачное слово. Если ответы сокрушают, если показали лицом, что ожидали чего-то другого, смутились, покраснели – уже достаточно, чтобы потерять дело. Надо принимать, что бы вам ни сказали, как само собой разумеющееся, ожидаемое, искомое, только тогда эти удары будут падать без эффекта. Просто недоверчиво улыбнитесь, мол, кто же вам поверит, и, не теряя времени, приступайте к дальнейшим вопросам, будто ничего страшного не случилось. И помните: неловкие вопросы хуже, чем воздержание от них. Обратите внимание на побочные факты, отвлеките внимание, заставьте задуматься о чем-то неважном, расслабиться. Спросите, как бы невзначай поглядывая на вынутый из кармана шагомер:

– Итак, вы утверждаете, что после того, что произошло в той залитой лунным светом комнате – даже кресло, как вы изволили выразиться, было будто в чехле, – вот эта присутствующая здесь гражданка с отсутствующим взглядом, устремленным в ту светлую ночь, уже никогда ни нам, ни ей более не доступную, и оттого, наверно, такую щемящую, желанную, безвозвратную, почувствовала себя столь наполненной счастьем, выстраданным и неожиданным одновременно, заставшим врасплох, что, играя крестиком на груди, тоже светившимся в полной луне, близкой и щербатой, занявшей почти пол-окна, вдруг прошептала, что ей хорошо и жарко и хочется пройтись подышать, и они оделись и вышли на Госпитальный, пустой, ночной, свежий, кругом ни души, только на углу Ухтомской мигал светофор, тюкался, как заведенный, своим рыжим лучом об асфальт – заставь дурака луне молиться, – и пошли к мосту, мимо пивного ларька, где днем потягивают что-то, не спеша, задумчиво, из литровых стеклянных банок, а ночью пахнет дрожжами и мочой, мимо радиоинститута слева, мимо чайной фабрики справа, и луна следовала за ними. Ей вспомнилось, как в детстве, когда мать брала ее с собой в магазин, чтобы сэкономить на очередях, да и давали на человека, то луна тоже плыла над головой за ней, будто привязанная, как шарик за ниточку к пуговице, и оставалась у дверей магазина, и вот, стоя в очереди, она переживала, что кто-нибудь другой может увести с собой луну, а потом выбегала и радовалась, что луна на месте, дожидается ее и снова на ниточке – до самого дома. А еще вспомнилось, как однажды, тоже в детстве, на даче, пришла в гости к одной девочке на Мичурина, у них был спаниель, который все время клячил со стола, и вот отец той девочки решил устроить собачий праздник – они стали давать собаке есть столько, сколько та захочет. И спаниель ел миску за миской. Глаза его сделались мутными, он что-то скулил, но, увидев новую миску, опять подползал и запихивал в себя. Живот его раздулся так, что мама той девочки сказала: «Оставь его к черту, Славка, еще сдохнет!» И луна теперь была похожа на тот раздувшийся собачий живот – с такими же крапинками и разводами. И еще ей вспомнилась картинка из школьного учебника по природоведению, там были разные фазы луны, и ей когда-то понравилось, что если луна похожа на букву С, то, значит, она убывает, стареет, а если к ней можно приставить палочку и получится буква Р, то это значит, что она растет. Они шли вдоль трамвайных путей, прямо на луну, и теперь та была похожа на букву Ф – с трамвайным проводом посередине. Уже издали был слышен нараставший гул ночного состава, и они поспешили на мост, чтобы посмотреть сверху на поезд, и не поверили своим глазам, потому что на открытых платформах везли огромных белых птиц, вроде гусей, по два на платформу, то ли памятники, то ли для аттракционов, гуси-памятники были тоже намылены луной и светились зеленовато, а потом опять пошли цистерны, угрюмые, бесконечные, дрожь моста переходила в ступни, я ходил на этот мост все время с сыном во время прогулок, он впивался в даль, напряженно замирал, привстав с сиденья своего трехколесного велосипеда, и мог стоять так, как замороженный, пять минут, десять, пока со стороны Электrozаводской, из-за поворота вдруг не выглядывал зеленый нос ящерицы, а за ним выползала вся электричка и быстро бежала к нам под ноги, покачивая вверх-вниз головой, а зимой по крышам вагонов перебегала поземка, потом с моста мы шли по направлению к Семеновской, в парк, который, собственно, был когда-то Семеновским кладбищем, а потом все могилы снесли, оставили только деревья, но следы еще кое-где сохранились, и однажды мы нашли кусок могильной ограды, вросшей в ствол одного старого ясеня ближе к трамвайным путям, Олежка потом каждый раз подбегал туда, хватался рукой за чугунный завиток, будто выросший из дерева, и кричал с восторгом: «Могила, папа, смотри, могила!», и еще я прочитал, что где-то здесь, на этом кладбище был похоронен произведенный в прапорщики Полежаев, и было странно ходить под огромными, корявыми, могучими деревьями, в одно из которых он, удобив этот песок, превратился, деревья от старости высыхали, и каждый год их распиливали и вывозили, оставляя то там, то здесь полянки опилок, зараставшие летом крапивой и снытью, мы

ходили, собственно, на детскую площадку, разбитую в глубине парка, к концу лета мальчишки все ломали или сгнивало и разваливалось само по себе: и горка, и качели, и какие-то домики, в которые лучше не заходить, а весной привозили и врывали в землю новые столбики, качели, горку, и когда Света еще только была беременна, я хотел заснять ее на пленку, у нас была восьмимиллиметровая камера, мы пришли сюда, в этот парк, был апрель, все в снегу, лужи, тает, солнечный яркий день, и я снимал, как она ходит между деревьев, садится на качели, выглядывает из-за горки, обходит домик-избушку, улыбается, машет в объектив рукой в варежке, потом гладит ею живот, оставалось еще меньше месяца, а через несколько лет, на Олежкин день рождения, не помню, сколько ему исполнилось, четыре или пять, вдруг решил показать гостям этот фильм, мне почему-то казалось, что это будет им очень интересно, и вот все долго рассаживались, его друзья и их родители, наши соседи, и я долго все налаживал, но проектор то и дело заедал, рвал пленку, приходилось снова включать свет и заряжать, так что смотрели какими-то обрывками, солнечный апрельский день превратился во что-то серое, даже черное, мутное, прыгающее по простыне, дети от скуки полезли под стулья, потом вовсе убежали на балкон, их родители говорили о чем-то своем, что перегнать машину лучше через Прибалтику, и вот, возвращаясь к парку, там у самого начала со стороны железнодорожного моста, где остановка двадцать пятого, решетка в асфальте, и однажды мы с Олежкой гуляем, вернее, уже возвращаемся и смотрим, как одна женщина вышла из троллейбуса с сумками и пошла, оглядываясь, а нога попала на решетку, и женщина чуть не упала со своими сумками, каблук сломался, и она заковыляла дальше, матерясь, красная, злая, вспотевшая.

– Да-да, именно так все и было: ей захотелось вдруг пройтись, ни о каком сне в такую ночь не было и речи. Все казалось странным и невозможным, что это она любима, что это она вобрала в себя несколько капель жизни, которые дадут росток, и где-то там, в теплых складках ее тела, произойдет чудесное чудо, и из их любви возникнет ее сын или дочь. Они оделись и вышли на улицу. Она сказала: «Женя, ты посмотри только, какая луна!» Он закурил. Она прижалась к нему, втягивая в себя запах сигареты. Еще совсем недавно ее чуть не тошнило, если кто-то рядом курил, а теперь она хотела нюхать этот дым еще и еще. Они дошли до моста. Как раз проходил поезд, на платформах мелькнуло что-то зеленоватое в свете луны, зачехленные пушки, похожие на огромных гусей, потом потянулись цистерны. Она поцеловала его в колючую щеку – уже полезла щетина. Он щелчком выстрелил окуроч вниз, на опустевшие рельсы, сверкнувшие в лунном луче, и они пошли дальше, к парку. Она закрыла глаза и шагала вслепую, держась за него, зная, что теперь с ней ничего не случится, что она больше в этой жизни не одна. И когда каблук попал в решетку, охнула: «Женя!» – и повисла на его шее, расхохоталась. Каблук отломала и швырнула в траву, а сама поскакала, держась за его плечи и смеясь: «Женя, как в кино!» – «В каком?» – «Не помню». Доскакала до скамейки, хотела сесть, но там было мокро и грязно, забралась с ногами на сиденье и присела на спинку. Позвала: «Иди сюда!» Он подошел сзади и обнял ее. Она снова чуть не задохнулась от счастья и вдруг подумала о том, что так не бывает, что она получила слишком много, здесь что-то не так, какой-то подвох, что это свалившееся на ее плечи счастье придавит ее, не даст вздохнуть, что оно слишком огромно, чтобы быть правдой. И ей стало страшно, что она вдруг все потеряет, что в любую минуту может произойти что-то страшное, чудовищное, невозможное и это что-то отнимет его у нее – какой-нибудь взбесившийся трамвай, или шаровая молния, притаившаяся за спинкой скамейки, или оборванный веткой провод, ждущий в траве, или не закрытый рабочими люк, или война, и ей захотелось по сильнее обнять его, обхватить накрепко руками, прижать к себе, оградить, спасти – и в ту самую минуту небо разверзлось, яко свиток свиваемо, оттуда вылезла рука с заточкой и пырнула его в рубашку. От подъезда до моста шагов, наверно, триста-четырееста, оттуда до парка еще, может быть, сто, а там и решетка в асфальте, ну а от решетки до скамейки и скакать-то нечего.

И вот тут, друзья мои, готовьтесь торжествовать победу. Спросите еще, оттягивая сей упоительный момент:

– И вы по-прежнему, как показали на предварительном следствии, настаиваете на том, что рука вылезла из разверстого неба, треснувшего по краю облаков, наползавших на луну?

И когда лжесвидетель, до разоблачения которого остались считанные мгновения, уверенно, не сомневаясь в своей безнаказанности, самодовольно и снисходительно кивнет, поглядывая на клепсидру, мол, сколько можно, уже обедать пора, в ту самую секунду достаньте загодя припрятанный календарь и продемонстрируйте с победным видом:

– Извольте!

– И что из того? – спросит, еще ничего не понимая, бедняжка.

– А то, любезнейший, что луны в ту ночь не было!

И садитесь на свое место – среди шума и смятения в зале – покойный, созерцательный, торжественный.

А вот и звонок, друзья мои, я уж думал, что старый сторож заснул со своим колокольчиком, ан нет, ковыляет по коридору, елозя деревянной ногой. Что ж, продолжим завтра.

Вот, написал про сторожа с деревянной ногой, выстукивает ремингтонистка, и вспомнил бабу Лену. Она была уборщицей в пятьдесят девятой на Арбате, где я учился. Крошечная, вроде школьника, старуха с одной ногой. Вместо второй был протез с кедом. В раздевалке всегда валялись брошенные драные кеды, она находила себе покрепче, надевала их и ходила – всегда в разных. У нее была каморка на втором этаже, рядом с туалетом. Отдыхая, она отстегивала ногу и пила в своей комнатухе еле желтый чай из майонезной баночки. Баба Лена была глухая и злая и непотребно ругалась, чем очень смешила школьников постарше. Они все норовили стащить у нее приставленную к стене обутую в кед ногу или делали вид, что хотят ее стащить, в чем, собственно, и заключалась игра, потому что баба Лена тогда принималась ругаться, вскакивала и мокрой тяжелой тряпкой, какой мыла туалет, пыталась стегнуть озорников, вызывая всеобщий восторг.

Прости, баба Лена, и упокой Господь душу твою.

Итак, друзья мои, после бессонной ночи – опять все вспоминались люди, которых давно нет, – рад видеть ваши молодые, красивые, ждущие глаза, и, вняв треньканью колокольчика, с которым прошаркала по коридору в своих рваных кедах баба Лена, пожалуй, начнем.

Остались пустяки.

Напомню суть дела. Обвиненный в отказе подать помощь умирающему от ран, М. не признал себя виновным и объяснил на следствии, что знал об опасности со слов подбежавшей к нему из темноты городского сада старухи, закутанной в синий рабочий халат, заляпанный краской, в разорванных кроссовках, в засаленной шапке-ушанке и твердившей без конца о какой-то заоблачной руке, но отказался единственно потому, что считал в этом случае свою помощь бесполезной, так как он практической медициной никогда не занимался, а состоял при университете помощником прозектора при кафедре физиологии и в течение последнего года заведовал бактериологической станцией. Обвинение строилось на приложенных к делу восемнадцати рецептах.

Итак, с чего начать пледировать, не забывая, что вы защищаете не преступление, но человечество, или, попросту говоря, куда ж нам плыть?

Да опустите, хорошие вы мои, *exordium*³¹! Хватит! Поверьте, эта мода, введенная Гортензией, на излишнее и бессмысленное перечисление подробностей, которые и без того

³¹ Вступление (*лат.*).

будут сказаны, если понадобится, в свое время, охватив самые широкие слои присяжных поверенных, поставила вас перед выбором: быть как они, быть как положено, быть пригвожденным пятью пресловутыми пунктами красной речи – от вступительного вздоха до самого *peroratio*³², короче, оглядываться или идти к самому себе. На что решится открывающий рот, какую изберет стезю?

Пожду руку тому, юные друзья мои, кто, презрев высокомерное похлопывание по плечу туземных законодателей риторических мод, не боясь ни косога взгляда умника, ни лежащей реплики невежи в еженедельном обзоре «Из зала суда», сразу и смело, обманывая ожидания покойных учителей, нарушая невидимые границы, переступая негласные законы, стремительно и как снег на голову перейдет к *narratio*³³.

И не пренебрегайте, милые, Цицероновым заветом: раз уж различаются два вида слушателей – мнимые, которые предпочитают пользу чести, пройденное новому, перевариваемое несъедобному, и истинные, которые предпочтут рифму хлебу, – то ясно, что оратор должен учитывать аудиторию.

И еще, чтобы больше не возвращаться к Гортензию, – не след брать пример с самолюбленного шалопа, уделявшего больше внимания прическе и складкам тоги, чем судьбе обреченных, к тому же еще и пописывавшего на досуге эротические стишки вроде: «Давай, девица, давай, красная, поцалуемся! Что у тебя, девонька, губушки сладеньки? Пчелы были, мед носили, а я принимала. Что у тебя, девонька, в пазушке мягонько? Гуси были, пух носили, а я принимала. Что у тебя, девонька, промеж ног черненько? Швецы были, шубу шили, лоскут позабыли, я избушку мела, лоскуточек подняла, промеж ног воткала. Что у тебя, девонька, промеж ног красненько? Мыши были, гнезда вили, язык позабыли. Наряжусь я в мешок, выйду я на лужок: поглядитятко, ребята, не ваша ль я девка? Не ваша ль я девка, не ваша ль княгиня?» – недаром ему посвятил Катулл свой эпиллий о локоне Береники.

Итак, попробуйте для зачина анафору. Хорошо зарекомендовал себя в пореформенные годы следующий вариант: три раза “*tu*”, три раза “*audes*”, три раза “*quid*” и четыре раза “*non*”³⁴. Начните с кивка в сторону благородства профессии, которую, казалось бы, необходимо окружить симпатией и уважением, но на самом деле мы видим обратное, общественное мнение преследует врачей-убийц, приведите, кстати, пару примеров из прессы, превративших сословие эскулапов в турецкую голову из известного аттракциона.

И, главное, не отчаивайтесь сразу! Пусть у этого бедолаги, не подошедшего к умирающему, чтобы нанести ему *coup de grâce*³⁵, нет никаких шансов на оправдание – не верьте этому! У него есть последнее слово.

Слово не обух, возразят нам, в лоб не бьет, или, попросту говоря, *verba volant*³⁶.

Какая преступная наивность!

И слово, как кто-то весьма удачно выразился, плоть бысть!

Как часто плакал мир над единицей речи, выброшенной губами на ветер в лихой час на людном месте! Какой-нибудь имам-губошлеп скажет несчастным вдовам, что после смерти супруга им нет доступа в Валгаллу – и вот они уже мнутя на пороге, не решаются пройти сквозь слово. Более того, когда солдаты Мария вступили в лагерь тевтонов после победы при Аквах Секстийских, жены побежденных встретили наших солдатешек-ребятушек с оружием в руках. Дурехам сказали в мечети: «Охота пуще неволи», – и вот они душат своих детей, бросают их под колеса телег и потом убивают себя, чтобы не достаться чужим муж-

³² Заключение (*лат.*).

³³ Изложение обстоятельств дела (*лат.*).

³⁴ Ты; смеешь; что; нет (*лат.*).

³⁵ Приканчивающий удар (*фр.*).

³⁶ Слова улетают (*лат.*).

чинам, а какие же они чужие, это же вон, Сережка с Малой Бронной да Витька с Моховой. До сих пор в индийских наших провинциях жены живьем ложатся на костер, в котором превращается в пепел покойный муж. Тысячи людей бросаются ежегодно под колеса Джагернаты – это, объяснил им нечесаный шаман, приятно сердитым божествам. В Русском Китае обиженный вешается на воротах обидчика, а чего стоит японская дуэль, завезенная в Порт-Артур нашими моряками! Если японец оскорблен равным себе, он вызывает обидчика на добровольное харакири, и последний обязан, чтобы не потерять самоуважения и круга знакомств, тоже мне – невольник чести, погибнуть вместе с оскорбленным. Этот благородный обычай уже давно пытается запретить микадо, но безуспешно.

А вспомните элейского соратника Парменида! Во время пыток, чтобы неловким словом не выдать товарищей и товаров по заговору, он откусывает сам себе язык и плюет им вместе с кровавой харкотинной в лицо тирану! Вот достойный пример для нашего слабогрудого юношества! Но нам сейчас важнее реакция Неарха – старец, заживо загнивающий от язв, ведь не случайно весь ужасный гнев свой обращает не на брэнное обезьязыченное тело, но именно на словородный орган и приказывает эту безжизненную, но пережившую, как оказывается, века котлетку истолочь в ступе.

А взгляните на наше недавнее будущее! Обло, стозевно, лаяй! А некормленные стрельцы! А обманутые, брошенные на произвол судьбы легионы! А отравленные реки! А угрюмые шахтеры! А поруганная русская земля! А паханы у трона! А хамский парад самозванцев! А обезлюдившие деревни! А клубы, который только откроешь, как уже опять там церковь! А окровавленные, расстрелянные в упор из танков баррикады! А старая учительница с протянутой рукой в переходе метро! И ведь достаточно какому-нибудь новоявленному борцу против немецкого засилья в Петербургской академии бросить в мегафон свое «Слово о пользе стекла», чтобы поднять вдов и сирот на праведный бой с пустыми кастрюлями наперевес и вывести их на площади и рельсы, под гусеницы и звезды, ибо плевать не перехватишь, слова не воротишь, бритва скребет, а слово режет, за худые слова слетит и голова, и разве не встретила разъяренная толпа Сципиона-вора, вернувшегося из Африки, чтобы растерзать его? А тот? Рвет расчетную книжку и переводит разговор с денег на свои африканские победы – и вот уже облапошенные смерды несут его на руках с почетом домой, осыпая лепестками роз и топя баню!

И в конце тоже будет слово, казнящее или милующее. Не верите – обратитесь к законодателю. В разъяснительном циркуляре Правительствующего Сената от пятнадцатого четвертого за позапрошлый год, помните, не апрель был, а какой-то перемарт, руку в форточку высунешь, отломаешь сосульку на солнце, и она лопається с коротким стеклянным звоном, а потом ходишь с ней по комнате и не знаешь, куда деть – капает на паркет, – вот стоишь, смотришь сквозь нее и видишь солнечное сплетение. А законы-то кто пишет? Законодатель, он ведь как вы и я. Муж желаний. И вот однажды он, а короче говоря, вы – просыпаетесь ни с того ни с сего затемно, когда все еще спят, а мир вокруг вас какой-то не такой, другой. Вернее, мир такой же, но что-то в нем не так. И вот вы вытряхиваете носки из брюк и смотрите на окно с градусником под мышкой, а оттуда скрип – ветка открыла форточку. Напротив дом вылезает из сумерек, зачеркнутый лесами. Чашка прилипла к клеенке – отрываете, расплескав вчерашний чай. На кухне тень от детских колготок лезет на табуретку – к полке, где шоколад. Мокрые варежки на батарее. И тут вдруг стук в дверь, вернее, не стук, а так, чуть слышное царапанье, чтобы никого больше не разбудить. Подходите, смотрите в глазок – кто-то в заснеженной шапке, в тулупе.

– Кто там?

А из-за двери:

– Кто в кожаном пальто! Не знаешь, что ли, что задрожали стерегущие дом, и согнулись мужи силы, и перестали молотить мелющие, потому что их немного осталось, и помра-

чилились смотрящие в окно, и замолкли дщери пения, и зацвел миндаль, и отяжелел кузнечик, и рассыпался каперс. Отворяй!

Открываете дверь, и сразу же сквозняк – газета вылезла в коридор, посмотреть, кто пришел. И запах корицы из подъезда – уже пекут что-то в такую рань.

Муж желаний:

– Вам, собственно, что нужно?

В заснеженном тулупе:

– Дом слишком тесен, а мир слишком просторен. Сани готовы.

Муж желаний:

– Какие сани? Вы о чем?

В заснеженном тулупе:

– О том, что Демокрит отдалил, вдыхая запах теплых булок. Как ни заплетай косу девка, не миновать, что расплестать. Зажили было всласть, да пришла напасть. Служил сто лет, выслужил сто реп. Усопшему мир, а лекарю пир. Сидит живая живулечка на живом стульчике, теребит живое мясо. Тебе что, ордер показать?

Муж желаний:

– Но это какое-то недоразумение! Должна быть какая-нибудь бумага, разрешение, указание, понятые, в конце концов!

А тот тычет в исцарапанную стену подъезда:

– Вот, здесь все написано.

Муж желаний:

– А понятые?

В заснеженном тулупе:

– А в понятые возьмем отрывной календарь, скрип новых ботинок на нечетных ступенях да мост за городом, мы мимо него поедem. Этаким Робин-Бобин, ненасытно жрущий и грязные зимние баржи, и реку с мазутной чешуей. Так что и придраться не к чему. Да закутайся получше, спозаранку морозец.

Одевайтесь, спускаетесь вниз, по мокрым следам на ступеньках – у того валенки, пока стоял в тепле, подмокли.

Идете к саням. Переступая через чью-то замерзшую рвоту, спугнули ненароком ворону – вернулась, подпрыгивая, и опять принялась за завтрак.

Муж желаний:

– Кошелек-то забыл!

В заснеженном тулупе:

– Лучше не возвращаться – пути не будет.

Лошади покрыты инеем, обросли снежными бородами.

Сели, поехали. С бубенчиками.

Мимо – еще темный город, подсвеченный снегом. Афиши сходят с заборов, шелушатся, как старая кожа. Плететесь чуть ли не шагом.

Муж желаний:

– Заснул, что ли?

И в ухо ему.

Тот – песню:

– В той степи глухой замерзал ямщик...

И оборачивается, смотрит заснеженными глазницами.

Вы ему снова кулаком в зипун, в ухо, мол, погоняй! А он и рад стараться, дурак, хлещет, свистит:

– Эх, залетные, барин на водку даст!

И мчится тройка птицей.

Выехали в снегопад, сразу облепило. Снег сперва зарядил, потом повалил шапками. Зябко, укачивает.

Только задремали, затрясло по ледяной колоти.

Протираете глаза: переезжают сани через речку по льду. Сквозь снегопад, как сквозь папиросную бумагу – бабы из проруби черпают ведром воду, у другой проруби портки полощут.

Муж желаний:

– Это что же, братец, за интермундия?

Ямщик:

– Лета, барин! Переедем, а там уж недалече.

Муж желаний:

– Какая такая Лета? Чего врешь, дурила!

Тот:

– Иже да како не соврут никак. Это она сейчас, барин, смиренная, а весной в половодье – ух! Как выйдет из берегов!

Едете, оглядываетесь, и ничего такого особенного – а разговоров-то было! И снова укачивает, убаюкивает. Кутаешься и дремлешь. Только заснешь, а уже приехали, вылезай.

А там уже очередь. Пристраиваетесь – кто тут крайний?

На ладони пишут номер шариковой ручкой. Толкаются, подпихивают. Вот стоите и ждете, когда призовут.

Кто-то лезет по сугробу без очереди, его хватают за полушубок, он отбивается. Наст хрустит, как сахар в крепких зубах.

Из дверей:

– Ну куда прешь! Не волнуйтесь, бабоньки, все по порядку будет, все как положено: сперва обвинительный, там, понимаешь, экспертиза, пятое-десятое, опрос свидетелей, прения, последнее слово, приговор, эпилог, так что нечего тут пихаться, а ну подай назад!

Из незакрытого люка в мостовой поднимается столб пара. Во дворе на свежем снегу выбивают ковер – расстелили изнанкой к небу и топчут. Мальчишкам скучно – швыряют льдышки в кирпичную стену, а потом она в белых прыщиках. А мальчишки уже раскатывают дорожку на утоптанном тротуаре, разбегаются и скользят, разбросав руки, толкаясь, падая, хохоча.

Снова снег пошел, летят снежные мякиши, мальчишки, разинув рот, стараются поймать их языком. Снегопад стоит в воздухе густой, рыхлый, впитывая в себя звуки, как губка.

И вот ждете так, поплясывая на морозце, целую вечность, а потом наконец впускают. Входите, топаете ногами, сшибая снежные ошметки, мнете в руках ушанку, оглядываетесь, вытираете рукавом мокрый нос, приглаживаете остатки кудрей.

А там только лотос. И пустые весы. Да весовщик в переднике. С зеленым лицом. Смотрит пристально, сурово. В немытом окне – туман, в открытой форточке – черно-белые ветки.

Вы подмигиваете, шутите, чтобы не так страшно было, мол, лотоса-то столько зачем – при жизни мыли-мыли, не отмыли, а здесь и подавно никакой порошок не возьмет, мол, поздно уже купить мыльца помыть рыльца, как душа черна, так и мылом не отмоешь, как смерд ни мойся, а все смердит, мыться не мылся, а уже угостился.

А он берет ваше сердце и кладет на одну чашу весов, еще черную от картошки, и уже взял перо – чтобы бросить на другую.

Муж желаний, чтобы как-то себя подбодрить:

– Знаем мы ваш суд. Сами, чай, законники. Закон что паутина: муха увязнет, шмель проскочит. Долго держать-то будете? Время-то, смотрите, обеденное. Вон и у вас в животе урчит.

С зеленым лицом в переднике:

– Судиться – не молиться, поклоном не отделаешься. Вот тебе перо, пиши свои показания, все без утайки, про себя и про всех. Нам все важно. А главное, детали, подробности. Здесь такое дело, что важна каждая мелочь. Каждое брошенное на ветер слово. Для нас все, абсолютно все имеет значение. Короче, от того, что ты напишешь, все и будет зависеть.

Муж желаний:

– И про родственников писать?

С зеленым лицом в переднике:

– А ты как думал?

Муж желаний:

– Так они умерли.

Тот смеется:

– Вот чудак попался! Умерший – ни богу свечка ни черту кочерга. Дым есть житие сие, пар, персть и пепел. Следствию нужны материалы, понимаешь? От твоих показаний будет зависеть их участь.

Муж желаний:

– Да что я вам тут, матка боска, Енох, что ли?

С зеленым лицом в переднике:

– А кто тебя разберет?! Вон вас сколько. Все грамотные пошли. Много, знаешь, грамотных, да мало сытых, а вот мы люди неграмотные, да пряники едим писанные. Так что, браток, бери перо и пиши.

Муж желаний:

– Да чего писать-то? Смотри-ка, и перо у них какое-то нечеловеческое, и от чернил душок – купоросные, что ли?

С зеленым лицом в переднике:

– Пиши так. В судьбе участвуют: ржавчина от скрепки, велосипед, беглый солдат, створенные облака и шапка-ушанка с чужой вспотевшей головы.

Муж желаний:

– Написал. Дальше что?

С зеленым лицом в переднике:

– Вспомни, как ты стоял у забрызганного дождем окна, и церковь Рождества Богородицы в Путинках и угол Пушки оказались перевернутыми в капле, а там еще елозил по стеклу мотылек, и ты сдавил его пальцами, и прыснуло молочко.

Муж желаний:

– Господи, да какое это имеет значение?

С зеленым лицом в переднике:

– Тебе не понять. Не задумывайся, просто пиши, что много лет назад ты проснулся и вдруг увидел, что ее рыжие волосы за ночь, во сне, еще больше порыжели. А еще до этого ты зацепил обгрызенным ногтем ее чулок, и побежала дорожка. А еще до этого она подержалась в пруду за столб купальни, помахала рукой и поплыла к другому берегу. А потом вышла полуодетая из кустов – мокрые волосы, юбка набок, не застегнутая сзади кофточка – и позвала: «Где ты? Помоги!» А еще до этого вы опаздывали в Харькове на поезд, и каштаньи лопасти просвечивались на солнце. А еще до этого она, лежа, читала и закинула за голову руку, чтобы поправить подушку, книжка на ее груди то поднималась, то опускалась от дыхания, а ты лежал рядом и смотрел в ее глаза, как хрусталики бегают по строчкам, спотыкаются, замирают, скачут дальше вприпрыжку. А еще до этого ее собака линяла, и все в квартире было в клоках собачьей шерсти, и в ванной ты скатывал эту шерсть, приставшую к брюкам, мокрыми руками к коленкам.

Муж желаний:

– А писать про то снежное поле, по которому собачьи тропки и лыжня, кирпичная от заката? Это было в окне вагона. Мы ездили с ней на студенческие февральские каникулы в Ленинград. Ледяной ветер – невозможно было перейти по мосту Неву. Вечером ходили в театр, и там все чихали и кашляли, и в зале, и на сцене. А в каком-то, не помню, парке сумасшедшие играли на морозе в большие, санаторные шахматы – передвигали фигуры ногами в валенках, кто-то сел на взятую ладью, как на табуретку. В Исаакиевском она сказала про маятник Фуко: «Все это чушь! Земля держится на слонах, китах и черепахе». Потом мы зашли погреться в какой-то магазин, оказалось, писчебумажный. Она взяла резинку и, как в школе, вдруг больно провела мне по волосам.

С зеленым лицом в переднике:

– Вот-вот, все ты понял, а прикидывался! И еще не забудь про легкое звяканье спиц в тишине, иголки, заколотые в занавесках, зализанную наискосок мельхиоровую чайную ложку, китайку, которую нужно брать прямо за хвостик. Помнишь, когда провожали твоего старшего брата в армию, мама обняла Сашу и все никак не отпускала, а потом на ее щеке отпечаталась пуговица? И как на эскалаторе сквозняк надул мамину юбку парашютом – она мяла юбку рукой, сумочкой, но купол только пружинил. И как потом, когда все случилось с Сашей, она капала, забыв снять с пальца наперсток, на кусок сахара валерьянку. И про отца, как ты догонял его в Ильинском лесу на велосипеде, а мошка тебе ударила с лета не в бровь, а в глаз. И как отец перед смертью упал с кровати и закричал: Зина, включи свет, я ничего не вижу! А Зинаида Васильевна ему: Павлик, да что ты, солнце же! И про Олежку. Помнишь, ты стриг ногти, а сын брал с постеленной на стол газеты обрезки и приставлял их к своим пальчикам? А на даче вы смотрели из открытого окна на веранде, как ливень сек кирпичи, которыми выложена дорожка, и расчесывал, как пальцами, траву на пробор, и у Олежки был приклеен «нос» – из стручка клена. И еще ты с ним в другой, жаркий день, помнишь, валялся на траве, под кустами, в углу участка, у щелястого забора – вы прятались от Светы – и березовый лист, повиснув на паутинке, дрыгал ножкой. Света звала вас, а вы лежали, притаившись, и смотрели, как по веткам смородины проворно сновали муравьи, будто матросы по мачтам, а по заросшему мхом кирпичу ползла улитка, тычась в мир своими икринками. В листе настурции сверкала капля. Олежка осторожно сорвал его, поднес к губам, и капля скатилась в рот, а потом он понюхал лист, сухой и пахучий, сунул тебе под нос, вскочил и заорал: «Мама, мама, мы здесь!» А еще помнишь, вы всегда вместе ходили на колонку за водой – ты несешь большие ведра, а он свои, маленькие – с большими листьями лопуха сверху, чтобы не расплескать.

Муж желаний:

– Помню. Как же не помнить, куда же все это может пропасть? А еще перегорела лампочка, и Олежка тряс ее над ухом – ему нравилось слушать, как звенит спиралька. И что, про ту спиральку тоже писать?

С зеленым лицом в переднике:

– Разумеется. Может, это и есть самое важное.

Муж желаний:

– А потом, что будет потом? Меня оправдают?

С зеленым лицом в переднике:

– Нет. Ни тебя, ни ту, с рыжей косой, ни твоего отца-моряка, ни твою маму-училку, ни твоего сына с пахучим затылком, никого. Да чего спрашивать, будто сам не знаешь. И приговор будет на всех один. Смерти ведь – и дурак знает – нет, но есть разложение тканей.

Муж желаний:

– Что же тогда делать?

С зеленым лицом в переднике:

– Экий бестолковый попался! Да вот же тебе, говорю, перо! Пиши: так, мол, и так.

Но я, кажется, друзья мои, немного отвлекся. Что же касается М., то кто из нас, положив руку на сердце, не был таким вот М. лет тридцать назад. Нет, это были не мы, это кто-то другой, знакомый нам лишь по давно разбитым зеркалам, одетый в наше тело, жил в ободранной студенческой комнатке с видом на брандмауэр, что зарос диким виноградом. Осенью виноградная стена напротив краснела, а зимой в солнечные дни по ней стелилась густая тень от дыма из трубы нашего дома. И воротнички стирал сам, а для сушки налепливал мокрые на оконные стекла. Когда на следующий день отдирали – походили на глаженные.

Да и тело-то, приглядитесь, не наше – нет шрама от аппендицита, волосы не наши, кожа, руки, ноги, глаза – все не наше. Встретились бы на улице – не узнали друг друга. А что имя одинаковое, так мало ли однофамильцев. Вон в телефонной книге их – как собак нерезаных.

А может, его и не было вовсе, может, это мы просто себе что-то придумываем.

Просто воображаем себя каким-то невыспавшимся юношей с отмороженными ушами, который бежит с Козики по снежку Большой Никитской и у витрины кондитерской Меджиди останавливается на минуту в зацепившемся за воротник облачке своего пара, а потом бежит дальше.

Ну да, стоим тут перед вами на скрипучей кафедре, изрезанной скабрёзностями, и придумываем: снег на Никитской, кондитерскую, урчание в желудке, пирожные в заиндевшей витрине, нашего профессора анатомии Энгельгардта, как он на первой лекции схватил тарелку с препаратами и понес ее по рядам, неистово крича:

– Ткните! Ткните пальцем! Или вон отсюда!

Тогда только, на первом курсе, и рассмотрел толком женское тело. Спустился в первый раз в анатомичку – помню, там кто-то ножом соскабливал кожу с чьей-то отрезанной руки, густо покрытой татуировкой, – и как раз привезли семнадцатилетнюю татарку с бритым лбом, шлепнули на мраморный скользкий стол. Я смотрел на нее, смотрел, а потом ушел, а она там осталась лежать, с отпиленным поверх бровей черепом.

Еще придумываем одну девушку, которой давным-давно уже нет на свете. У нее были рыжие волосы, на свету совсем медные.

Юноша занимался с ней латынью, готовил к экзамену, но каждый раз занятие заканчивалось одним и тем же.

– Наверно, это что-то в латыни, – сказала она один раз, натягивая свой зеленый чулок на растопыренную пятерню и рассматривая его на свет, нет ли дырки.

Господи, сколько же лет назад это было, а земноводная лапка с прозрачными перепонками добралась даже до этой страницы.

Помню, она однажды пришла из больницы, где у них была практика, и расплакалась. Я все допытывался, что случилось. Оказалось, она взяла с собой поесть из дома и сидела в пустой проходной комнате, а из соседней палаты доносились стоны умирающего. Мимо шел пожилой врач – видит, что она не может прикоснуться к еде, и говорит ей:

– Да вы не слушайте! Нужно уметь не слушать!

И я, дурак, засмеялся, когда она это рассказала. И как забыть тот ее взгляд – она так странно в ту минуту на меня посмотрела.

Или вот еще.

Это было в то наше первое лето, мы поехали на велосипедах к загорянской мельнице, она жила тогда с родителями на даче в Опалихе. Был жаркий день, обложенный по бокам грозой, где-то все время гроыхало. У Васильевки сломался ее велосипед – что-то хрустнуло в заднем колесе и заклинило, так что даже невозможно было катить. Пришлось возвращаться пешком и держать велосипед за заднее сиденье на весу. Пока я пытался что-то починить, весь перемазался, и на рубашку и брюки было страшно взглянуть. Она оседлала мой велосипед и катила на нем, как барон фон Драйз – отталкиваясь от треснувшей на солнце грязи

то одной ногой, то другой. Она уезжала вперед и поджидала меня, расставив голые ноги в босоножках – рама натягивала ее юбку, как криолин. Я догонял ее и целовал в виски, где сверкали прилипшие от пота волосы, или в плечи под бретельками летней блузки, красные, обгоревшие, или в пересохшие на жаре губы. Я смотрел, как она катит по пыльной раскаленной дороге семимильными шагами мимо клеверного пахучего и звенящего поля, как виляет и скачет на окаменевшей колее ее переднее колесо, как она оглядывается, машет мне рукой, мол, где ты там, давай быстрее, и все никак не мог поверить, что она, такая недоступная, мечтаемая, уже с самого вчерашнего утра – моя, что я могу трогать ее волосы, ноги, грудь. Все казалось невозможным, что это ее вещи валялись на полу в моей неметеной комнатке, что это она куталась в одеяло в моей застигнутой врасплах посеревшей постели, что это ее руки подложили на простыню кухонное полотенце. Она взглянула на свои юркнувшие на мгновение под одеяло пальцы и сказала:

– А где же кровь?

У нее было серьезное лицо, будто о чем-то думала, а мне представлялось все каким-то странным сном – что я в ней, что она – в моих объятиях, что выкипает на кухне чайник, что вижу в ее приоткрытом рту пломбу в зубе.

Там, в клеверном поле, она поджидала меня на пригорке, перегородив велосипедом дорогу и закрыв юбкой напозавшую грозу. Она крикнула что-то вроде:

– Ты посмотри только, что сейчас будет!

И теперь, через столько лет, слов, стран и смертей, вижу наяву, как черное, громышающее, в отвесах невидимых еще молний небо вырастает за ней с каждым моим шагом.

М. – это Мотте. Владимир. Владимир Павлович.

Майский дождь перемежался со снегом. Купленная в дорогу газета размокла, слиплась. В здании вокзала было душно, еще топили, а может, и просто надышала толпа.

В поезде за окном то зима, то черная слякоть до горизонта.

В дневник через два дня Мотте записал:

«Что ж, вообразим себя Миддендорфом, Гумбольдтом, на худой конец Палласом. Хотя я – вот он, здесь, с промокшими ногами, с гнилым бесшумным дождем вокруг, с этим блокнотом-гербарием для захлопнутых комаров, а Паллас – где он?»

В самоедских деревнях Мотте принимали за начальство. Делали все, что он говорил, безропотно, покорно, не спрашивая, что за измерения он проводит и зачем. Подставляли молча грязные головы, поднимали рваные засаленные рубашки, протягивали детей, а когда те принимались кричать, били их.

В первую же ночь Мотте обворовали. Хозяин избы, уже с утра пьяный, уверял, что ничего не брал. Когда же Мотте все-таки нашел припрятанный среди хлама за печкой тазомер Боделока, самоед еще захотел и выпить с Мотте на радостях, а на отказ обиженно прогнусавил:

– Ты, бачка, не наш, не русский!

«Туземный народец, обитающий по склонам этих заросших туманами сопок, – записывал Мотте, – находится, пожалуй, в расцвете своего вырождения вследствие бесконечных скрещиваний с беглыми, которые бродят в одиночку и шайками по окрестным лесам, а на прошлой неделе прирезали врача, возвращавшегося на подводе в Солуны, здешнюю столицу. А может, и в наказание за то, что жгут по ночам, спасаясь от комаров, собачий кал. К тому же пагубное влияние повального пьянства, передаваемое через семя отца и молоко матери, не могло не сказаться на антропологическом типе. Вместо уникальных черт лица, присущих во всем мире только этому генетическому оазису, добросовестный исследователь обнаружит лишь испытые хари. Туземные обряды ограничиваются мордобоем и поножовщиной. Легенды забыты. Женщины все – лептосомы, мужчины – пикноиды. Что ни семья, то

коллекция черепов на любой вкус: от платицефальных аномалий до пахикефальных. У всех детей рахит, микромелия. При этом обычный размер тестикулов аж седьмой. От грязи, как следствие, кожные болезни – чесотка, лишай, коросты, фистулы, язвы. А сколько пришлось насмотреться всяких уродств, патологий».

Мотте ездил по деревням кругами, возвращаясь каждую неделю на метеорологическую станцию – бревенчатый дом на полузатопленном острове посреди болот.

– Какое счастье, Мария Дмитриевна, – говорил Мотте за ужином, – спать на постели в человеческом жилище, пользоваться для еды настоящей посудой, пить чай из чашки с блюдцем, утром слышать: «Доброе утро!» Вечером: «Спокойной ночи!»

– Да вы кушайте, Володя, потом наговоритесь!

В дневник Мотте записал:

«Забавные, но милые. Филемон и Бавкида, хранители храма верности и вечной любви. Оденется в зелень Бавкида, рот ей покроет листва. А я – посетивший их странник, попросивший о ночлеге. Она даже хороша для своего возраста, да и Д. не так стар, как выглядит. Однако, похоже, болезнь скоро загонит его. Зимой Мария Дмитриевна возила его в город на операцию, и вот с тех пор он ходит с катетером, вставленным через дырочку в животе прямо в мочевого пузырь, и с бутылочкой в пришитом к штанам кармане, куда стекает моча. Запах окутывает его, как облачко. Впрочем, у него и с головой не все в порядке».

Мария Дмитриевна предупредила Мотте о муже:

– Вы только не обращайтесь внимания. Он заговаривается. Пожалуйста, делайте вид, что слушаете его. Ему это очень нужно.

– На свете существует десять тысяч живых языков, Евгений Борисович, – сказал Мотте, когда после чая вышли посидеть на крыльцо, – и еще Бог знает сколько мертвых. Зачем нужен еще один – не понимаю.

– Вот в этом-то все и дело, – вспыхнул Д., – в непонимании! Каждый отделен от другого стеной непонимания! И отсюда все обиды, ненависть, ложь и невозможность любви. Вот первопричина зла, живущего в человечестве. А единицей непонимания является слово. Вы произносите слово и вкладываете в этот дрожащий кусочек воздуха свой сокровенный смысл, исходящий из опыта прожитой вами до этого слова жизни, и с каждой минутой, с каждым вздохом меняется смысл произносимого. Даже если вы будете твердить одно и то же. Одно и то же слово, сказанное вами в начале жизни и в конце, означает совсем разные вещи. А это значит, что не только другой не может понять говорящего, не прожив его жизни, но и вам недоступно понять себя ни прошлого, ни будущего. Вот отчего все говорят что-то, и никто никого не понимает. И чем больше слов, тем сильнее путаница!

Крыша протекала. После дождя все стены были мокрые. Обои над головой Мотте превращались в географическую карту. В причудливых разводах можно было разглядеть горные нагромождения, изрытые глубокими верткими руслами, равнину, прибитую гвоздем, еще не высохшие низменности.

«У меня есть чудо-карта, – записал Мотте в свой блокнот. – Сырые места на ней отмечены сыростью. Путешественник не ступит по этой неизвестной еще стране и шага, чтобы не наткнуться на первобытные останки зазевавшихся комаров. Я открываю эту землю каждое утро, проснувшись. Лежу под нагретым одеялом, вставать не хочется, и вот брожу по ней взглядом, прокладываю маршруты от края до края. Географы, не сомневаюсь, назовут ее Земля Мотте».

Мария Дмитриевна рассказывала, что в городе у мужа были неприятности с начальством.

– Он писал в Москву о всех этих безобразиях, и оттуда прислали бумагу во всем разобраться. А кто должен разбираться? Да, конечно же, те, на кого он и жаловался. И вот его

попросту затравили. Выгнали с работы. Нанимали хулиганов, чтобы били его на улице. Каким-то чудом подвернулась эта станция – никто не хотел сюда ехать.

– Но ведь, наверно, скучно здесь, в безлюдье, – сказал Мотте.

– А мне это безлюдье, честно признаться, Володя, – сказала Мария Дмитриевна, – нравится больше. Когда никого нет – для души покойнее. А теперь, после операции Жени, я еще и всеми измерениями и отчетами занимаюсь и могу сообщить вам, если, конечно, хотите, и среднее за пять лет количество осадков, гроз, дней с градом, и когда выпадает последний снег весной и первый осенью, и последний день, после которого не бывает ни дождя, ни оттепели, и последнюю ночь, после которой температура не поднимается выше нуля. И все это, пусть никому и не нужно, но все-таки человечнее. А от людей чего ждать-то? Вот посадила под окном флоксы, а из деревни ночью пришли и побили палками.

С отчаянной одержимостью она пыталась придать таежному быту хоть какой-то благообразный вид. Занавески, салфетки, цветочки в баночках, чистая скатерть – все показалось Мотте бессмысленной роскошью среди болот, тем более что поддержание этого нездешнего порядка было для стареющей маленькой женщины не по силам. Особенно поразила Мотте супница, в которой подавали щи к обеду. Даже есть садились всегда в одно и то же время.

– Чтобы не превращать дом в кабак, – было полушутливое объяснение, – где можно есть когда угодно.

– Мария Дмитриевна, – сказал Мотте, – зачем вы не жалеете себя? Вы же с утра не присели.

Она засмеялась.

– Чтобы, Володя, не оскотиниться вконец и не проснуться в одно ужасное утро само-едом.

Мотте рубил дрова, носил воду.

Мария Дмитриевна говорила:

– Ну что вы, Володя, не нужно! Я сама.

Он смеялся.

Она невесело улыбалась:

– Спасибо вам. Мне так трудно одной.

После ужина Мотте помогал ей мыть посуду. Потом они выходили, садились вдвоем на ступеньки крыльца и подолгу разговаривали.

– Как хорошо здесь у вас! – вздыхал Мотте. – Смотришь на эти сосны, на эти звезды и обо всем забываешь. Потом взглянешь на календарь и будто возвращаешься из другого времени.

– То, что вы видите в календаре, Володя, – говорила Мария Дмитриевна, штопая на яйце носок мужа, – это типографская опечатка. На самом деле мы живем в Египте. Проводим каналы, строим пирамиды, мумифицируем фараонов. Рабы обожают своих тиранов, обожествляют их. Каждый отдельный сам по себе не существует, не положено, не дадут, а если и существует, то по недоразумению – мычащая песчинка в пустыне. Мир еще безжалостен, и ближнего еще не любят. Так и сгинем все бесследно – от безлюбья. Останутся только фараоновы мощи с кишками, упакованными отдельно, в мешочек. Его-то любили искренне, беззаветно.

Однажды, думая, что в комнате никого нет, Мотте открыл дверь, не постучавшись. У Марии Дмитриевны была маска на лице из травяной кашицы. Она вздрогнула, отвернулась, чтобы он не смотрел на нее, но там было зеркало. Тогда она набросила на голову полотенце и сказала:

– Пожалуйста, не смотрите.

Вечерами, стоило только Мотте устроиться полистать старые журналы у лампы с живым абажуром из мотыльков, как тут же подсаживался старик.

– Послушайте, Владимир, но только прошу вас, отнеситесь к тому, что я сейчас скажу, серьезно. Я раскрыл заговор слов. Нам только кажется, что мы владеем словами по какому-то не нами установленному закону, как движениями своей руки, как мыслями, как воздухом, как дыханием. А на самом деле все наоборот. Ведь на самом деле дыхание владеет нами, а не мы им. Так и со словами. Мы – лишь форма существования слов. Язык является одновременно творцом и телом всего сущего. Произнесите любое слово, самое затрапезное, хотя бы то же «окно». И вот оно, легко на помине – двойные зимние рамы, высохший шмель, пыль, забрызганные краской стекла. Да что там окно! Взять, к примеру, меня или вас. Мы ведь для слов не больше, чем податливый материал. Господи, да мы сами слова!

После каждого дождя карта Земли Мотте меняла свои очертания или вовсе переползала то к окну, то к двери.

В редкий солнечный день Мотте залез на чердак. Лучи пробивались сквозь дырявую кровлю и подпирали ее, как свежеструганные слуги. Мотте через слуховое окно полез чинить крышу, устланную полусгнившей скользкой хвоей, сорвался и при падении растянул лодыжку.

Мария Дмитриевна крепко перевязала ему ногу и два дня не разрешала вставать.

– Мария Дмитриевна, вы ухаживаете за мной, как за сыном.

– Ерунда, благодарите Бога, что пустяком отделались!

Перед тем как ложиться, она постучалась к нему:

– Володя, вы еще не спите? Как ваша нога?

– Да черт с ней, Мария Дмитриевна, зайдите, сядьте. Поговорите со мной.

Она села на край кровати, погладила Мотте по голове.

– Ну, о чем же мы будем с вами разговаривать?

– О вас, о Евгении Борисовиче.

– Ну что вы, Володя, зачем?

– Вы так трогательно ухаживаете за этим сумасшедшим. Посмотрите на ваши руки – вы изводите себя бесконечной стиркой, чтобы каждое утро ему среди этих болот была свежая сорочка. Потворствуете диким его причудам – варите этот вонючий калмыцкий чай с маслом и луком, от которого, я же вижу, вас воротит. Берете выносить полную бутылку, а он держит свою трубочку концом вверх, и все говорит, и тычет ею, как пальцем в небо.

– Замолчите, Володя. Вы просто молоды и потому злы, никого не любите и не боитесь смерти.

Она поцеловала его в лоб.

– Спите! Спокойной ночи! Я пойду.

На дальней сопке Мотте обнаружил самоедское кладбище. Своих покойников они заворачивают в рогожи и развешивают на деревьях.

Через неделю Мотте и Мария Дмитриевна снова засиделись после позднего чая. Марля на окне, облепленная комарами, дышала на сквозняке. Д. за стеной задышался, отхаркивался, сплевывал в баночку, бормотал что-то.

Ходики били полночь, а они все сидели у лампы, отбрасывая огромные, в полкомнаты, тени. Мария Дмитриевна тасовала карточки с измеренными самоедами, будто они короли и дамы.

– У вас, Володя, наверно, есть невеста? Не таите!

– Была.

– Неужели она вас оставила? – спросила игриво.

Мотте усмехнулся:

– В некотором смысле. Дело в том, что ее больше нет.

Мария Дмитриевна замахала рукой:

– Володечка, простите меня, старую дуру! Плету сама не знаю что. Я вовсе не хотела сделать вам больно.

– Ничего страшного. Оказывается, Мария Дмитриевна, можно пережить абсолютно все. И потом сидеть и заполнять эти никчемные карточки как ни в чем не бывало. И слава Богу. Так и должно быть.

Перед сном Мотте записал в дневник:

«Ее нет уже больше года.

То забудешься, то опять вдруг нахлынет.

Вот мы бежим тогда, в Харькове, на поезд, и она еле успевает за мной, замотав косу вокруг шеи, чтобы не трепалась.

А вот она босиком подошла ко мне – без каблуков стала меньше. Зеркало в их ванной, стоило только пустить горячую воду, зарастало паром. Вот она лезет в воду – босоножка пристала к ступне – несколько раз дернула ногой, чтобы сбросить. Вода в ванне зеленая, и нога преломляется в ней. Она говорит:

– Смотри, как чайная ложечка».

– Я писал Шлейеру, я писал Заменгофу, – говорил Д. за завтраком. – Они даже не ответили мне. Я хотел объяснить им все, я хотел предостеречь. Я писал пастору: Вы думаете, наивный мой человек, что сочиненный Вами волапюк спасет мир от непонимания, Вы счастливы, что выдуманная Вами грамматика позволяет образовать от основы «любить» сто одиннадцать форм. Ха-ха! Как бы не так! Справедливо полагая, что зло, происходящее от недоразумения, от невозможности что-либо объяснить, имеет своим физическим телом язык и передается словами от человека к человеку, используя его как питательную среду – так наездники вспрыскивают свое потомство в ничего не подозревающих тлей-простух, – ибо смысл самих слов в непонимании, ведь для тех, кто понимает, слова не нужны, возьмите хотя бы мать и дитя, можно ли быть более близкими друг к другу, но с первыми же словами между ними начинается их будущее отчуждение, и вот, установив, что язык есть средство размножения зла и передачи его по пространству и времени, Вы, дорогой мой, хотите прервать эту бесконечную цепь лжи, создав новый язык всеобщего понимания! Браво! Чудесно! Восхитительно! Но только как же Вам невдомек, что переводом слов Вы переводите и непонимание! Что же получилось? Почему ваш волапюк попросту обречен? Да потому, что слова надули Вас, милейший, обвели вокруг пальца! Вы лишь перелили отравленную настойку из одного сосуда в другой, не более того! И Вы, господин Заменгоф, писал я варшавскому доктору, и Вы не приблизились к цели ни на йоту! Даже наоборот! Вы хотели путем вивисекции: лишнее отрезать, удачное прирастить – вывести породу слов, в жилах которых течет чистая, незараженная кровь – увы! Нашли дураков! Я-то вас раскусил! Отказываясь от тысячи возможных падежей, от бесчисленных чисел, я не говорю уже о залогах, модусах, родах, видах, Вы думали воссоздать тот самый чистый, ясный язык, которым говорил Бог с человеком до Вавилонской катастрофы, так сказать, вычленив из скверны рассыпанное и перемешанное Его рукой по нашим каркающим и шепелявящим наречиям, и таким механическим образом очистить мир от зла – и что? Или, предположим, время. Это такая штука, господин Заменгоф, что оно может быть каким угодно, и не только там каким-нибудь растянутым будущим или давнишним предпрошедшим. Его может, к примеру, и не быть вовсе. Как Вы объясните, что вдруг, допустим, среди лета идет снег, валит, как в опере, когда вместо того, чтобы сыпать пригоршнями, опрокидывают целый мешок. Все кругом на глазах белеет, да так, что невозможно удержаться – берешь лыжи и бежишь до ближайшей сопки, а там вдруг поле. И никакого снега. Буйная трава, злаки, ячмень, полба – и знаешь, что всегда это было, что целую вечность идешь так на лыжах вдоль подтаявшей границы, по ту сторону которой что-то не так со временем, исчезло, будто просыпалось в какую-то прореху. Идешь по скрипучему

снежку, отталкиваешься палками, вдыхаешь морозный воздух, щеки горят, а сам все оглядываешься, вдруг вон там, за снежной стеной, за тем кустом орешника, затаился беглый!

Вечером не читалось. Д. ушел к себе. Мотте показывал Марии Дмитриевне шкалу Фишера. Она трогала замусоленные прядки осторожно, кончиками пальцев. Потом намотала свой локон на палец и стала сравнивать.

Мотте протянул руки, его пальцы вошли в гущу ее волос.

– По форме черепа, Мария Дмитриевна, можно узнать все о человеке и через тысячу лет.

Она усмехнулась:

– Так долго ждать?

– Вы хотите узнать о себе правду? – спросил Мотте.

– Я и так ее знаю. Скажите лучше, откуда в вас берется зло?

– Положите ваши руки мне на голову. Чувствуете, вот здесь, на ладонь от уха, слева и справа – это дьявольские бугорки, здесь оно и хранится, если верить Галлю.

Так они сидели, его руки в ее волосах, ее ладони на его висках, в правом глазу лопнувший сосуд, в каждом зрачке отражалась лампа.

Она сказала:

– Просто удивительно, как вы похожи на Евгения Борисовича в молодости. Подождите, я сейчас принесу фотографию.

Однажды Мария Дмитриевна разбудила Мотте среди ночи.

– Володя, проснитесь, там кто-то ходит, слышите?

Мотте бросился к окну, вглядывался в темноту, но ничего не заметил. Он быстро оделся.

– Я выйду посмотрю.

Мотте взял в сенях топор.

– Только, ради Бога, осторожно! Я пойду с вами.

Они вышли на крыльцо. Прислушались. На дворе было пусто.

Мотте опустил топор.

– Никого, Мария Дмитриевна, вам показалось. Идите спать. А я на всякий случай еще тут посижу.

Она вдруг схватила его за руку.

– Вот, слышите! Опять!

Откуда-то донеслись странные звуки, будто приглушенные стоны.

– Это из сарая! Они в сарае!

Мотте с лампой в одной руке и с топором в другой подошел к сараю.

– Эй, есть тут кто?

В ответ снова раздался стон, только какой-то странный, будто плакало какое-то маленькое животное.

Мотте открыл дверь, скрипнувшую в ночи громко, до рези, и поднял лампу. За дровами что-то шевельнулось, спряталось.

Он подошел поближе.

– Мария Дмитриевна, идите сюда!

«Вчера ночью к нам пожаловали гости, – записал Мотте. – Молодая баба из самоедской деревни с новорожденным ребенком. Ничего от нее добиться невозможно – ни что случилось, ни от кого она скрывается. Молчит. Только трянула рукой пустую грудь. А может, и немая. Опять патология. Зобастая уродка».

Выходить из-за поленницы в сарае баба, замычав, отказалась. Сверток тряпья, в котором был ребенок, Мария Дмитриевна и Мотте отняли у нее и принесли в дом. Положили

на стол, стали осторожно разворачивать. Это оказался мальчик. Сразу завопив, он пустил струйку по воздуху.

Бросились разжигать огонь, ставить воду, кипятить молоко. Мария Дмитриевна выбросила грязные тряпки и посадила Мотте резать простыни на пеленки. Младенцу было недели две-три, отгрызенный пупок давно зажил. Это был крепкий и на первый взгляд здоровый мальчик, причем с изрядным аппетитом, так он впился в рожок.

Они помыли его в тазу. Мария Дмитриевна лила сверху воду из кувшина и мыла его, а Мотте держал ребенка – крохотное тельце целиком помещалось на его ладонях.

Ребенка поселили, за неимением лучшего, в большую корзину. Жизнь закрутилась теперь вокруг человечка, что посапывал под марлей. С утра до ночи Мария Дмитриевна и Мотте мыли, кормили, стирали, гладили, кипятили. Мальчика она сразу стала называть Сереженькой. Мотте спросил:

– Почему Сереженька?

Мария Дмитриевна пожала плечами.

Один раз Мотте хотел приласкать младенца и поднес его к лицу, а тот жадно впился ему в подбородок и стал сосать.

Уродка поселилась теперь у них. У нее были огромные тупые глаза навывкате и раздутый зоб, из которого росли черные курчавые волосы. Она ничего не говорила, только мычала и требовала все время, чтобы ей дали Сереженьку. Мария Дмитриевна выносила ей корзину с мальчиком во двор. Мать садилась рядом, качала ее и мычала что-то заунывное, будто пела.

Когда ребенок просыпался, она брала его на руки и счастливо гоготала, когда крошечные ручки, болтаясь по воздуху, хватали ее за щеки, нос, курчавую редкую бородку. Потом вынимала свою пустую грудь, похожую на носок, и совала ему в рот.

Мотте боялся оставлять ее наедине с ребенком и всегда старался быть где-то поблизости.

– Вообще странно, – сказал он Марии Дмитриевне, – чтобы у нее могло что-то родиться.

Когда Мария Дмитриевна пыталась объяснить самоедке, что ей нужно вернуться обратно, в деревню, и показывала в ту сторону пальцем, уродка начинала испуганно дрожать и мотать головой. Мария Дмитриевна говорила, что пойдет вместе с ней, что ей нечего бояться, что они во всем разберутся и в обиду ее не дадут, но та только мычала и тряслась. Решили пока оставить ее в покое и приглядывать за ней – боялись, что она может убежать куда-нибудь с Сереженькой.

Мотте почти без перерыва носил воду, колол дрова, кипятил ведра. Мария Дмитриевна научила его пеленать, и он с неизвестным и неожиданным наслаждением менял подгузники и заворачивал горячее бархатное тельце в свежие, пропахшие ветром пеленки. После кормления он ходил с младенцем по комнате и держал на плече, чтобы срыгнул. Неумелые мышцы лица корчили уморительные рожицы, Мотте и Мария Дмитриевна то и дело подходили и наклонялись над корзинкой смотреть на своего Сереженьку. Сначала она стала так говорить, а потом и он: «Наш Сереженька». Когда не было дождя, Мотте выносил корзинку во двор и накрывал от комаров марлей.

День и ночь смешались, потому что по ночам Сереженька вдруг принимался кричать и иногда не мог успокоиться до утра. Тогда по очереди Мотте и Мария Дмитриевна ходили часами по комнате и укачивали его.

Однажды Мотте увидел, как самоедка разглядывала его инструменты, и подарил ей лупу. Теперь она часами сидела на крыльце и выжигала солнцем через увеличительное стекло на ступеньках какие-то червячные узоры.

Иногда к корзинке подходил Д., всматривался, приподняв марлю, в ребенка, вздыхал и снова шаркал к себе.

«Некогда писать, – записал Мотте в дневнике. – Устаю, как собака. Собственно, меня ничего здесь не держит. Давным-давно ведь все уже сделал и каждый день говорю себе, что завтра соберу вещи и пойду на станцию».

Потом зарядил беспросветный дождь на неделю. Мария Дмитриевна сказала, сбросив мокрую накидку и потрясая какой-то мензуркой:

– Уже на пятнадцать миллиметров больше, чем за все время! Похоже, Володя, нам хотят устроить всемирный потоп.

Крыша протекала в нескольких местах. Всюду были расставлены тазы, ведра, банки. По ночам по всему дому звенела капель.

Мокрый ландшафт над кроватью Мотте менялся каждый день.

Пеленки, высухавшие на солнце за несколько минут, сутками висели в комнате сырыми, а когда топили печку, от них шел тяжелый пар. Было сразу и удушливо, и зябко.

Все кругом скрылось под водой. Они оказались на островке. Ветер нагонял волны, и протекающий дом плыл куда-то.

– Вот видите, Мария Дмитриевна, – сказал Мотте. – Их всех зальет а мы только и спасемся. В какой стороне Арарат?

– Увы, Володя. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Давайте я доглажу, а вы отдохните.

«Сереженька заболел», – записал Мотте.

У мальчика начался жар. Его заворачивали в мокрую простынку, чтобы сбить температуру. Мария Дмитриевна натирала ему грудь мазью, поила с ложечки отваром. Нужен был врач, но по такой дороге идти на станцию было невозможно.

Так прошло два дня. Ничего не помогало. Самоедка хныкала в сенах. Мария Дмитриевна, измучившись, прилегла. Мотте сидел у корзинки. Ему вдруг стало страшно, что Сереженька прямо сейчас, у него на глазах умирает, а он ничего не может сделать.

Рядом присел Д., побарабанил ногтями по стеклу своей бутылки.

– Поверьте, Володя, я перепробовал все. Пытался составлять единицы речи из цифр, из нот. Сольля – время. Сольлядо – день. Сольляфа – неделя. Сольлясоль – месяц. Можно изъясняться на любом инструменте, имеющем гамму. Или возьмите семь цветов радуги. Бесчисленное сочетание их дает возможность хоть что-то объяснить, но, увы, опять без какой-либо надежды быть понятым. Тогда я пошел по другому пути. Что может быть проще языка жестов? Ткнуть пальцем в свою грудь – я. В твою – ты. Закрывать глаза – ночь. Открыть – день. Или цвета: черный – вот он, грязь под ногтями, красный – оттянуть пальцем вниз губу. Птица – взмахнуть руками. Отец – провести ладонью по щеке, будто бреешься. У меня от отца осталось только одно воспоминание, как он брился, глядя на меня в зеркало, мне было два года. Но, с другой стороны, чтобы сказать: я умер – нужно лечь и умереть. Чтобы объяснить сложные вещи, нужен сложный язык. Однажды мне показалось, я нашел то, что искал. Первая буква каждого слова, например, согласная, говорила о понятии самое главное – от Бога оно или от человеческой грязи. Вторая буква, гласная, уточняла, допустим, вещественное это понятие или идеальное, и так далее. Причем, как любое целое состоит из частей, так любое слово, самое маленькое, состоит из уточняющих понятий. Вот хотя бы этот вечер, который сейчас еще есть, а больше никогда не будет. Чтобы объяснить его, недостаточно ни календаря, ни времени суток, ни погоды, ни географии, ни этого полумрака. Придется объяснить вас, меня, вот эту корзину. А кто вы? Кто я? Кто в этой корзине? Стоит только потянуть за эту ниточку – и конца не найдешь.

Сидеть и ждать, когда с Сереженькой случится непоправимое, было невозможно. Как только в недельном дожде стали проявляться просветы, Мотте поцеловал мальчика в потный лобик и отправился на станцию. Дорогу размыло, везде под деревьями стояла вода. Он шел целые сутки, несколько раз проваливался по пояс в болотную жижу. Когда же наконец

добрался до Солунов, выяснилось, что доктор, который должен был заменить зарезанного весной беглыми, еще не приехал и вообще вряд ли приедет.

– Как же так? – сказал Мотте. – Что же мне теперь делать?

– Вот там рукомойник, – сказали ему. – Поешьте с нами картошечки, вот только сварили, выпитесь, а завтра пойдете домой. Бог даст, ребеночек ваш выздоровеет. Да и не переживайте вы так, все будет хорошо, вот увидите!

Мотте, не присев, потащился обратно. Его охватывала злость, бешенство от усталости, от голода, от снова полившего дождя, от собственного бессилия.

Уже издали Мотте увидел – что-то произошло. Повален забор. Побиты в окнах стекла. Он взбежал на крыльцо, распахнул дверь.

Мария Дмитриевна сидела в комнате на полу и смотрела в одну точку.

– Володя, это вы? – спросила, не отрывая взгляда от стены.

– Что происходит? Где Сереженька?

– Пришли из деревни, сказали, что она украла ребенка, и забрали его. Так что все хорошо. Умывайтесь и садитесь есть. Они, правда, перебили всю посуду. Целый день вот убираюсь.

– А где же она?

– Слава Богу, убежала, а то бы ее забили. Даже мне немножко досталось, но ничего, до свадьбы заживет.

– Что с вами, Мария Дмитриевна? Вам помочь?

– Нет, ничего, просто глаза застоялись, сейчас встану.

Мотте стал есть гречневую кашу с молоком. Все ел и ел и никак не мог наестся – то подливал еще молока, то подкладывал каши.

Потом завалился на кровать и заснул.

Мотте спал долго, сутки, а может, и больше.

Его разбудила Мария Дмитриевна:

– Володя! Володя, помогите мне, там Евгений Борисович...

За окном было темно. Мотте вскочил, пошел за ней в их комнату.

Старик ночью на улицу не ходил, а пользовался ведром, на которое сверху клал кружок. Евгений Борисович упал и лежал посреди комнаты со спущенными штанами, пытался встать и не мог. Бутылочка разбилась. Из опрокинутого ведра жижа разлилась по полу. Евгений Борисович смотрел на Мотте растерянным виноватым взглядом.

Мотте и Мария Дмитриевна стали поднимать грузное тело. Под ногами трещали осколки. Мотте поскользнулся и чуть не упал. Кое-как положили старика на кровать, перепачкав всю постель.

Мотте принес воды. Евгения Борисовича помыли, поменяли белье.

Пока Мария Дмитриевна возилась с мужем, Мотте стал мыть пол.

– Что вы, Володя, бросьте, я все уберу!

– Замолчите.

Уже начало светать.

Мотте долго мыл руки, но запах въелся намертво. Мотте снова намыливал и снова смывал. Все кругом пропахло – и пол, и вещи.

Потом присели рядом на диван. Нужно было идти досыпать, но не хватало сил встать. Мария Дмитриевна положила ему голову на плечо.

Так они сидели долго, слушая часы и глядя, как в комнате становится все светлей.

– Володя, – сказала Мария Дмитриевна, – не уезжайте. Я не смогу без вас. Не смогу.

Она встала и ушла к себе.

Мотте тоже лег. Пытался снова заснуть, но не мог.

Несколько раз шепотом она звала его:

– Володя! Володя!

А может, это Мотте только показалось.

Утром он стал собирать свои вещи. Упаковал карточки, проверил инструменты.

Мария Дмитриевна стояла в дверях.

– Что вы делаете? – спросила она.

– Мне пора.

Она молча смотрела, как он натягивает сапоги, завязывает тесемки плаща.

– Пойду, пока дождь снова не начался, – сказал Мотте.

Сказала тихо:

– Счастливого пути, Володя!

Вышла на крыльцо и смотрела ему вслед, пока Мотте не скрылся за сараем. Через минуту он показался на дороге по другую сторону сарая, уже перед самым лесом, маленький, далекий.

Мотте торопился, боялся, что не успеет на поезд, но пришлось еще ждать до вечера – поезда шли с опозданием. Каждый час мимо проходил длинный состав с бревнами. Мотте бродил по залитым мазутом шпалам, наступал на шляпки от костылей. В рельсах, как в зеркале, отражалось серое небо, и один раз мелькнула черной точкой пролетевшая ворона.

Поезд пришел уже забитый до отказа, в вагон было не протолкнуться, и Мотте устроился в тамбуре на чьем-то мешке.

Было накурено, душно, но в разбитое окно иногда дул ветер. Поезд то медленно полз вперед, то надолго останавливался среди леса.

Мотте смотрел на бесконечные штабеля дров вдоль путей, покосившиеся телеграфные столбы, болота, сосны, провисшие облака. Иногда попадались лесопилки, и тогда рядом возвышались горы мокрых, почерневших опилок, огромные, как пирамиды. Острый запах гниющей древесины залетал с ветром в тамбур.

Потом пошли выгоревшие участки. Обугленные, раскоряченные деревья медленно проплывали мимо.

Дембель, сидевший на соседнем мешке, то храпел под стук колес, то, просыпаясь от резкого толчка вагона, принимался есть вареную сгущенку из банки. Сгущенку он выковыривал пальцем. Потом опять засыпал.

В город приехали уже глухой ночью. Поезд остановили где-то на запасных путях. До вокзала добирались по шпалам.

Кассы были закрыты. Все скамейки в зале ожидания были заняты спящими. Устраивались на заплеванном полу, вповалку, подстелив под себя кто газету, кто шинель, кто телогрейку. Огромная овчарка в наморднике, положив голову на лапы, провожала проходящих взглядом.

Мотте присел на подоконнике, но дышать было нечем. Окно оказалось забито. Он понял, что все равно не заснет, и вышел на площадь перед вокзалом. На скамейках у фонтана тоже кто-то спал. Мотте побрел по улице мимо черных домов. Фонари не горели. Тускло светилось небо, по нему, крепко сбитые, бежали тучи.

Вдалеке слышались чьи-то шаги. Мотте остановился, отошел под дерево в темноту. Из-за угла показались трое. Патруль. Они осветили Мотте фонариком, потребовали документы. Луч долго перескакивал с фотокарточки на лицо и обратно. Запахло водкой и португеей.

– Ладно, ступай!

Ослепленный светом фонаря в глаза, Мотте ничего не видел и несколько минут просто стоял, ждал, пока глаза снова привыкнут к темноте. Потом побрел дальше. В одном окне зажегся свет. Мотте смотрел, как какой-то старик открыл шкафчик и долго переставлял в нем банки. За углом начинался городской парк.

Мотте нашел скамейку, подложил свой мешок под голову и прилег.

Проснулся он от холода, когда начало уже светать. Сел, принялся растирать онемевшие ноги. Чтобы согреться, стал бродить по дорожкам. Легкий туман на глазах исчезал, восток розовел, подкрашивая деревья и статуи. Кое-где в глубине стояли с отбитыми руками и головами то ли сатиры, то ли пионеры, сделанные из утреннего розового гипса.

Мотте пошел к выходу, нужно было занимать очередь в вокзальную кассу. Вдруг его кто-то окликнул. Мотте обернулся. К нему, размахивая руками, ковыляла какая-то старуха, закутанная в синий рабочий халат, заляпанный краской, в разорванных кроссовках, в засаленной шапке-ушанке. На какое-то мгновение ему показалось, что она ему кого-то напоминает, и даже понял, кого, но сразу отбросил такую мысль, потому что это было совершенно невозможно.

Он подошел к ней. Старуха, тяжело дыша, задыхаясь, бормотала что-то невнятное о руке из неба, о луне, о гусях-великанах, которых везли куда-то на платформах по железной дороге, и, схватив Мотте за рукав, тащила его в конец аллеи.

Он пытался объяснить ей, что ему нужно на вокзал, но старуха ничего не хотела слышать и принималась выть, голосила, будто ее режут. Мотте попробовал вырвать рукав, но она только сильнее в него вцепилась.

Со стороны выхода из парка послышался топот сапог. Это бежал патруль. Они были в камуфляже и тельняшках. Старуху насилу отцепили, а Мотте заломили руки за спину и несколько раз ударили по лицу и в живот. Из разбитого носа закапала на рубашку кровь.

Мотте хотел объяснить, что это недоразумение, но только закричал от боли:

– Отпустите руки! Сломаете ведь!

Тут же получил сапогом по голени и упал.

Его потащили по аллее к выходу. Идти Мотте не мог, и его волокли.

В отделении его обыскали, вынули деньги и документы, а потом пихнули в камеру, где на деревянном полу кто-то храпел. Мотте присел в угол, запрокинув голову – кровь из носа все еще шла. Потом его перевели в другую комнату, такую же, только пустую. Под потолком тускло горела в паутине забрызганная известкой лампочка. Мотте вытянулся на полу и лежал с закрытыми глазами.

Кто-то вошел, его пнули сапогом.

– На opravку!

Мотте снова было попытался что-то объяснить, но ему сразу дали в ухо, и он замолчал.

Его вывели во двор. Уборная представляла из себя яму в углу у высокого забора, через которую были брошены две скользкие, затоптанные доски. Мотте, стоя на досках, успел посмотреть на небо. Распогодилось. Облака были белые, в синих просветах.

Его опять привели в камеру. Не успел он прилечь, как засов лязгнул. Ему поставили на пол миску с макаронами, слипшимися, серыми. Тот, кто принес, в камуфляже и тельняшке, выжидающе посмотрел на Мотте:

– Не будешь, что ли?

Мотте покачал головой.

Тогда тот взял миску и сам стал глотать макароны, бросив с набитым ртом:

– Ну и дурак!

Дверь снова захлопнулась.

Мотте попытался заснуть, но только провалился в какую-то полудрему. Болели вывернутые суставы, опухла нога.

Вечером его опять вывели на opravку и опять дали макароны.

– Будешь, что ли?

Мотте взял миску и стал засовывать макароны в рот пальцами, вилок не давали. Потом он заснул.

Проснулся Мотте в Египте.

Из пустыни тянуло жарким сухим ветерком. Чуть слышно шелестели заросли папируса. От реки доносились крики ибисов.

Мотте оглянулся. Кругом стояли какие-то люди в передниках с головами шакалов, львов, крокодилов, еще каких-то зверей.

Один из них, с головой быка, подошел и протянул что-то в кулаке.

Мотте спросил:

– Что это?

– Бери!

Мотте дал руку. По ладони его что-то щекотно поползло. Жук.

К Мотте подошел еще один, с головой ибиса, и протянул папирусный свиток.

– Читай!

Мотте взглянул на ряды иероглифов, перед глазами замелькали птицы, ноги, змейки, волны.

– Я не умею, – пробормотал он. Жук щекотал кожу в кулаке, но Мотте боялся его отпустить.

Ибис укоризненно покачал головой, взял обратно папирус, развернул его и, откашлявшись, стал читать:

– Занимаясь прививкою собачьего бешенства на бактериологической станции, во врачебную управу заявления о том, что намерен практиковать, не подавал. Кто знаком с университетским бытом, знает, что иметь диплом и практиковать не одно и то же – при университете много врачей, практикой никогда не занимающихся. Да и записался-то в студенты на медицину лишь в расчете на то, что даже самый плохой врач не остается без хлеба, приучился смотреть на аутопсию, познакомился с мускулами и фасциями, задолбил разные *masceter*, *galea aroneurotica*, освоил медицинский парадокс – полагайся на безнадежных, бойся благоприятных. А когда появилась возможность устроиться делать прививки – обрадовался. Что же касается рецептов, то практикующий врач за день выдает и по двадцати, а тут восемнадцать за два года. Да и что это за рецепты – двенадцать для себя лично, остальные для родственников. Известно, как пишутся подобные рецепты – в гостях, за чаем. И это называется практиковать! Если уж сажать на скамью подсудимых, то надо помнить – на того медика лишь падает общественная повинность подавать по первому зову помощь, кто от медицинской практики получает выгоду. Мотте раз в жизни был позван к истекающему кровью, и то попал под суд! Да и что толку, что пошел бы за этой сумасшедшей в конец аллеи? Тоже мне – вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана! Подавая медицинскую помощь обреченному страдальцу неумело, он принял бы на себя ответственность, и его обвинили бы тогда в другом преступлении: в оказании помощи с нарушением признанных в науке правил! Он поступил, повинуюсь святому для каждого настоящего медика правилу: “*Ne noceras*”³⁷.

Ибис свернул папирус и засунул его за пояс.

Мотте бросили его мешок, выдали документы, бумажник и сказали:

– Иди!

Бумажник был пуст.

– А где деньги? – спросил Мотте.

Ему ответили, что денег там не было вовсе и что у них есть понятые, которые могут это засвидетельствовать.

Мотте забросил мешок на плечо и пошел на вокзал.

Жука он выбросил, тот упал в лужу на асфальте, пустив круги. Рука воняла.

³⁷ Не навреди! (лат.)

Было позднее утро. Облака – лепнина, но ветер. Налетали порывы, выворачивая листья брюшком к свету. Во дворе надувалось парусом белье – синяя майка заразила наволочки.

Навстречу Мотте попадались редкие прохожие. Старик возвращался с рынка – в лукошке переложенная зелеными листьями клубника. Мама с дочкой, которая держала за руку старую игрушку – глаз-бусинка болтался на ниточке. Пробежала наискосок собака. Проехал безногий на тележке. Глухонемые на углу мусолили ветер.

Из открытого окна слышались гаммы и арпеджио. Мотте, проходя мимо, заглянул: урок музыки с пяточками на руках.

На вокзале было столпотворение. По радио все время объявляли, что поезда откладываются. Голос из репродуктора убежал по рельсам, размноженный стрелками на эхо.

Гомон толпы улетал под купол зала ожидания. Одни говорили, что где-то под Томском авария, другие шептали, что это бастующие шахтеры перекрыли движение, третьи вздыхали, что немцы разбомбили пути, четвертые уверяли, что какой-то батяня Михась грабит эшелоны.

Послышалось слово:

– Тиф!

Очередь за кипятком заволновалась:

– Кипяток кончается!

Какая-то дама заголосила, что у нее в давке выхватили сумочку.

На груди чемоданов седой грузный старик бормотал что-то в тифозной горячке. На лбу у него выступил пот. Сухие губы дрожали, он облизывал их языком.

Мотте присел рядом у стены на корточки. Прислонил затылок к облупленной штукатурке. Взгляд его уткнулся в потолок. Купол был исписан фресками. В центре было райское поле Иару. На нем под балдахином с капителями в виде распустившегося лотоса сидел Осирис с зеленым лицом. Рядом стояли Гор с головой сокола и Анубис с головой шакала. На поле рос ячмень высотой в четыре локтя и полба высотой в девять локтей. В поле утыкался Нил. По нему на папирусной барке плыл Ра с солнцем на голове. Доплыв до границы поля, он пересаживался в другую барку и плыл обратно, вниз головой.

Старик на чемоданах поманил рукой Мотте к себе и просипел, что где-то здесь, по течению Нила, должен идти древний путь из варяг в греки.

– Уходите! – прошептал он сухими губами. – Уходите!

Мотте поднялся, взял мешок и стал пробираться к выходу, прокладывая себе путь локтями, проверяя все время карманы, перешагивая через калек в лохмотьях, которые протягивали к нему свои культы.

Выйдя из дверей на воздух, Мотте вздохнул полной грудью. Потянуло сыростью. Ветром опять успело нагнать тучи, собирался дождь.

– Как пройти к Нилу? – спросил Мотте, выйдя на площадь перед вокзалом.

Махнули рукой куда-то в сторону трамвайных путей.

Упали первые тяжелые капли, свернувшись в пыли в комочки. Мотте зашел под навес у овощной палатки и смотрел, как разбегались люди с газетами над головой. Спешил куда-то спрятаться безногий на тележке – на трамвайных рельсах тележка подпрыгнула. Продавщица кваса на углу бросила свою бочку и прибежала к Мотте под навес, в халате, пятнистом от капель.

Вдруг пошел ливень, резкий, хлесткий, упругий.

– Во прет! – покачала головой продавщица. Потом всплеснула руками:

– А миску-то с деньгами забыла!

По навесу застучали капли, как градины.

Асфальт почернел от воды, дома закрылись водяной пеленой, лужи запузырились. На крыше автобуса у вокзала на остановке будто выросла трава. С навеса полило. Брызги раз-

летались по ногам. Когда автобус, поросший травой, отъехал, под ним оказался сухой кусок асфальта, но только на несколько мгновений. На углу у светофора автобус остановился, чья-то рука изнутри протерла запотевшее стекло.

Потом ливень кончился.

Продавщица кваса вернулась к своей бочке и, придерживая рукой мелочь, вылила из миски дождевую воду.

Мотте пошел по трамвайным путям, в ложбинках рельсов бежали ручейки. С деревьев капало в лужи. В мокром асфальте плыли вверх ногами дома и заборы, валетом отразился безногий.

Выглянуло солнце, от машин, с крыш и капотов, валил пар.

Потом рельсы, вспыхнув, свернули, и Мотте пошел мимо строительного котлована, наполовину затопленного. В воде, желтой от глины, плавали доски и арбузные корки.

Оттуда уже открылся Нил.

Мотте сошел к реке по Владимирскому спуску, мимо свалки и старой, покосившейся от времени и почерневшей водокачки, и отправился берегом по мягкой и скользкой, еще не просохшей тропке вниз по течению, сопровождаемый плеском воды и журчанием стрекоз.

Мимо проплыл в папирусной барке Ра, Мотте приветливо помахал ему рукой. Ра кивнул в ответ.

Мотте шел долго, пока не уткнулся в край мира. Уперся, как строчка, в белое поле. Там рос ячмень высотой в четыре локтя и полба высотой в девять локтей.

Мотте вглядывался вдаль, но за белым полем ничего больше не было. На прибрежные березняки опускались сумерки, лягушки стали наглее и громче, комары облепляли шею, поднялся вечерний ветер, свежий, влажный, с привкусом далекого дымка. Тут Мотте снова увидел Ра, тот пересаживался в другую барку, чтобы грести всю ночь обратно по подземному Нилу и утром опять проплыть мимо Владимирского спуска.

Мотте вернулся в город и на следующий день опять попробовал пройти вниз по реке, но снова уперся в засаженное ячменем и полбой поле.

Мотте еще несколько раз возвращался и пробовал пройти берегом, но все повторялось.

Однажды на закате Мотте невольно остановился перед орешником на взгорке. Куст, освещенный заходящим солнцем, казалось, горел. Мотте уже собирался идти дальше, когда из орешника его вдруг кто-то окликнул:

– Владимир Павлович!

Мотте замер:

– Вот я!

И снова послышался голос из опаленного закатным лучом куста:

– Не подходите сюда! Снимите обувь свою с ног своих, ибо земля, на которой вы стоите, священна.

Мотте разулся. Земля была холодная, сырая, трава щекотала пальцы.

Голос продолжил:

– Я – Бог босых и сирых, униженных и оскорбленных, не имеющих лапы и не умеющих давать взятки, ищущих и сомневающих, алкающих истины и дудящих в дуду, посаженных на кол и превращенных в вечную мерзлоту в целях высшей необходимости, одним словом, Бог стареньких учительниц и юных вольнодумцев – увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его и узнал скорбь его и иду избавить его из земли сей безжалостной в землю обетованную, где течет молоко в кисельных берегах и мед по устам. Иди же к царю египетскому и скажи, чтобы отпустил вас и не мучил более и дал бы пожить по-человечески и вам, и деткам вашим.

И пошел Мотте к царю египетскому.

И сказал Мотте:

– Отпусти народ наш и не мучь его более, так повелел Господь наш.

Царь египетский ответил:

– Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его?

И прогнали Мотте, а народу велели не давать соломы и увеличить норму трудодней.

Царь египетский так и сказал:

– Дать им больше работы, чтоб они не занимались пустыми речами. Праздны, потому и говорят.

И обратился Мотте к Господу:

– Вот видишь, что получилось. Только еще хуже.

И тогда сказал Господь Мотте:

– Теперь увидишь ты, что я сделаю с царем египетским. По действию руки крепкой он отпустит вас, вот увидишь, спасу вас мышцею простертою.

– Что же делать? – спросил Мотте.

– Чудеса, – ответил Господь.

И пошел Мотте к царю египетскому и стал делать разные чудеса, превращать зонтик в змею, а воду в кровь. Рыба вымерла, река воссмердела, и пить ее было совершенно невозможно.

– Подумаешь, – сказал царь египетский, сердце его ожесточилось, и не отпустил он никого, и стал снова мучить народ, рабство влачилось по браздам, и бич свистал, играя.

– Ничего его не берет, – сказал Мотте Господу.

И тогда сказал Господь Мотте:

– Пойди к царю египетскому и предупреди, если не отпустит добром, то воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом его, и в спальню его, и в печь его, и в квашню его.

Так Мотте и сделал, но царь египетский даже слушать его не стал, мол, какие еще жабы.

И тогда вышли жабы и покрыли землю египетскую до самого Чемульпо.

И призвал царь египетский Мотте и сказал:

– Лобастые, пусть ваш Господь спасет наши квашни от жаб, а уж мы вас не забудем.

И на следующий день вымерли жабы в домах, на дворах, на полях, в печах и в квашне, остались только в реке, и увидел царь египетский, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не сдержал слова, стал мучить народ дальше, и укрывались за стеной Кавказа, и умывали кровью.

Тогда велел Господь Мотте плюнуть в персть земную, и сделалась персть мошками, и явились мошки на людях и на скоте.

Но царь египетский, отмахиваясь от мошек, только ожесточил еще больше сердце свое и опять стал мучить народ, душа путешествующих страданиями уязвлена стала, и снились им запахи мокрой шерсти, снега и огня.

– Ничего не получится, – возроптал было Мотте.

И тогда сказал ему Господь:

– Завтра встань пораньше и явись пред лице царя египетского. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: отпусти народ, а если не отпустишь, то налетит множество песьих мух, и будет тогда тебе несдобровать.

Так и случилось. Налетело множество песьих мух, и погибала тундра.

И призвал царь египетский Мотте и сказал:

– Я отпущу вас, если спасете.

И ответил Мотте:

– Вот, я выйду от тебя и помолюсь Господу нашему, и удалятся песьи мухи в одночасье, только не обманывай нас больше.

И сказал царь египетский:

– Не обману!

И вышел Мотте от него и помолился, и исчезли песьи мухи, не осталось ни одной.

Но царь египетский только еще больше ожесточил сердце, и не отпустил народа, и стал мучить его дальше, и раскулачивали, и полз злой чечен на берег.

Тогда послал Господь моровую язву на скот, коней, ослов, верблюдов, волов и овец, и вымер весь скот, но сердце царя египетского только еще больше ожесточилось, и не отпустил он народа, и нашли холеру у лекаря в кармане, и прибили щит к воротам Царьграда.

Тогда взял Мотте горсть пепла из печки и подбросил его к небу пред лице царя египетского, и поднялась пыль, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте, но сердце царя египетского только еще больше ожесточилось, и не отпустил он народа, и мучил, как прежде, и посылали в Воронеж, и рвали языки.

Тогда простер Мотте кулак свой к небу, и был град и огонь между градом, какого никогда еще не было на земле египетской и никогда не будет, и побил град все, что было в поле, от человека до скота.

И послал царь египетский за Мотте и повинился, что не отпустил народ сразу:

– Пусть перестанут громы и град, и отпущу вас и не буду более мучить.

И поверил ему Мотте и остановил гром и град, и дождь перестал литься на землю.

И увидел царь египетский, что прекратился гром, и дождь, и град, и ожесточилось его сердце, и не отпустил никого, и стал только мучить пуще прежнего, и строили каналы, и открывали окна.

Тогда Господь сказал Мотте:

– Простри руку твою, и пусть нападет саранча и поест всю траву земную и все, что уцелело от града.

И надуло ветром из заволжских степей саранчу, и покрыла она лицо всей земли египетской, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, и прежде не бывало такой саранчи.

Тогда царь египетский призвал к себе Мотте и сказал:

– Ваша взяла. Теперь прости мне еще раз и помолись Господу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смертушку смертную неминуемую.

Вышел Мотте от царя египетского и помолился. И воздвигнул Господь с противной стороны сильный ветер, и понес он саранчу, и бросил ее в Черное море.

Но ожесточил только царь египетский сердце свое и не дал народу волюшку вольную, и продолжились мучения, и проводили реформы, и топили баржами.

И сказал Господь Мотте:

– Простри руку свою к небу, и будет тьма над тайгой, осязаемая тьма.

Мотте простер руку свою к небу, и была густая тьма по долинам и по взгорьям три дня, и не видели друг друга, и никто не вставал со своего места, сидмя сидели впотьмах без лампочки.

И призвал царь египетский Мотте к себе во дворец и сказал:

– Дай свет! Все прощу!

И провел Мотте электричество.

И ожесточил царь египетский сердце свое и стал мучить народ еще пуще, и отрекались от родителей, и рвали книги на самокрутки.

И сказал тогда Господь Мотте:

– Еще одну казнь Я наведу на царя египетского и на всю его державу березового ситца, такую последнюю и решительную, что после этого он оставит народ в покое. Слушай: в полночь Я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец от царевича до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота, и будет вопль и плач великий от стольного града до самых до окраин, какого не бывало и никогда не будет более.

И прошел в полночь Господь по Египту.

И встал ночью царь египетский, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль и плач от столиц до Путивля, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.

И призвал тогда царь египетский Мотте к себе и сказал:

– Все равно не отпущу.

И ожесточил царь египетский сердце свое пуще прежнего и стал мучить народ дальше без конца.

И тогда возроптал Мотте на Господа:

– Но как же так?

И Господь, допечатывала второпях ремингтонистка, развел руками.

Отчего-то вспомнил, как последний раз ездил на дачу в Валентиновку, прежде чем ее спалили.

Я иногда приезжал зимой – посмотреть, все ли в порядке. Часто залезали. Не столько воровать – брать-то там нечего, сколько мальчишки из озорства или бомжи. Переночуют, побьют стекла, а потом еще и спалят. Не специально даже, а по неосторожности: неаккуратно примутся разжигать печку или от окурка, напьются и заснут, да мало ли что. До той зимы несколько раз залезали, но обходилось.

А по правде говоря, просто хотелось вырваться из дома.

Еле открыл дверь на террасу – на крыльце намело целый сугроб. В комнатах все выморожено, тускло. Первым делом – печка.

И вот уже за быстро накалившейся ржавой дверцей жаркая перестрелка, сипение истекающих кипящим соком сучков. Дымная душа поленьев норовит улететь не в небеса, а в комнату. Все отсырело. Вот-вот пойдет пар от дивана, от плетеных соломенных кресел, от слежавшейся пачки прошлогодних газет, от обоев. Дух от печки наполняет комнату, распирает стены, потолок, старое дерево поскрипывает.

За окном жасмин с белыми мышками на ветках. На снегу вавилонская клинопись. На соседнем сарае навалило столько, что он вот-вот тихо рухнет.

В вагоне утренней электрички было пусто, проморожено. Запах лыжной мази. Пустая бутылка каталась под скамейками от остановки к остановке. В тамбуре кто-то прикуривал, и осветились руки. Мелькнул одинокий лыжник на переезде, чиркнул по стеклу путевой рабочий в оранжевой куртке, медленно ползли далекие трубы, забывшие дым. Деревья, дома, заборы – все под снегом. В поле две синие лыжни андреевским крестом. В Подлипках вошел и сел на скамейке напротив слепой с собакой – стал вынимать ей из лап льдышки. А та все меня нюхала.

В Валентиновке один только я и вышел. Заснеженные ели, сугробы, зимний поселок пуст, дачи стоят забитые, вымерзшие, тишина, вместо дорог утопанные тропки. В городе и снега-то почти не видно, а тут столько выпало, что заборы, летом высокие, теперь по колено.

Затопил печку, поставил чайник, пошел расчищать дорожку. Снег легкий, морозный, берешь целую лопату, швыряешь к кустам – рассыпается пылью.

Вышел пройтись по поселку, втягиваю колкий воздух, гляжу на ворон, которые осыпают с веток морозной мукой, на утонувшую в сугробе телефонную будку с оторванной трубкой, на собачьи желтые метки у столбов. На одной яблоне еще висит несколько зимников. Под ногами звонко, хрустко. Одиноко, хорошо.

Вышел к путям – там товарняк с лесом. Окутан клубами колючей пыли. Рельсы прогибаются. Под колесами вагонов бьется коробка из-под ботинок. Ее крутит, швыряет – потом еще кувырок, и стала на попа, замерла, глядя вслед убегающим огонькам.

Топил печку, топил, а к утру все остыло, за окном поднялась ночная метель, и комнату выстудил ветер. Натянул на себя все что можно, накрылся еще старым пальто, покрывалом,

какими-то тряпками. Все никак не мог заснуть. А потом будто провалился в бездонную слепую дыру – и опять приснился Олежка.

Я сижу у себя за столом и что-то пишу. И чувствую, за занавеской кто-то есть. Вернее, знаю, что это он, мой Олежек, и мы играем с ним в прятки.

Подхожу на цыпочках, обнимаю.

Он хохочет. Заливается у меня в руках, но за занавеской.

Держу его крепко, сам себе не верю, боюсь развернуть. Ощупываю под материей его руки, ребрышки.

Он кричит:

– Папа, мне щекотно!

Я ему:

– Олеженька, ты разве не умер?

И разворачиваю его.

Он смеется:

– Нет, вот же я! Ты же меня щекочешь!

– А откуда кровь?

– Какая кровь?

– Вот здесь и здесь.

– Да где же?

И действительно, присматриваюсь, никакой крови вдруг нет.

Просыпаюсь весь мокрый от пота, счастливый. Пальцами все еще чувствую его руки, его ребрышки.

А кругом зима, ночь, забитые дачи. И в шкафу висит его шубка, протертая ранцем на плечах. Какие-то вещи тогда выбросили, а шубку оставили, привезли сюда, чтобы места не занимала.

Его укладывала всегда Света, и, засыпая, Олежка держался за ее ухо. Однажды, когда Света куда-то, не помню, ушла, я долго читал ему сказки, а потом поцеловал в лоб и выключил свет, но он, конечно, заревел. Я прилег рядом, как это делала Света. Его ручка нащупала мое ухо. Я думал, теперь Олежка успокоится, заснет, но пальчики нащупали что-то не то, какой-то взрослый обман, и он снова стал рыдать, по-детски безудержно, безутешно.

Опять стал выискивать в памяти какие-то кусочки той нашей жизни с Олежкой. После того, что случилось, я не мог ни писать, ни с кем-то говорить об этом. И вот прошло какое-то время, и теперь даже думать о сыне было в радость. Говорят, что человек не живет сам по себе, что он если и есть где-то в этой ночи, то только если кто-то его вспоминает, думает о нем, видит его. И вот я опять, в который раз пытался оживить моего Олежку, перебирал в уме какие-то истории, случаи, просто картинки.

Вот я учу его ходить на полотенце, продеваю под мышками. Вот он печет песочные пирожные у нас во дворе на Госпитальном, и я, сидя на краю песочницы, ем их понарошку, не отрывая глаз от газеты. Зимой мы едем на трамвае в воскресенье в Измайловский парк – там фигуры изо льда, прозрачные от солнца, изумрудные, зализанные от касаний. Потом качаю его на качелях, и он – бултых в снег.

На день рождения купили красивую клетку с хомячками. С каким восторгом Олежка наблюдал за родившимися крошками – и вдруг прибегает в страшной детской истерике.

– Что с тобой, Олежек? Что случилось?

Ничего сказать не может от рыданий. Наконец выкрикивает:

– Она откусила ему голову!

Одно время каждый вечер приставал, чтобы я рисовал на полях книг бесконечные мячики: если быстро листать, то мячик поскачет по странице. Потом сам стал рисовать. И сейчас какую книгу ни возьми – в каждой на полях его шарики, неровные, неумелые.

Один раз он занозил ногу – я пинцетом выдернул щепку. Кровь, крики, слезы. Света ходит с ним по комнате и успокаивает:

– У зайньки болит лапоська, зайнька занозил лапоську, лапоська разболелась, зачем зайнька бежит без тапочек?

Потом начались Олежкины болезни, больницы. У детей температура подскакивает в одно мгновение – еще только что играл на ковре, вдруг хлоп на бок – почти 40 градусов. А вот еще помню, как Света втирала ему мочу в пятки, чтобы сбить жар. Я сначала пришел в ужас, но она стала уверять меня, что ей так делала ее мама и что это вообще лучшее средство.

Олежка стал все время играть в больницу. Одно время усердно лечил мух. В палате на подоконнике ставили тарелку с ядовитой бумагой. Он собирал мух с тарелки, перекладывал их на чистое блюдце, смачивал водой и сушил на солнце, снова смачивал и сушил, и так до тех пор, пока мухи не начинали шевелиться и в конце концов улетали.

Деду Морозу написал просьбу, зная, что он выполнит любое желание, чтобы у сына соседки, инвалида, выросла рука, которую у него оторвало в армии в Афгане.

При этом ничто не мешало внезапным приступам детской жестокости. Я застал его один раз за тем, что иголкой он прокалывал жука-бронзовку, снятого с сирени, наблюдая, как выпирает наружу белое жидкое нутро. Я молча взял Олежку за руку и уколол его той же иголкой в палец. Он завизжал от боли и обиды, а я только спокойно сказал:

– Теперь ты можешь себе представить, как больно было жуку.

Еще помню, как он рисует на террасе и обводит солнце желтым карандашом по чашке, чтобы было круглое, а уже смеркается, я включаю свет, и солнце с белой бумаги вмиг исчезает.

Все время думаю, что осталось бы от детства в его памяти? Что он пронес бы с собой через всю жизнь? Наверняка осталось бы у него от тех лет что-то совсем другое, мне даже недоступное, немыслимое, например, какая-нибудь бабка из очереди, угостившая его залапанной конфеткой, или кресс-салат в горшке на подоконнике под стеклянной запотелой банкой, который мы выращивали весной, – ему нравился запах этой курчавой травки. А скорее, остались бы какие-нибудь обиды, детские, жестокие, непоправимые. Когда Олежке вырезали гланды, он ждал, что мы принесем ему мороженое – другому мальчику в палате родители принесли эскимо, а мы об этом даже не подумали. Для нас пустяк – в другой раз купим тебе эскимо, – а для него трагедия. Обиделся на нас, не хотел разговаривать. Или, может, всю жизнь вспоминал бы и мучился, как в первый раз, когда остался один в больнице, нянечка не поставила ему горшок на ночь, спросить он побоялся, а ночью не вытерпел и надул в кроватку – кто теперь узнает?

Каждое лето мы приезжали сюда, в Валентиновку.

В заросшем дикой малиной углу у забора пристроился муравейник. Олежка звал меня протыкать его рыхлую плоть крепкими травяными стеблями, смахивать, сдвигать приставших муравьев и облизывать травинки.

Вот утро. Сквозь ставни бьет солнце после недели дождей. Встаем лениво, поздно, по-дачному, а Олежка уже где-то в саду, где яблони с подпорками, играет в какую-то недоступную нам игру, развешивает ленточки на деревьях, втыкает в землю веточки, строит свой, невидимый и недоступный нам мир.

От дождей все отсырело. В уборной бумага в сатиновом мешочке – влажная, на клеенке в саду на столе – лужа. Крыша соседней дачи, крытая шифером, на солнце дымится, еще ночью лило, а сейчас уже припекает.

Завтрак под августовским небом. Олежка – с белыми кефирными усиками – спрашивает, правда ли, что бородавки вскакивают из-за плохих дел. На стол падают шишки с сосны, звонко отскакивая.

Света идет на станцию за молоком, а мы устраиваемся на раскладушке под сиренью – читаю ему «Робинзона Крузо», удивляясь, почему я так хотел в детстве оказаться где-то на острове, без еды, без дома, без постели, без гренок на завтрак, без вот этой раскладушки под сиренью – но с людоедами и страхом голодной смерти. Читаем запоем. Ему нравятся приключения с дикарями, а мне вдруг пришлось по душе эпилог, когда Робин-горемыка возвращается домой – тихо, тепло, покойно, и все позади.

Мимо нашего забора идет дорога к реке. За кустами ходят без конца туда-сюда, иногда видны длинные удочки, они прогибаются на каждом шагу.

К полудню приезжает почтальон со вчерашней «Вечеркой». Велосипед трясется по гравию, дребезжит звонок. У почтальона укушенная прищепкой штанина.

На обед окрошка, котлеты, компот. Вечная истерика с первым, да и вообще, Олежка ничего за столом не ел, а потом все таскал куски с кухни.

Гнали его поиграть с соседскими детьми – ни в какую, зато читал взахлеб и приставал ко мне с шахматами. У нас были фигуры, сделанные из шишек, может, это его и привлекало.

К вечеру, когда спадает жара, едем в Загорянку на Клязьму, а по дороге заезжаем посмотреть на сгоревшую дачу на Садовой. На покосившемся заборе рыжая, мохнатая от ржавчины колючая проволока. По всему участку разбросаны обгоревшие черные бревна, а от фундамента почти уже ничего не осталось – соседи растащили кирпичи. Мальчишка с ластами через плечо показывает куда-то вверх пальцем:

– Смотрите, какой огонь был!

И действительно, по почерневшим соседним соснам видно, какой высоты достигало пламя.

Едем дальше, там акация навалилась на забор, мне надо пригибать голову. Останавливаемся. Делаем свистульки из упругих жирных стручков, дудим. Нам навстречу идут дачники и тоже дудят, сшибая палками крапиву. На углу Сиреновой и Мичурина дачная свалка. Ржавая газовая плита, битое стекло. Освеженный диван – сквозь пружины проросли одуванчики.

Спуск к Клязьме крутой, искушение для велосипедистов, но можно наткнуться за поворотом на корову или еще на какой-нибудь сюрприз. Внизу дачный пляж, засеянный обертками от конфет и пробками от пивных бутылок. Дачники, собаки, велосипеды, два негра из летной школы в Чкаловском. В луже головастики вспорхнули веером.

Лезем в воду, Олежка визжит, брыкается, я беру его на руки, и мы окунаемся в ледяную муть. Тина засасывает пятку, лижет подошву ступни, залезает между пальцев.

Вылезет из воды – весь дрожит, носится по песку, чтобы согреться. Подбегает, а на ногах – песочные носки.

Вечера в августе уже холодные, чай пьем на террасе, с последней покупной клубникой – бросаешь ягоды в чашку и давишь их ложкой. А в июле завариваешь обыкновенный чай, а получается жасминовый – чай пахнет жасмином от куста за окном, открытым настежь.

Укладываем спать – снова целая церемония. Ноги, зубы, пижама. Тысяча причин не ложиться, а когда в конце концов залезает в постель, то опять начинается – смазывай комариные укусы кремом, принеси водички, почеси спинку, почитай, и еще бесконечные почему, почему, почему. Олежка расспрашивал меня обо всем на свете, твердо веря в мое всеведение. Потом сам принимался читать, умоляя, что всего минуточку. Минуточка затягивалась еще на минуточку и еще, пока я не отнимал книжку – снова обида и слезы.

Перед сном я выходил покурить в сад. Хожу по дорожке, смотрю на звезды, на ночные кусты, на луну, круглую, будто обведенную по чашке, прислушиваюсь к далекому поезду, нюхаю ночные свежие запахи от флоксов, думаю о чем-то завтрашнем, что нужно в сберкассу, на почту. Прохожу мимо его окна, а там какое-то странное свечение, даже не сразу понял, что это. Оказывается, это он читал с фонариком, укрывшись с головой под простыней.

Вот, Олечка, пока я вижу это свечение, ту светящуюся простыню, ты жив. И ничего не случилось. Просто я смотрю на тебя в окно из ночного августовского сада, где падают яблоки и пахнут флоксы, а ты читаешь с фонариком, спрятавшись от меня.

Там, при Доме ребенка, было, можно сказать, хорошо, со следственной тюрьмой не сравнить. В камере скученность, грязь, голод. Кормили нас щами из крапивы и тухлой рыбой – а я беременная, меня тошнит, меня рвет не только от ее вкуса, от одного вида. Хорошо, подруги делились со мной передачами. Многим родные передавали передачи, особенно местным. А мне носить некому. Бабушка старенькая, одну передачу принесла, пока меня в город еще не отправили. Сестра, как меня арестовали, даже знать о себе не давала ни в тюрьму, ни потом в лагерь – боялась. Но самое для меня обидное было то, что и муж от меня отказался: ни письма, ни передачи. Его не тронули, и он, видно, боялся, что если будет ходить ко мне в тюрьму, так и его возьмут. Но ведь я носила его ребенка; и когда мы с ним в церкви венчались, так там обещают не покинуть друг друга ни в болезни, ни в несчастье. А он обещал и покинул... Сын родился – он и то ничего мне не передал, даже для ребенка. Так вот, в Доме ребенка было хорошо. Начальница, Анна Павловна, была очень хорошая женщина, сочувствовала нам в нашей беде. На работу из тюрьмы нас не гоняли, делать надо было только то, что около детей. И кормили не так, как в следственной тюрьме, даже и молоко давали. Мы могли гулять с детьми во дворе. Нас, мамок, было там человек пятьсот. Меня взяли работать на кухню. Когда родился мой Игорек, еще до Дома ребенка, я написала бабушке, чтобы она узнала, не возьмет ли ребенка свекровь. И вот больше чем через полгода как-то работаю я на кухне, приходит надзирательница: «Иди, Наталка, там твой муж за ребенком приехал, документы как раз оформляет. А тебе передачу привез, иди, получи». – «Как за ребенком?! Я ему не отдам!» – «Да ребенок уже у него, за вахтой...» Я кинулась туда: «Верните мне ребенка, я не согласна отдать! Мы с сыном ему не нужны, он от нас отказался!» К этому времени мне мои землячки, кому из дому писали, пересказали, что мой муж ходит к моей подружке Гале и что они собираются пожениться. Схватила я мешок с передачей и кинула через всю эту комнату: «Ничего мне от него не надо, а ребенка не отдам!» Меня и надзирательницы успокаивали, и Анна Павловна уговаривала. Анна Павловна шепчет мне: «Что ты делаешь, вас же всех, и с детьми, на днях возьмут на этап. Отдай ребенка, чем мучить его». Но я не отдала. И зачем? Да ничего теперь не воротишь. Буквально через несколько дней нас действительно взяли на этап. Сын был единственное, что меня связывало с жизнью. Я просто не могла без него, я не могла оставить его. Потом, когда я поняла, на какие муки взяла ребенка, я не раз жалела: надо было отдать его мужу. Рос бы без матери – но все равно так и получилось, зато в родном доме. Когда нас отправили, сыну шел восьмой месяц. И вот беда: он еще в Доме ребенка бросил грудь. Молока у меня хоть залейся, откуда и бралось, а он не берет грудь. Ну, там его кашкой подкармливали. А в дороге чем мне его кормить? Голодный, плачет, кричит, а сосать не хочет. Я кормила девочку одной львовянки, Иванки Мискив. У нее молоко пропало. Чужого ребенка кормлю, а свой кричит от голода. Так она давала мне сухарей. Вот нацежу молока из груди, размочу сухари – Игорь с ложечки поест немного. Наши запертые вагоны загоняли в каждый тупик на дороге, и мы там подолгу стояли. До Потьмы ехали, наверное, недели две или три. Есть нам давали, как и всем заключенным в этапе, одну селедку, а пить не давали. Мы кричим, мы стонем: «Воды! Воды!» Конвой на остановках бегает вокруг вагонов, стучит в стенки, двери: «Молчать!» На третий или четвертый день пути все-таки стали нам приносить воду. Ну, а что толку? Раз в день принесут пару ведер, а запасти-то нам не в чем, хорошо, если у кого хоть кружечка есть. У меня была маленькая кружечка, так мне в ней надо сухари для Игоречка размачивать. Ну, а наберу, так все равно ненадолго хватит. Жарко, душно, дети стали болеть, поносить. Пеленки, тряпочки – их не то что постирать, замыть нечем. Наберешь в рот воды, когда есть, и не пьешь ее (а

пить же хочется) – льешь изо рта на тряпочку, хоть смыть обделанное, чтобы потом ребенка в нее же завернуть. Наконец довели нас до Потьмы. Посмотрела я на нас: стоим мы, у каждой на одной руке ребенок, за спиной мешок самодельный с вещами, в другой руке узелки с обделанным тряпьем, сами грязные, глаза провалились. «Вперед!» Погнали нас к зоне, это еще несколько километров пешком. Привели. Стали мы под брамой, стоим, ждем. Еле на ногах держимся. Вышел с вахты начальник: «Кого мне пригнали?! Мамок не приму! Мне работники нужны, а не дармоеды». Конвой с ним поспорил немного, и погнали нас обратно. И так два или три раза. Нигде нас не хотели принимать. Наконец согласились принять в больничной зоне, в третьем лагпункте. Там женская больничная зона, рядом мужская больничная и еще одна женская рабочая. Вот опять стоим мы под брамой, ноги нас уже не держат, пить просим. А нас по личным делам проверяют, каждую: фамилия, имя, отчество, статья, срок, конец срока. Нас же пятьсот человек! Зато когда нас наконец приняли, проверили и пересчитали – сразу повели в баню. Мы как будто заново на свет народились: детей помыли, сами помылись, пеленки перестирали. Потом – сортировка. Детей всех в Дом ребенка при больничной зоне, а матерей – у кого ребенок меньше года, так в этой же зоне оставляют, а у кого старше, тех переводят в соседнюю женскую рабочую зону. Меня оставили, Игорь же еще грудным считался. Стали нас гонять на работу в сельхоз, хорошо было. Прямо счастье. Мы тут наелись. Осень как раз, уборка. Там морковку съешь, там свеклу. Картошку даже в жилую зону приносили и варили. Тех, у кого дети в старшей группе, пускали к ним раз в неделю, в выходной, но и то хорошо, хоть видишь своего ребенка. А нам, мамкам младшей группы, еще лучше, мы каждый день после работы с детьми, и в обед нас к ним с работы ведут – кормить. Мне и тут повезло, я ведь всегда везучая была – у меня молока было по-прежнему много, и я кормила Иванкину девочку и еще других детей прикармливала, у кого молока не хватало, и меня зачислили молочным донором: это значит, что дали усиленное питание. Потом заметили врачи, что я стараюсь в Доме ребенка поработать: там приберу, там постираю, заменю нянечку, когда надо, я ведь работающая. И вскоре, когда освободилось место работницы детской кухни, меня назначили на это место. Я очень была довольна и очень старалась получше работать, чтобы остаться здесь. И мною были довольны. Вольные, которые числятся в лагере на какой-нибудь должности, хотят получать зарплату, но не работать, а чтобы за них работали заключенные. Вольный кладовщик, заведующая детской кухней, аптекарь, да кто бы то ни было, могут себе позволить даже на работу не приходить, если есть заключенный, который за них работу сделает. А мы этому и рады, лишь бы не попасть на общие работы. Я им подходила потому, что все за них делала и мне было можно доверять. Мне доверяли даже получать продукты в мужской зоне и за зоной. Игорек подрос, стал уже ходить и говорить. Ему стало полтора года. И тут кто-то донес в управление, что вот в Доме ребенка работает заключенная, ребенку которой уже больше года. Таких матерей полагалось переводить из больничной зоны в рабочую. В это время уже стали отправлять не в соседнюю зону, откуда хоть в выходной пускали к детям, а на дальние лагпункты увозили поездом. Приехала комиссия из управления, начальнице нашей – выговор, а нас, меня и одну нянечку, ребенку которой тоже уже за год перешло, приказали немедленно отправить. Наша жилая зона от зоны Дома ребенка, как и полагается, была отделена забором с колючей проволокой, вышка с часовым стоит. Но мы с этой нянечкой на что решились: ночью подползли к забору, отодрали две доски снизу и подлезли в дыру. Наверное, часовой заметил, мы же около самой вышки пролезали, наверное, он заметил и нарочно отвернулся. Он же человек все-таки. Это если бы в мужскую зону лезли, он бы, может быть, и стрелял, а мы к детям. Пробрались мы в Дом ребенка, я своего Игоря нашла, взяла его на руки и спряталась с ним. Он как чувствовал разлуку: я его качаю, а он не спит: «Мама, не уходи, мама, не надо уходить!» Я плачу над ним, и он тоже плачет. Всю ночь до утра с ним просидела. Утро уже, а я в зону не иду. Там нас, конечно, еще ночью хватились, когда в барак заходили с проверкой.

Но до утра искать не стали. Утром проверка – нас нет. Этап собирают, а нас нет. Начальник режима говорит: «Я знаю, где они. Где ж им еще быть, как не у детей». Пришли за нами, как мы ни прятались – хоть минутку еще с ребенком побыть, – нашли, конечно. Приказывают идти в зону, я не иду, не могу. Знаю же, что увезут от сына. Стали его у меня из рук брать. Он за мою шею цепляется: «Мама! Мама!» Я его держу и не отдаю. Ну, конечно, принесли наручники, потащили силой. Игорек у надзирателя из рук вырывается, кричит. Нас всех отправили в дальний этап, в порт Находку. Больше я сыночка моего не видела. И за гробом буду помнить, как он за меня тогда цеплялся. Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. Потому-то я люблю Бога. Король Георгий первый вступил на землю своего нового отечества, чтобы царствовать в стране, насыщенной бурями. И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увидите! Зрители, если хотят, аплодируют, а актеры раскланиваются. Потом они увидели мгновенное сияние, свет гибели полудурки Розы. И что вещественно и что невещественно? Хочется ласки, любви – любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и дурным, хочется жизнью своею, как этим ясным, светлым днем, пронестись по земле и, совершив определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово: мой револьвер со мною. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалипсический синтез. А потом положил его за божницу, на вечное поселение паукам. Засеют, как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз – не арбуз, тыква – не тыква, огурец – не огурец... черт знает что такое! Стал накрапывать дождь. Надеюсь дожждаться этого довольно скоро. И когда горничная поставила на стол тарелку, он замер и, как только закрылась дверь, обеими руками схватил хлеб, засопел, сразу измазал пальцы и подбородок в сале и стал жадно жевать. Это их эпос, и притом с очень «человечкиной душою». Скорняк – ночь и зима. Все это была только воображаемая речь перед воображаемыми судьями. В каждом из них равно необходим и корень, и ствол, и ветвь, и лист, но число листов их неопределенно, и отшибленные не изменяют особенности Деревя; что же до ветвей, то хотя они... Айда водку пить! «Свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, то есть единственной стихией, с которой не прощаются – никогда. Но Тимолеон осуждает себя в заточение, един непричастен счастья отечества, творец будучи оного, и шед в пустыню, странствует и плачется, чужд разума, до самых старости. Я что-то понимаю, но не совсем. А вы, любезные, скорее, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться с китайскими тенями моего воображения, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями! Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает останки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костяками братьев – и припеваючи пускается в бурное время. Даринька летела в ветер, придерживая шляпку. Он надел на себя не kota, а – терновый венец. Арбуз: одну секунду туго – корка, потом легко – мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец. Девочка слушала, раскрыв карие глаза и засунув ногу в рот, а Зинаида Львовна и смеялась, и плакала, и крестилась, глядя на круглое личико Марианны, в котором ей виделось другое лицо с большими карими глазами, со стриженными усами и розовым ртом. Мы сидели за серебряным самоваром, и в изгибах серебра (по-видимому, это было оно) отразились я, Лейли и четыре Ка: мое, Виджайи, Асоки, Аменофиса. Как умрем, так он почтет да помянет перед Богом нас, а мы о чтущих и слушающих станем Бога молить, наши они люди и будут там у Христа, а мы их во веки веков. Аминь. К берегам священным Нила. А весы все колыхались, и

деревянная чашка поднималась все выше и выше. Здесь я совершенно случайно узнал от одного из возвратившихся из Сербии добровольцев, что он видел Морозова под Алексианцем. Эх ты, недотепа! Где я? Что я делаю? Зачем? Господи, прости мне все! Я очень устал. 25 ноября, 1957, ну, запишите, Гоголь, сегодня весна, мне письмо... Отдайте все... Ложитесь-ка вы все спать! Прощайте, друзья! Господи, довольно! Запрягайте сани, хочу ехать к сестре! У тебя семья, там беспокоятся, пожалуйста, поезжай домой, мне лучше! Что, нет стульев? Нам нельзя сидеть? Что? Что? Прости им, они не ведают, что творят. Нет, совсем не хочется, но ведь это ненадолго. Слава Богу! Я люблю истину... очень... люблю истину... Василий, ты, когда я умру, положи мне сейчас же на глаза по гильдену и подвяжи рот; я не хочу, чтобы меня боялись мертвого... За что убили меня? Я никому не сделал зла. Не хочу! Держи все – держи все! Что-то я гложу, и туман какой-то перед глазами, но ведь это пройдет? Не забыть завтра открыть окно... Чтобы знали, чтобы знали. Поскорее бы все это кончилось... Надо быть застегнутым на все пуговицы. Ближе, ближе ко мне, пусть я всех вас чувствую тут около себя, настала минута прощаться... прощаться... как русские цари... царь Алексей... царь Алексей... Алексей второй... второй... Давно я не пил шампанского. Нет, я не умру, сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил. Это ничего, теперь не понимают, после поймут. Лестницу поскорее, давай лестницу! Простите меня, милый Самуил Миронович, я очень устал. Не похороните живой! Хорошенько проверьте. С этим мы должны справляться сами. Сердце сдавило обручем, не могу дышать. Неужели умираю? Блядь, больно! Да.

Гиперид!

Кто это?

Это мы. Кому еще быть? Кому, кроме нас, нужен ты в этой ночи? Разве не слышал – уже пробило за стеной три? Что ты не спишь в столь поздний час? Сон – утешитель нужных.

Не спится, афиняне.

Тогда собирайся.

Куда?

Не надо ничего спрашивать. Вставай, одевайся. Слышишь?

Что это? Какой-то гулкий звук, будто над головой высокий купол. Шарканье ног. Чей-то молодой голос, резкий, уверенный. Говорит о вращении Земли.

Вот именно. Узнаешь величественный музей?

Что-то припоминаю, афиняне. Но музей – чего?

Всего, Гиперид.

Кажется, понимаю. А это шаркают по древним плитам своими ботинками школьники, сбившиеся стайкой в желании до всего дотронуться пальцем? Весь храм тонул в полумраке, ведь это был храм, я не ошибаюсь?

Дело не в храме, Гиперид, дело в куполе. Там на цепи маятник, на котором ночами, когда никого нет, качается, обвив его руками и ногами, сторож. Помнишь прыщавую всезнайку, вызубрившую десять страниц из путеводителя? Она подставляла под маятник кеглю, та звонко падала и барабанила деревянной головой о каменный пол. Это цоканье кегли по каменной плите являлось доказательством того, что Земля летит, вращаясь, к черту. Теперь ты понял, почему мы должны торопиться? Нужно объяснить этой дурехе, что Земля держится на трех китах, они – на слонах, а те, в свою очередь, балансируют, сцепившись хоботами, на черепахе, которая раздавила панцирем кусочек сыра. Идем! Что же ты медлишь?

Подождите, афиняне! Здесь что-то не так. Ведь это все когда было! Уже прошло столько лет. Может, там уже и нет никого, ни тех школьников, ни той, с кеглей.

Гиперид! О чем ты? Куда ж им деться? И потом, ведь нет никакого вчера, ни позавчера, ни третьего дня. В три часа ночи, Гиперид, нет прошлого. Есть только сейчас, сам-то не видишь разве? У времени сорвалась резьба. Оно прокручивается, как гайка. Ведь ты слы-

пишь шарканье их ног, ее победный голос, звонкое цоканье сбитой кегли, улетающее под купол? Слышишь?

Слышу.

Ну вот. Пойдем.

Подождите.

Что еще?

Но ведь далеко. Это же сколько ехать!

Что такое для нас расстояния, Гиперид? Мы ведь народ мореплавателей и первопроходцев, бочковитых философов и бродяг. Для нас главное – звезды. По морям, по волнам. Нынче здесь, а чтобы доплыть до завтра, нужно звездовождение. Выгляни в окно! Видишь?

Да, афиняне. Вызвездило.

Вот и славно. Звездистая ночь на Богоявление – урожай на горох и ягоды. Мы пойдем по звездам. Ничего нет, Гиперид, вернее этого пути. Помнишь, твой отец давал тебе читать книжки о подводниках? У него была полочка. Никаких других книг он не читал. И вот там была история про одного капитана, который потом, отсидев свое, прославился или, наоборот, сначала прославился, а потом отсидел свое, мы уже не помним, а история была как раз про сегодняшнюю ночь. Этот капитан увидел в перископ огонь немецкого транспорта. Немцы тогда эвакуировались из Риги, Клайпеды, Таллина. Капитан начал преследование и приказал приготовиться к торпедной атаке. И чем быстрее догоняла немца подводная лодка, тем быстрее он уходил. Тогда капитан приказал всплыть и идти полным ходом. А когда всплыли, оказалось, что хотели торпедировать звезду. Помнишь?

Помню, конечно, но откуда вы знаете это, афиняне?

А еще твой отец попал после войны в кораблекрушение. Не «Титаник», конечно, и не «Адмирал Нахимов», но вполне достаточное, чтобы тебя, Гиперид, не оказалось. Он все сокрушался, что в войну выжил, а после войны должен был умереть. И спасся чудом. Он так и говорил, тиская тебя у себя на коленях: «Вот, Мишка, чудом мы с тобой спаслись!» И каждый раз рассказывал про бутылку. Твоего отца втащили из воды в переполненную шлюпку. Они болтались по морю два дня. Кружили по туману, и иногда где-то совсем рядом раздавался не то свисток, не то гудок. Они принимались тогда кричать и звать на помощь, но звук исчезал, и их никто не слышал. Через какое-то время опять гудело, еще ближе, уже с другой стороны. Они снова кричали и звали на помощь. И так все время. А потом оказалось, что это в шлюпке была пустая бутылка. Когда дул ветер, она начинала гудеть. После рассказа о бутылке твой отец обязательно пел: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня...» От него разлило вином. Ты вырывался, а он держал тебя своими волосатыми, огромными, крепкими пальцами и терся о твою голову своей потной, небритой щекой. Теперь ты понимаешь: ему нравился запах твоего затылка – так ты потом любил тереться о затылок Олежки и нюхать.

Но ведь это было еще в Староконюшенном, на Арбате, в подвале. Погодите, афиняне! Я прекрасно помню тот наш подвал. Вот окно, засыпанное окурками, где-то наверху ноги прохожих. Под окном диван. На нем почему-то разбросаны пластинки, еще те, тяжелые, с красными щечками, я прыгаю на диване, пластинка с громким треском ломается. Я боюсь гнева отца. Он смотрит на половинки, держит их в руках. Качает головой. Я плачу, потому что сейчас он меня ударит. Но он только качает головой и уходит на кухню – выбросить осколки в ведро. Там мама. Достается не мне, а ей, потому что когда она приходит в комнату, плачет. Дверь хлопает – это отец уходит. В окне еще мелькают его ботинки. Когда он пьяный приходит домой, я уже сплю. Но нам же, афиняне, совсем в другую сторону. Та кегля цоклет много лет севернее, и маятник, на котором раскачивается ночной сторож, доказывает вращение гулкового купола совсем в другом населенном пункте!

Что ж тут такого, Гиперид? География тоже ведь не стоит на месте. Не только облака переползают по карте. Ты же сам знаешь, бывает всякое. Помнишь, куда-то уехал ваш сосед по арбатскому подвалу, вернее, это тебе сказали, что уехал, чтобы не беречь детский впечатлительный ум, и твои родители отвоевали его комнату. У него на стене висела большая карта необъятной родины. Ты любил смотреть на нее. И очень гордился тем, что она такая необъятная. И вот однажды тебе вдруг показалось, что один населенный пункт куда-то переполз. Потом другой. Пригляделся, а это клопы. Клоп районного масштаба. Клоп областного значения. Клоп – столица автономного края. Отодрали карту, а там своя страна. Один был величиной чуть ли не с копейку. Да и вообще, дались тебе, Гиперид, все эти – куда, когда, где! У нас ведь тут *sine anno i loco*³⁸, такие дела, брат. Год – не неделя, все будет, да не теперь. Где тесно, там-то солдату и место. Но мы отвлеклись. Смотри, она наклоняется и тянет руку к отскочившей в сторону, к тебе под ноги, кегле!

Обождите, афиняне! Ведь для того, чтобы добраться до этой кегли-неваляшки, нужно еще сначала объяснить что-то очень важное.

Что такое может быть важным, дурачок? Прямо такое важное, без чего жизнь невозможна?

Да. И потом, сперва еще был кашель чайки. Вы что, забыли?

Разумеется, накануне вы ходили в театр. Гастролировал Художественный, давали «Чайку». По городу шла простуда, и в зале то здесь, то там без конца кашляли, чихали, сморкались. И Тригорин с самого первого действия чихал и сморкался, а к финалу и Дорн зачихал. Он стоял у самой ramпы, и рядом с его лицом бил прожектор. Когда чихнул, то брызги изо рта вспыхнули, как сноп искр. И когда в походной аптечке что-то лопнуло и Дорн, перелистывая журнал, сказал Тригорину, что это Константин Гаврилович застрелился, он опять чихнул, и даже когда занавес опустился, со сцены еще доносились приглушенные бархатом чихание и кашель.

Искряной сноп изо рта помню, но с кем это я ходил? Вы что-то путаете, афиняне.

Как это с кем? С ней, с кем же еще?

С кем с ней?

Что ты ломаешь перед нами Ваньку, Гиперид? У кого еще были две вмятинки в голове?

Да какие вмятинки?

Вмятинки от родильных щипцов. Вот здесь и здесь. С одной стороны совсем незаметно, а с другой стороны, вот с этой, была почти дырочка с голой кожей, ей пересадили с бедра, и волосы там не росли, но под ее копной ничего не было заметно, да и ты обнаружил это не сразу. Она даже тебе стеснялась показать. А чего тут стесняться-то? Тут стесняться нечего. Мало ли у кого что может случиться, когда ты упираешься, не хочешь вылезать, а тебя щипцами. А тут всего-то вмятинка.

Да о ком вы, афиняне, черт подери, говорите? Ничего не понимаю. Кто эта женщина?

Приглядишься, Гиперид!

Ничего не вижу.

Это же Фрина!

Фрина?

Ну да, твоя Фрина. Петр и Феврония. Каллимако и Навзикая. Хорь и Калиныч. Гиперид и Фрина.

Теперь, бессмертные, кажется, понимаю. Гиперид и Фрина. Но разве это я?

Я, не я – какая разница, Гиперид! Главное – когда вы приехали после дачи, в комнате было темно: на целый этаж вырос тополь.

³⁸ Без года и места (*лат.*).

Да-да, действительно, в комнате вдруг стало темно от тополя за окном, но до этого еще была резиновая перчатка на подоконнике, и бородатая Венера, и задетый полотенцем стеклянный кувшин, и бабы на пристани с варенцом, и дым из всех труб огрызком карандаша, и женщина в лифте, которая, схватившись за живой живот, прижалась к стене, а еще до того пришлось идти на жалование к другому патрону.

Вот, Гиперид, так и начни: пришлось идти на жалование к другому патрону, выстукивать целый день копии с исковых прошений и каких-то резолюций, а то еще с книгой заказных писем ходить на почту – посыльный *honorificus*³⁹. А патрон – оригинал старой школы. По-старомодному носил в суде фрак, застегнутый на все пуговицы, не снимал перчаток, пока не настанет минута говорить перед судом. В буфете, в этом прокуренном порто-франко местной юстиции, выпивая стакан молока, отшучивался, что в сквозняке судебных коридоров закрытый фрак – единственная защита от простуды, а перчатки – единственная защита от рукопожатий сомнительной чистоты. Когда ел, ничего не откусывал, но все разрезал на мелкие кусочки, прежде чем отправить в рот, – боялся сломать вставные зубы. На заседании весь преображался, оживал, вспыхивал и, произнеся с жаром и увлечением свою речь, тут же мог извлечь ее из кармана со всеми запятыми и даже знаками восклицания для выправки стенограммы, чтобы ничего не напутали.

Нет, афиняне, это все тоже неважно.

А что важно? Как ты ехал на втором номере, а за окном старался для учебника землекоп и вороны по мокрой после дождя брусчатке перескоком?

Да.

И ты тогда подумал, что уже прошло столько лет, и что той девушки с рыжей косой, которую она обмотала вокруг шеи, когда бежала по харьковскому перрону, нет и, наверно, никогда не будет, и что если все пойдет дальше вот так, как есть, ты просто сойдешь с ума от пустой квартиры и долгих ночей, которых боишься. Так?

Так.

А кстати, Гиперид, почему ты ничего нам не расскажешь про ту, с косой и с велосипедом перед грозовым небом, а еще, помнишь, в аудитории гипсовый белоснежный бюст в вишневых подтеках – вы ели вишни и стреляли в него скользкими косточками?

Нет, афиняне, про ту девушку я ничего не хочу рассказывать даже вам.

Но почему?

Неважно. Она была, и ее нет. Не ваше дело.

Как это не наше? Нет ничего такого, Гиперид, что было бы не нашим. Впрочем, как хочешь. Мало ли, кто где когда был, и больше его там нет. Так что там случилось дальше, в том трамвае? Наверняка, глядя на промокшего землекопа, никогда не выдавшего свой учебник, и на ворон, царапавших дождливые гладкие камни, ты сказал себе, что нужно попросту взять и жениться, так? Что есть слова, которые помогают собирать кусочки себя, разбросанные в пустоте. Стягивают, как корсет. Например – жених. Или – муж. Или – отец. Так?

Понимаете, афиняне, есть люди, которые живут одиночеством. Они могут приходить вечером домой в пустые комнаты и вести себя как ни в чем не бывало, переодеваться, ужинать, читать газету, смотреть за просто за окно, зевать, ложиться спать. И мне тоже казалось, что я такой же. А потом началось. Будто я растворяюсь, перестаю существовать, исчезаю. Проваливаюсь в пустоту, в бочку без дна. На самом деле мне нужен был рядом живой человек, в котором бы я отражался, чтобы знать, что я есть. И вот, действительно, решил жениться. В то время я начал зарабатывать уже неплохо, от патрона перепадали кое-какие дела, появились первые клиенты. Я сделал предложение одной женщине, которую почти не знал. Мы иногда встречались у общих знакомых. Она одевалась элегантно, тогда женщины

³⁹ Лицо, пользующееся почетом (*лат.*).

носили юбки-дудочки и широкие шляпы. Голос у нее всегда был насмешливый. Она вглядывалась в людей, прищурившись, и никогда нельзя было понять, говорит она серьезно или шутит. Вы что-то, например, спросите простое, а она сразу не ответит, будет долго смотреть на вас, а потом ответит вопросом на вопрос, или просто отвернется, или начнет говорить о чем-нибудь своем. Я то и дело сталкивался с ней ненароком – то на улице, то на концерте, один раз столкнулись в книжном магазине на Покровке. Она листала какой-то том. Я поклонился, поинтересовался, что она читает.

– Обо вшах.

– Обо вшах?

Она засмеялась:

– Ну вот же: «Гиппократ, излечивший много болезней, заболел и умер. Гераклит, столько учивший о воспламенении мира, сам наполнился водой и, обложенный навозом, умер. Демокрита погубили вши».

Она закончила медицинский курс и была оставлена при университете, там в лаборатории проводили какие-то опыты на собаках, изучали деятельность мозга. Помню, я спросил, что такое они творят с бедными животными, – мы вышли из магазина, и я пошел проводить ее до трамвая, чуть накрапывал дождь, вернее, уже почти кончился, и падали последние капли, я был без зонта, а она шла под красным зонтиком, и от этого и плечи ее, и лицо красновато светились. Она рассказывала, как они там приручают собак, чтобы те откликались на свое имя. Потом их привязывают ремнями к специальному станку.

– Нажимаешь на рукоятку, – говорила она, – и нож отрезает голову. И записываешь наблюдения. Рот открыт, язык прилип к гортани, ноздри трепещут, уши подняты, веки наполовину закрыты, видны белки. Зовешь: Дружок! Веки приподнимаются, глаза оживают, зрачки поворачиваются, смотрят на тебя. Через несколько секунд веки закрываются. Потом зовешь с другой стороны: Дружок! Дружок! Снова глаза оживают, зрачки переползают на голос, находят тебя, потом опять затухают. Зовешь в третий раз – уже не слышит.

Я смотрел на эту женщину и снова никак не мог понять: это она говорит серьезно или так странно шутит со мной?

Эта ее странность, непонятность меня почему-то притягивали. Она была не такая, как другие. Вернее, не так или не совсем так: все женщины сразу начинают с тобой играть, но она играла по каким-то незнакомым мне правилам. И потом эти случайные встречи. В романах случайные встречи героев устраивает автор, а здесь нас будто действительно все время кто-то подталкивал друг к другу. Потом я случайно, от знакомых, узнал, что за несколько лет до этого у нее погибли родители. Отец ее служил в Туркестане, он с женой ехал в отпуск на поезде, произошло крушение. И вот это знание вдруг каким-то непостижимым образом приблизило ее ко мне, мне показалось, я что-то в ней понял. Она только делает вид, что ее интересуют ее университетские исследования, что она независимая, колючая, недоступная, а на самом деле так же страдает от одиночества и отсутствия ласки, как я. Ни с того ни с сего захотелось этого неуютного, насмешливого человека обнять, прижать к себе.

И вот тогда, в трамвае с вороной и землекопом, я все неожиданно для себя решил. А потом жизнь завертелась, будто только ждала, когда я наконец пойму, что происходит. Я решил сделать ей предложение – сейчас же, немедленно. Слез с трамвая, побежал догонять, не догнал, отправился на другом трамвае в университет, нашел ее там, попросил на минуту выйти из лаборатории.

– Катя, – сказал я, с трудом переводя дыхание, – я хочу, чтобы вы были моей женой.

Насмешливо посмотрела на меня. Я уже не сомневался, что она откажет мне сейчас, скажет что-нибудь шутливое и обидное, но Катя так же насмешливо согласилась:

– Хорошо, я буду вашей женой, но сейчас мне надо в лабораторию. Марсик зовет.

Действительно, за дверями раздавался лай. Она ушла.

Мы объявили себя женихом и невестой. Она все обращала в шутку, и мне это даже нравилось. Нельзя ведь серьезно быть женихом – роль, согласитесь, придурковатая. Она играла рачительную невесту, я – беспечного, легкокрылого, удачливого игрока, поставившего все, что имеет, на zero и с легкой душой ожидающего выкрика крупье.

Когда я привлекал ее к себе, обнимал, втягивал в ноздри прокуренный запах ее волос, настоящий на крепких духах, она улыбалась, отстраняясь, чмокала меня в нос и говорила: – Любовь – трение внутренностей.

Или еще какие-нибудь слова, от которых я совершенно терялся, а она смеялась и вытирала мне платком остатки губной помады с носа.

Когда в первый раз поцеловал ее по-настоящему, в губы, вдруг заметил, что ее слюна не имела вкуса.

Едем на извозчике, и Катя вдруг спрашивает, хотел бы я жить в первые века христианства, и видеть все, и принять мученичество, – и пока я думал, хотел бы действительно или нет, она хватает меня за руку и показывает на мальчишек, как те подкладывают пистоны на трамвайные рельсы.

Помню, продавец в ювелирном магазине вынимает бархатную гранатовую подушечку с кольцами, кладет перед нами на прилавок, она примеряет, надевает мне на палец, сама крутится перед зеркалом, выставляя руку с кольцом то так, то этак, а я в ту минуту подумал: что я делаю? Зачем? Кто эта женщина? Я ничего о ней не знаю. Абсолютно ничего. Но нужно было платить, а потом мы поехали смотреть квартиру.

Квартиру мы нашли в самом центре города, у Знаменского парка, большую, просторную, чтобы я мог, не стыдясь, принимать клиентов. До нас там жил зубной врач. Он умер от рака горла, а вдова переехала куда-то. Как раз когда мы пришли, швейцар отвинчивал с парадных дверей медную табличку с его фамилией.

Мы бродили по пустой квартире, то расходясь, то сталкиваясь в какой-нибудь комнате, и всюду еще стоял какой-то медицинский запах, которым за много лет пропитались и затоптанный паркет, и выпцветшие обои с наполеоновскими пчелами золотым по красному. На стенах были темные прямоугольники от висевших на одном месте многие годы картин. На широком подоконнике валялась забытая резиновая медицинская перчатка, она слиплась. За окном была заброшенная клумба, посередине ее стояла палка для поддержки уже несуществующих георгинов. Был конец октября.

Катя говорила, что вот в этой комнате будет наша спальня, в той – мой кабинет, там – приемная, что сюда пойдут темные обои, а вот в ту комнату лучше светленькие, а я слушал ее, и все мне казалось странным, что вот здесь, в этих стенах, напротив этого окна, мы будем любить друг друга, как муж и жена, ее тело будет принадлежать мне. Я почему-то не мог представить себе, как все произойдет. Мы должны были вот-вот венчаться, но необъяснимым образом она стала для меня еще недоступней. Я отчего-то не решался вот прямо сейчас, в нашей пустой новой квартире, взять ее за руку, прижать к стене, поцеловать. Наверно, боялся, что она тогда опять скажет что-то насмешливое и непонятное. А может, она, наоборот, ждала как раз в ту минуту, что я схвачу ее, стисну, закрою ей рот, чтобы ничего не могла сказать, повалю на затоптанный рабочими, выносившими мебель покойного врача, пол. Ничего не знаю. Мы бродили по комнатам, она деловито говорила, что нужно купить, я записывал. Она сама выбирала всю мебель, совещалась с обойщиками, все устраивала, хлопотала, и я даже был рад, что не нужно всем этим заниматься.

Потом мы поехали к портному. По дороге выглянуло солнце, и серый осенний день преобразился. На примерке я стоял, подняв руки, – холодная лента аршина скользила, обнимала – и глядел, как моя невеста сидела у окна, залитая октябрьскими лучами, перебирая в железной звонкой коробке солнечные бусины и пуговицы. Я думал тогда о том, что мы обязательно будем с ней счастливы, просто это трудно и не сразу дается – быть счастливым.

Мои знакомые настаивали, что я должен устроить по традиции прощальный мальчишник. Никакой потребности в этом я не испытывал, но поддался на их уговоры, не желая никого обижать. Вернее, не хотелось перед ними показаться скупым, будто мне жалко потратить на ресторан денег.

Решили собраться в Эрмитаже на Каретной, выбрали подходящий кабинет, сообщив составили меню ужина. Я приехал в тот вечер в Эрмитаж пораньше, чтобы распорядиться насчет вин, закусок. Ходил по пустой зале с роскошно сервированным столом, разглядывал букеты цветов, картины на стенах, всматривался в зеркала, проверяя, как сидит на мне щеголеватый, дорогой фрак, скрадывавший полноту.

Не без сожаления я размышлял о том, во сколько мне вся эта никому не нужная мишура обойдется и сколько на эти деньги можно было, к примеру, купить книг. За стеной, в соседнем кабинете, вовсю кутили, и оттуда доносились женские визги и смех.

Первым пришел Соловьев, окончивший курс вместе с Катей и начавший теперь практиковать молодой врач. Собственно, через него я с ней и познакомился. Шумное медведеобразное существо с постоянным запахом пота, которого он совершенно не стеснялся, говоря, что запахом животные метят свою территорию, а ему, Соловьеву, принадлежит весь мир. После того как мы объявили о нашей свадьбе, он изменился ко мне: его панибратское, тискающее, полутеческое отношение сменилось на показное разочарование, мол, я от тебя, брат, такого не ожидал. Мне казалось, что он сам имел на Катю какие-то планы и теперь просто вымещал на мне досаду.

Соловьев сразу велел, никого не дожидаясь, открыть бутылку шампанского, и мы с ним чокнулись. Я ждал, что он скажет: за твоё счастье! – или что-нибудь подобное, что принято в таких случаях, но он выпил молча и, наливая себе еще, стал вдруг говорить, что я дурак, что этой женитьбой совершаю ошибку, что с одиночеством и отсутствием любви нельзя бороться нелепым браком и что нет ничего глупее, чем жениться, просто чтобы заполнить пустоту.

– Что ты такое мелешь? – прервал я Соловьева и только теперь заметил, что он уже был пьян.

– Тебе нужен не брак, а случка! – сказал он. – Тебе нельзя доверять такого человека, как Катя.

Понятно, подумал я, этот тип просто завидует мне.

– Да ты, кажется, в нее влюблен, животное? – засмеялся я, чтобы обратить весь этот разговор, действовавший мне на нервы, в шутку.

Он как-то странно посмотрел на меня. Продолжить нам не удалось, появились шумной гурьбой мои товарищи, большинство из которых я в глубине души или не любил, или презирал, и, наверно, они платили мне тем же, но все это не играло тогда никакой роли и не мешало нам быть товарищами.

Сели пить и есть. Вспоминали университетское, юношеские проделки. Вспомнили, как я, готовясь к экзамену, обрил себе, по-демосфеновски, полголовы. Вспомнили, как, дурачась, дали объявление, что нужна молодая сиделка к старой женщине, и как по объявлению пришла какая-то хромоножка, забитая и запуганная, она все протягивала нам вырезку из газеты, не понимая, кто мы и почему умираем с хохоту. Все воспоминания были в таком же духе. По-настоящему веселья на мальчишнике не было, во всем чувствовалась какая-то неловкость, поэтому старались побольше выпить, чтобы освободить себя от нее.

Так часто бывает: где думают много смеяться, отчего-то веет скукой. Да еще все время был слышен пьяный мужской хохот за стеной и девичье повизгивание.

Стали пить водку. Потом кто-то сказал, что не хватает треска. Так и сказал, по-моему, это был тот же Соловьев:

– Не хватает треска, скопцы! Последний вечер свободы должен быть проведен с треском!

Идея провести вечер с треском всем очень понравилась, все загалдели, закричали – выпили уже немало. Вызвали посыльного ресторана и отправили его за девочками со строгим приказом привезти только молодых, хорошеньких и веселых.

Мне казалось, что все это шутка, грубая, мужская, как полагается на мальчишнике, и что все этим и кончится, и я тоже громко кричал, что нам только молодых и веселых.

Посыльный, тощий вихрастый хохол, развращенный мальчишка лет шестнадцати, понимающе ухмыльнулся:

– Будьте покойны – доставим перши сорт!

Все хохотали и повторяли:

– Перши сорт! Умора! Перши сорт!

Вскоре, действительно, дверь приоткрылась и в кабинет робко вошли какие-то затасканные девицы не первой молодости, которые совершенно обомлели и растерялись при виде роскошно одетых молодых людей, дорогой сервировки, зеркал, электрических люстр. Мне показалось, что и это все еще шутка и что мы вдоволь сейчас поохочем над этими неопрятными задастыми размалеванными существами, заплатим им, допустим, по десятке и отпустим с Богом, но Соловьев вскочил со своего стула и рассеял минуту замешательства тем, что стал с наигранным почтением распределять барышень.

– А вот вас, голубушка, – он взял под локоток рябую, чуть косившую, с дряблой, несвежей кожей девку, – мы посадим на коленочки к самому жениху!

И под всеобщий вопль восторга она уселась мне на колени, тут же обвив мою шею руками и поцеловав меня в губы, я даже не успел отвернуться.

Мальчишник пошел несравнимо веселее. Гости не скупились на ласки и поцелуи, охотно позволяя расстегнуть блузки. Быстро сделалось жарко. Моя избранница набросилась на закуски, персики и виноград, жадно поедая все, что было на столе. Пожирала, напихивая полный рот. Я хотел как-то спихнуть ее с себя, схватил за талию, чтобы поднять, а она поняла меня по-своему и одной рукой стала расстегивать на спине платье, а другой все запихивала виноградины в рот.

Я видел, как Соловьев, усевшийся со своей избранницей на диван и уже наполовину раздевший ее, целовал обвислые груди, прижался к ним лицом, потом ухом, затем другим ухом и вдруг сказал:

– Затронуты оба легких...

Я с ужасом почувствовал, что пьян, и все окружающее приобретало вид странного неуклюжего сна, который вызывает ужас и гадливость, но которому не удивляешься.

Лиза, кажется, ее звали Лиза, хотя представилась она сначала как-то по-другому, давала мне пить из своего стакана, кусала за мочку уха, лезла в ушную раковину кончиком языка, слюнявила, будто хотела высосать через ухо мозг. Было щекотно, я ежился, отпихивал ее, вытирал платком ухо. Она заливалась смехом и снова лезла ко мне языком. Она без перерыва хохотала, отвечая идиотским хохотом на все вопросы и попытки заговорить.

В комнате стало совсем душно, нечем было дышать. Облако дыма мешалось с облаком духов. Избранница Соловьева, вырвавшись из его объятий, взяла со стола бутылку шампанского и хотела отпить прямо из горлышка – тут у нее выросла белая пузырчатая борода. Теперь уже и из нашего кабинета разносились на весь ресторан пьяный мужской хохот и женские визги.

Я целый день ничего не ел, и, наверно, оттого, что пил натошак, меня так быстро развезло. Ни с того ни с сего на меня напала какая-то злоба, совершенно баранья ярость. Злоба и на Соловьева с его дурацкими разговорами, и на эту Лизу, которая все норовила залезть рукой, сладкой и мокрой от винограда, мне в ширинку.

Я уже плохо соображал. Мир продирался ко мне через плотную полупрозрачную пелену. Я опрокинул в себя еще подряд две рюмки водки и с пьяным остервенением набросился на сидевшее на мне горячее тело, стал его целовать, кусать в мягкую прослойку жира на рябой спине, мять жидкие, кисельные груди. Лиза завизжала, вскочила, стала бегать от меня вокруг стола, заливаясь смехом. Я бросился за ней. Все кругом что-то орали, хохотали, хлопали в ладоши, улюлюкали. Кто-то из дам подставил ей ножку, она упала на ковер. Я бросился на нее, задрал ей юбку, под которой ничего больше не оказалось, никакого белья.

Я был в хмельном ослеплении, совершенно не понимал, что я делаю, где я нахожусь, что происходит. И вообще, этот человек на полу, боровшийся с рябой косоглазой девкой с пахучим межножием, не был мной, это кто-то другой, чужой, мне совершенно не знакомый, ерзал между ее мокрых от пота рыхлых бедер.

Потом я плохо что помню. Кажется, я пил еще, а затем меня уложили тут же в комнате на диван.

Не знаю, через сколько времени я очнулся. Кто-то лежал на диване, кто-то на полу, кто-то заснул прямо за столом. Девочек уже не было. Меня мутило. Я вскочил и хотел бежать в уборную.

– А, это ты? – сказал чей-то голос. Я обернулся. У окна стоял Соловьев, почему-то со спущенными штанами, и закапывал себе что-то из пипетки.

Кое-как я добрался до дома и отлеживался целый день. Голова раскалывалась, желудок извергал из себя все.

В тот день мы должны были еще встретиться с Катей – пришлось телефонировать ей в университет и просить передать, что я прийти не смогу – срочные дела в суде.

Вечером, когда я пошел в уборную помочиться, почувствовал неприятный зуд и щеко-тание. Присмотрелся – сероватые отделения. Меня охватило неприятное предчувствие. Ночью при мочеиспускании – резь. Все воспалилось, все время зуд. Уже никакого сомнения у меня не было. Наличествовали все симптомы – частые болезненные позывы, жжение и боль в канале. На другое утро полезла какая-то слизь. Я ничего не мог есть, меня бил озноб. Все это было чудовищно и совершенно невозможно.

Никогда в жизни я себя так не презирал. Меня раздавило, расплющило, истерло в грязь. И надо было всему этому случиться буквально накануне венчания! Одна мысль, что об этом узнает Катя, уже сводила меня с ума. Это было абсолютно недопустимо, немыслимо. Я решил, что лучше удавлюсь, но не допущу такого унижения. Биться головой о стену не помогало – нужно было что-то делать. Я бросился к Соловьеву.

Тот осмотрел меня и похлопал по плечу:

– Поздравляю вас, юноша! Эпикур страдал от этого всю жизнь и умер, покончив с собой в ванне после двух недель мучений – не мог помочиться.

При этом он криво ухмылялся и не скрывал облегчения, которое испытывал оттого, что не заразился сам.

Он взял у меня зеленоватый гной и, капнув на стеклышко, сунул под микроскоп. Нагнулся, вложив глаза в окуляры.

– Хочешь посмотреть – вот они, гонококки!

Единственным моим желанием было схватить микроскоп и разможить им его череп.

– Плохо дело, – продолжал Соловьев. – Может перейти на яичко и на мочевой пузырь. Что ж, будем прижигать раствором азотнокислого серебра. Но до свадьбы, предупреждаю, не заживет.

Я был в полном отчаянии. День венчания был давно назначен, мы уже разослали приглашения, заказали повара, и вообще, приготовления шли своим, не зависимым от меня ходом, и остановить свадьбу было решительно невозможно, да и что я должен был сказать Кате?

На следующий день мы пошли с ней на примерку ее платья. Заколов рот булавками, портниха на коленках ползала вокруг Кати. Моя невеста, в подвенечном уборе совершенно преображенная, еще более мне незнакомая, все время меня о чем-то спрашивала, нужно ли сделать талию повыше или что-то про лиф и другие такие же вопросы, в которых я ровным счетом ничего не понимал, а я даже не слышал ее, потому что в мозгу был только ужас. Катя, конечно, почувствовала, что со мной что-то происходит, и спросила, уж не болен ли я. Наверно, я вздрогнул, потому что она засмеялась.

Теперь я стал избегать касаний и ласки, хотя знал, что через поцелуй это передаться не может. Я казался сам себе таким нечистым, что боялся даже дотронуться до Кати. Конечно, она не могла это не почувствовать, но не подала виду.

Нужно было что-то придумать, чтобы не допустить нашей близости хотя бы в первые дни, пока болезнь окончательно не пройдет, но как? Что делать? Я терялся, мысли разбегались. Меня охватывала просто паника – я ничего не мог делать, ни о чем не мог думать.

Разумеется, все это отразилось на моей работе. Я проиграл дело, которое было на сто процентов выигрышное, но не испытывал по этому поводу, как ни странно, никаких переживаний. Меня охватила апатия. Мой клиент пришел ко мне возмущаться и требовать обратно хотя бы половину выплаченного аванса, а я слушал его, глядя в окно – на моем подоконнике ворковали два голубя, помню, я еще подумал тогда, что у них лапки как коралловые ветки, – потом молча положил перед ним на стол все полученные от него деньги и, ничего не объясняя, попросил его поскорее уйти.

Тогда мне пришла в голову мысль, что после свадьбы между нами ничего не будет, если не будет меня, то есть если я, к примеру, куда-нибудь уеду. Предположим, какое-то срочное дело. А когда вернусь, все уже будет позади, весь этот кошмар, и начнется наша новая жизнь, и все у нас с Катей будет по-людски. Я чуть ли не подпрыгнул от радости, когда все это придумал. Оставались лишь пустяки: сказать Кате.

Мы встретились в тот день в новой нашей квартире – здесь уже был сделан ремонт, на полах лежали ковры, везде стояла новая мебель, заглушившая запахом лака память о зубном враче.

Выслушав меня, Катя долго молчала, кружа пальцем по загогулине на обоях, потом посмотрела мне в глаза.

– Но ведь это – наша свадьба, – сказала она. – Неужели ты не можешь отказаться, или перенести, или взять отпуск, или я не знаю что еще. Придумай что-нибудь!

Я отвел взгляд, чувствуя себя последним мерзавцем и ничтожеством. И пообещал, что сделаю все, что от меня зависит. Хотел обнять ее за плечи – и не смог подойти. Тут Катя взяла мою руку и прижалась к ней щекой. Поцеловала мои пальцы. И сказала каким-то другим, неизвестным мне голосом:

– Ну что с тобой, Сашенька? Что случилось? Скажи мне!

Я засмеялся:

– Все хорошо! Просто неприятности в суде. Не обращай внимания. Слишком много навалилось в последнее время. Все у нас с тобой будет просто замечательно!

Катя обняла меня, хотела поцеловать в губы. Я вырвался, сказал что-то про часы, мол, совсем забыл, мне же нужно бежать, стал плести какую-то несусветицу.

На улице я обернулся. Катя стояла у окна и смотрела на меня. Я помахал ей рукой. Она приложила свою растопыренную ладонь к стеклу.

Свадьбу нашу вспоминаю, будто я был в лихорадке и мне весь этот бред просто привиделся.

С утра – дама с базедовой болезнью, пришедшая по поводу неправильных счетов из кондитерской. Тяжелые, ноябрьские облака, тоже будто больные базедкой. Суматошные приготовления – все в последнюю минуту. Пахло духами, пудрой, утюгами, грелись щипцы на

спиртовке. Застегивал сзади Кате лиф – пальцы дрожали, крючки не попадали в петли. Пропала перчатка, отпоролось кружево.

Изначально мы с Катей решили устроить все без больших торжеств. Мы, собственно, никому ничего и не были должны – свадьбы ведь устраивают для батюшек и матушек, а наши родители освободили нас от этого бремени. Но все равно не пригласить разных нужных людей, вроде моего патрона, было решительно невозможно.

Хотя впускали по билетам, церковь была полна. Яркий свет всех паникадил, оранжевые букеты, розовый бархатный ковер от входа до анаоя.

Священник надел ее крошечное колечко мне на конец пальца, накрыл наши руки епитрахилью. Кольцо показалось холодным, а ее пальцы горели и потели. Трижды обошли вокруг анаоя. Когда ходили по кругу, я на какое-то мгновение забылся и проверил, не потерял ли билет, который сунул во внутренний карман фрака, – я уезжал в тот же вечер.

Все кругом казались какими-то ненастоящими, подсадными, и в первую очередь совсем юный тощий батюшка с молодой реденькой бородкой. Было неуютно и неловко. Хотелось поскорее уйти оттуда. Вообще у меня было ощущение, что я что-то у кого-то украл и меня вот-вот поймут.

Я все время вглядывался в лицо Кати, закрытое белым вуалем. Если бы я увидел так хорошо мне знакомое насмешливое выражение, мне было бы легче, но она была серьезной и даже торжественной, вернее, какой-то настоящей, почти неизвестной мне, и целовала крест, приподняв край вуаля, так, будто действительно давала обет Богу любить меня.

Свадьба была в Синем зале «Савоя», выходящем своими огромными окнами на Волгу. Сначала в них было белое холодное полотно, вроде левитановского «Над вечным покоем», потом как-то сразу темнело, зажглись люстры – и в окнах оказались мы и наши гости, смущенные, чопорные, накрахмаленные, жующие. Без остановки говорил только мой патрон, основательно подвыпивший и называвший меня не иначе как *vir bonus dicendi peritus*⁴⁰. Его угрюмая супруга недовольно ковыряла вилкой заливное и бросала презрительные взгляды в глубь стола, где сидели мне неизвестные и не очень хорошо вымытые люди, приглашенные моей невестой, уже женой, – ее университетские коллеги. В крайнем окне отражались мы с Катей – пришибленные, окостеневшие.

Наконец поехали домой, в нашу новую квартиру. Там все было завалено цветами, подарками. Помню, как Катя вошла за мной в нашу спальню, закутанная в шубу, мокрую от закапавшего к вечеру дождя. Под мехом были голые горячие плечи. Запах мокрой шубы смешался с духами, от Кати пахло чем-то свежим, какой-то только что отломанной южной веткой.

Мне захотелось обнять и целовать ее. Я еле сдержался, хотя и знал, что уже не могу ее заразить. И если бы в ту минуту она сказала: «Постой! Останься! Никуда не уезжай!» – я разорвал бы дурацкий билет в клочки. Но Катя снова была прежней – опять надела свою насмешливую улыбку:

– Посмотри, уже девять, ты опоздаешь на поезд!

Достала платок и стала сморкаться. Сказала, вытирая нос:

– Хорошо, что вся эта дурь позади.

Я решил отправиться в южном направлении, провести несколько дней до полного выздоровления где-нибудь в городе слабогрудых, отвоевывающих жизнь. Смотреть на море, глотать соленую пыль. Почему-то казалось, что курортный город в несезон – именно то, что мне сейчас надо.

Вообще-то мне всегда нравилась дорога, поезда, запах паровозной гари, но в тот раз все было как-то по-другому. Ночью я долго ворочался, желудок не хотел справляться со сва-

⁴⁰ Доблестный муж, искусный оратор (лат.).

дебным обедом. Я глядел, прижимаясь горячим лбом к ледяному стеклу, как поезд выгибается полумесяцем, так что становилось видно и голову, и хвост – полукруг горевших окон в темноте, и все думал о Кате и о том, что я ее, наверно, люблю.

Утром помню, как на минуту выглянуло солнце и стало вдруг видно, какие пыльные стекла. Вагон так качало, что приходилось, стоя в коридоре с полотенцем на шее, все время хвататься за поручни. В туалете – скверная вода из умывальника. Выскользнуло мыло – поднял его, а оно все в грязи, волосах.

На какой-то станции, пропахшей маслами и керосином, я, выйдя прогуляться по платформе, увидел афишу аттракциона – показывали бородатую женщину. С забавной ошибкой аршинными буквами было написано: “Venus barbatus”⁴¹. Не знаю, что на меня нашло, я бросился за чемоданом и, благо собирать особенно было нечего, успел выскочить из вагона, когда уже раздалась мелкая дробь второго звонка.

Оставил вещи на вокзале и пошел к балагану, оказавшемуся совсем неподалеку. Шел и удивлялся сам себе: что я делаю? Зачем? Что со мной?

Заплатил у входа в палатку рубль. Прямо передо мной кто-то вышел, корча гримасы отвращения. Я вошел.

В небольшой комнате с затоптанным дощатым полом я был единственным посетителем. В углу, за протянутой поперек комнаты веревочкой, стояла большая кровать. На ней на скомканном белье лежала женщина, одетая в платье с рюшечками по моде времен Наташи Ростовской. Лица ее не было видно, так как она читала книгу, заслонив ею от меня свою голову. Толстый том был аккуратно обернут, и названия я не видел. Услышав, что вошел посетитель, она суетливо спрятала роман, который читала, наверно, урывками, когда никого не было, и присела на кровати. Лицо у нее было некрасивое, грубое, и под подбородком действительно росла редкая черная бородка, напомнившая мне живо бороду венчавшего нас священника. Я смутился, не зная, как себя вести, тем более что казалось, это она рассматривает меня за мой рубль.

Я извинился и вышел.

Побродил еще немного по городку, даже названия которого я не удосужился посмотреть на вокзале, да и не хотел – какая разница, и решил ехать дальше. До следующего поезда еще было два часа – я зашел в ресторан.

Сидел, и опять все кругом казалось ненастоящим, бутафорским, и вензель дороги – М.К.В. – на соуснике из потемневшего металла, и малосольный огурец, пахнувший укропом и черносмородиновым листом, и соль – не чахоточная, столовая, белый господский порошок, а – кухонная, зернистая, будто чьи-то накрошенные желтые зубы.

Лакей принес самовар, поставил на поднос, учтиво сдунул пепел. От самовара потянуло баннным воздухом. В его начищенном пузе моя голова, если приблизиться, перетекала в две, макушка к макушке.

Еще я думал тогда, в ожидании поезда, что виноват перед Катей так, как никогда ни перед кем виноват не был, и что я сделаю все, чтобы дать ей то счастье, которого она в этой жизни достойна. Я видел Катю перед глазами, как наяву, и ощущал себя самым последним подлецом.

Наконец раздался звонок, и бородатый швейцар хрипло выкликнул из дверей:
– Синельниково-Лозовая! Второй звонок! Поезд на втором пути!

Лакей, как обычно, видя, что торопитесь, стал тянуть с мелочью, начал выдавать двугривенными.

⁴¹ Бородатая Венера (лат., искаж.).

Так прошли все эти дни: в каком-то бессмысленном бесконечном нагромождении людей, слов, вещей, ненужных подробностей. Я еле дождался той минуты, когда снова сяду в поезд, который повезет меня к нам домой, к моей Кате.

Ехал обратно, и казалось, что колеса крутятся еле-еле, а я нетерпеливо считал часы, станции, версты. Так хотелось подгонять поезд, что без конца высчитывал скорость – перемножал стрелки циферблата на верстовые указатели.

С дороги я послал Кате телеграмму, каким поездом приезжаю. Я знал, что она в это время занята в университете и прийти никак не сможет, но отчего-то загадал, что увижу ее на перроне. И если она придет, то все у нас с ней будет хорошо. Да иначе и не могло быть.

Наконец последний гудок. Приехали. Я глядывался в вокзальное мельтешение. Кати нигде не было видно. Я подождал еще немного в надежде, что, может, она опаздывает и вот сейчас прибежит, взволнованная, расстроенная своим опозданием, ищущая меня. Потом разозлился сам на себя и взял извозчика. Такие идиотские загадывания хороши для романов, ругал я свою глупость, все эти сперва к кухне, а потом к другой даме! С какой стати Катя должна была бросить все и бежать на вокзал – в конце концов, и она на службе, и не все так просто.

Она пришла из университета только к ужину. Я уже отпустил Матрешу – мы наняли тогда приходящую работницу – и сам встретил Катю в дверях. Она бросилась мне на шею, мы обнялись. Я прижал ее к себе как самого дорогого мне человека.

Мы долго сидели за столом.

Она расспрашивала о моей поездке, и я, отговорясь тем, что устал, рассказал ей только, что видел в балагане бородатую женщину.

Хотелось быстрее выскочить из-за стола, броситься к ней, подхватить, отнести на руках в спальню, швырнуть на кровать. Но мешала какая-то неловкость. Катя тоже была немного смущенной, и мы, будто сговорившись, все сидели за столом и подыскивали еще какие-нибудь слова для пустого, ненужного разговора.

Наконец стали готовиться ко сну. Я вышел из ванной комнаты в домашнем халате, начисто обтертый мокрой губкой, надушенный одеколоном. Меня не покидало странное чувство, смешанное из ожидания чего-то важного, что должно сейчас произойти между нами, и тревоги. Меня не оставляло ощущение тревожной неуютности.

Она сидела перед ночным столиком с зеркалом и причесывалась. Я подошел сзади, обнял ее и окунулся лицом в ее черные волосы с синим в свете ночника отливом, стал целовать их. Тут Катя сжала мою руку и вдруг просто сказала, будто между нами это было уже тысячу раз:

– Мне сегодня нельзя.

Мы легли спать, выключили свет. Я гладил ее по голове, уткнувшись в мое плечо. Она положила руку мне на грудь.

Я прислушивался к ночным звукам – урчание ходиков, далекий гудок с Волги, торопливые шаги за окном – а может, к себе. Я удивился: этот ее отказ вызвал во мне не чувство досады, но облегчение.

Помню, те первые дни были наполнены какими-то неприятными мелочами, которые неизбежно знает всякий, кто начинает жить вместе под одной крышей с малознакомым в быту человеком. Какая-нибудь ерунда, не стоящая обычно и упоминания, вырастала в совершенно неразрешимые проблемы. Взять хотя бы элементарный стыд, животное стеснение. Невозможно было опорожнить желудок, когда думал о том, что она прямо сейчас, сразу после меня войдет в уборную. Я подолгу жег спички, принохиваясь к спертому воздуху маленькой, плохо проветриваемой комнатки. Или: после ужина меня мучили газы, и когда я жил холостяком, об этом даже не задумывался. Теперь, когда мы спали в одной кровати, выпустить из себя крутивший кишки дух было немыслимо, и я перед сном подолгу чистил

зубы и умывался или просто сидел на краю ванны в мучительной борьбе со своей ненавистной утробой. Кончалось все это, разумеется, крутой болью в животе.

Сложная в шапочном знакомстве, Катя оказалась еще сложнее в жизни бок о бок. Постоянные недоразумения, основанные на ожиданиях – мы оба ждали ведь чего-то от нашего брака и все никак не могли даже подступиться к искомому, – стали пронизывать будни.

Взять, например, наши вещи. Я любил порядок и при этом всегда все разбрасывал. Мне казалось, что теперь у нас начнется правильный образ жизни и уборка не будет поводом для редкого матросского аврала, а чистота будет ежедневна. Оказалось, что Катя точно так же оставляла после себя лишь следы разрушения. Она могла забыть юбку на стуле в гостиной, ночную рубашку бросить на пол в коридоре у выхода из ванной, а яблочный огрызок положить на стол с важными бумагами. Приходилось убирать за ней, тушить везде непогашенный свет. Сперва я делал ей замечания, потом перестал, но и даже молчание приводило к взаимному раздражению.

Особенно, не знаю почему, меня доводили ее волосы, прилипшие к стенкам ванны.

В ее сумочке царил беспорядок, она каждый раз что-то искала и не могла найти, принималась все вытряхивать на стол или диван, ворошить в записках, футлярчиках, деньгах, визитках, расческах, флаконах, шпильках. Там можно было обнаружить и огрызки карандашей, и дорогую брошь. На мое замечание, что, мол, если навести раз и навсегда в вещах порядок, то ничего и не будет теряться, она ни с того ни с сего могла взорваться, швырнуть все и уйти в другую комнату, потом молчать целый день.

Я пытался обернуть ее молчание в шутку. Например, начинал ей читать 26-ю декламацию Либания «Угрюмый человек, женившийся на болтливой женщине, подает в суд на самого себя и просит смерти». Говорил ей, привлекая к себе, пытаюсь обнять, приласкать:

– Полно, Катя, помиримся!

Она пожимала плечами:

– Мы не ссорились.

Говорила это сухо, глядя в сторону, и ждала, когда я уберу руки с ее плеч.

Но самое мучение начиналось, когда нужно было ложиться спать. Тот период, когда «ей нельзя», прошел уже с запасом, как ни рассчитывай, но я все ждал от нее какого-то знака, слова, ласки. Катя читала всегда перед сном, потом выключала свет и засыпала. Я тоже читал, и тоже выключал свою лампу, и тоже пытался заснуть, но не мог.

Совместное существование выходило у нас с ней не по-человечески, как-то кособоко, бестолково, невыносимо. Между нами вырастала с каждым днем стена недоразумения, нас относил в стороны прочь друг от друга. Нам нужно было с ней объясниться, поговорить по душам, растопить этот тонкий еще лед, предотвратить всеми силами дальнейшее оледенение.

И вот та ночь. Я не мог заснуть и вышел на кухню, распугав тараканов. Поставил на спиртовке кружку – захотелось выпить мяты.

Я услышал Катины шаги. Она тоже пришла на кухню, заспанная, щуря глаза от яркого электрического света, держа в руке пустой стакан – перед сном она всегда ставила на свой ночной столик воду с лимоном.

– Зачем же ты босиком по холодному полу? – сказал я. – Заболеешь!

Катя, ничего не ответив, стала наливать в стакан из графина.

– Послушай, Катя, – я собрался наконец начать этот разговор, уже не было сил чего-то еще ждать. – У нас с тобой что-то не так. Нам нужно с тобой выговориться. Да, просто сесть и поговорить.

Я ожидал услышать в ответ что угодно, но только не то, что услышал. Она прервала меня:

– О чем нам говорить? О гонококках?

Я поднял на нее глаза.

В ее взгляде было не презрение даже, а безмерная, уничтожающая брезгливость. Она бросила в стакан дольку лимона и ушла.

Как сейчас я сижу на той ночной кухне, чувствую кончиком носа запах лимона, слышу скрип паркета в конце коридора, гляжу на спиртовку с закипающей кружкой и чувствую, как я проваливаюсь в такую бездну, из которой выбраться уже невозможно.

Я был потрясен: значит, Соловьев ей все рассказал. Первой мыслью было пойти убить его. Потом подумал, что этот человек здесь, в общем-то, и ни при чем. Мерзавец ведь не он, а я. Он всего-навсего врач и, наверно, хотел сделать как лучше, оберечь ее, и, может быть, на его месте я бы тоже так поступил.

Осторожно, не включая света, я вошел в нашу спальню. Я слышал Катино дыхание и знал, что она не спит. Почему-то именно в ту минуту, когда я стоял тогда в темноте около нашей кровати – и часы пробили то ли половину первого, то ли час, то ли половину второго, – стало очевидно: в этом доме произошло что-то непоправимое. Я взял свою подушку, одеяло и перенес в кабинет. С той ночи я стал спать у себя на диване.

Потянулись изматывающие, сумасшедшие дни – я спасался работой. И боялся оставаться с этой женщиной наедине. Часто я думал о том, что, наверно, было лучше с самого начала все ей честно рассказать, а теперь между нами выросла ложь, и эта ложь ее оскорбила, но, в конце концов, этой ложью я хотел спасти ее достоинство.

Перед другими людьми, моими клиентами или той же Матрешей, мы с Катей, не сговариваясь, играли в какую-то чудовищную игру, будто мы самые счастливые на свете молодые, будто все между нами в порядке, разговаривали друг с другом о разных делах, обсуждали, что еще нужно купить для нашей квартиры или что бы этакое приготовить на воскресный обед, – наверно, и ей этот театр зачем-то был нужен.

По понедельникам приходила прачка. На кухне от стирки дым стоял коромыслом, в комнаты проникал запах мыла и щелока, пришлось специально подгадать день, в который я не принимал. По вторникам белье висело на заднем дворе, покачивая подолами и штанинами на ветру. Я стоял у окна и смотрел, как моя пижама рукавом трогает ее ночную сорочку.

Однажды ночью случилось то, чего я так ждал, о чем думал все эти дни, на что надеялся и чего в то же время боялся. Отворилась дверь в мой кабинет. Я лежал на боку лицом к стене и притворился, что сплю. Она шла еле-еле, я скорее почувствовал, чем услышал, скрип паркета, шелест ее ночной рубашки. Она села на пол рядом с диваном и сидела так долго. Я не шевелился. Я почувствовал ее руку на одеяле. Катя чуть притронулась ко мне. Показалось, что она что-то шепнула. Я не расслышал – что.

Я хотел было повернуться, схватить ее, целовать, все забыть, любить. И никакая сила не могла заставить меня это сделать. Только тогда, ночью, на том диване, когда Катя, невидимая, сидела на полу у моих ног и что-то мне шептала неслышное – я почувствовал, как в ту минуту ее ненавидел.

Она ушла так же тихо – в три легких паркетных скрипа.

Время побежало дальше – во взаимно растущем отчуждении. Будто мы сговорились потихоньку убивать друг друга. Всякий пустяк, находящий у любящих снисходительное прощение, будил в нас целые бури злобы, обидных слов и взаимного непонимания. Теперь, когда я тушил за ней свет в уборной, она видела в этом какую-то демонстрацию. Один раз даже крикнула мне, что я доведу ее до сумасшедшего дома, а мне казалось, что это я сам рано или поздно сойду с ума, если все так дальше будет продолжаться.

На людях же мы по-прежнему вели себя как ни в чем не бывало. Она брала меня под руку, смеялась, шутливо говорила какой-то своей подруге, встреченной нами на улице, пред-

ставляя меня, что вот, мол, это ее супруг, которого она еще не успела разорить, но как только разорит – сразу бросит, и мы все втроем смеялись.

Меня, подмигивая, спрашивали знакомые, когда же будет ребеночек. Я отшучивался.

Так прошло несколько месяцев. То, что было непредставимо, сделалось обыденностью. Мы вошли в этот жизненный ритм, привыкли к нему. Хотя у Кати все чаще происходили нервные срывы. Да и мне тоже с трудом удавалось сдерживать себя в руках. Этот запас раздражения не мог накапливаться бесконечно.

И дело было даже не в многодневном изматывающем молчании, прерывавшемся иногда попытками примирения, кончавшимися еще большим взаимным раздражением, из которого я опять спасался молчанием, а она разговорами в пустоту, вызывающими, оскорбительными, не достойными ни меня, ни ее. Эти срывы у нее иногда выражались в том, что она начинала заговариваться, рассказывать о чем-то, что вообще не имело никакого отношения к реальности, а в ее устах это случалось чуть ли не с ней. Что-то вычитанное становилось частью ее, преобразовывалось в мозге в особую, сумеречную действительность, в которой она сама уже с трудом разбиралась. Она начинала выдумывать что-то несусветное, чтобы сделать мне больно. Так было и на Рождество.

Снега тогда навалило глубоко, по-рождественски. Почему-то я почувствовал, что в этот вечер мы должны с Катей образумиться, прийти в себя, проснуться из нашего ослепления, разомкнуть этот душивший нас круг. Я захотел, чтобы мы встретили Сочельник как полагается, по-настоящему, с елкой, с подарками. Я смотрел, как дворник ставил елку в крест, и вспоминал детство. Все хотелось устроить, как у нас дома: когда зажигалась елка, после кутьи, подаваемой со звездой, все шли в гостиную, мяса в Сочельник не ели, а только рыбу, зелень и взвар, а подарки складывали друг другу в большую корзину, стоявшую под роялем у елки.

Я нашел такую же корзину, какая была в моем детстве в гимназическом флигеле, купил подарок прислуге: брошку и еще какой-то дребедени, а для Кати долго выбирал что-нибудь изящное и нашел очень красивый и дорогой браслет.

Я боялся, что Катя вообще не выйдет, но она даже с видимым удовольствием решила поддержать эту игру и вышла к ужину нарядно одетая в вечернее платье, в котором я видел ее лишь пару раз – с голыми руками и вырезом на спине. Меня смутило только, что в ее глазах была какая-то радостная злость.

Я зажег на елке свечи и выключил электричество. Осыпанная ватой и блестками, она светилась в темноте, но чего-то главного, рождественского, чудесного, не доставало. Я дал Матреше приготовленные для нее подарки и отпустил ее. Мы остались вдвоем.

Пламя свечей отражалось в бокалах на столе, в фарфоре тарелок, в серебре приборов. Я подошел к Кате, развернул свой подарок и протянул ей. Она, скользнув взглядом по браслету и даже не примерив, оставила его в открытом футляре на рояле.

Мы сели за стол. В комнате стоял запах хвои, потрескивали свечи, но я предчувствовал, что ничего рождественского сейчас между нами не будет. Я дал себе слово провести хотя бы этот вечер достойно и не опуститься до взаимных унижений. Но во всем ее поведении я чувствовал вызов и жажду борьбы.

– Что же ты хочешь мне подарить сегодня, Катя? – спросил я самым миролюбивым тоном, расправляя на коленях салфетку.

Она усмехнулась:

– Я приготовила тебе одну историю.

– Вот как? И что же это за история? – я откинулся на спинку стула и глядел на нее сквозь сверкание бокалов на столе.

– Может быть, мы все же выпьем хоть вина, если сели за стол, – сказала Катя и, неприятно улыбнувшись, протянула мне пустой бокал.

Я открыл бутылку, налил ей. Мы чокнулись. Она выпила, я пригубил.

Я молча смотрел на Катю, еще не зная, что она такое приготовилась мне сказать, но уже внутри klokотала ненависть, потому что все, что бы ни делала эта женщина, имело целью лишь сделать мне больно и еще сильнее унижить меня. И все это именно сегодня вечером, когда я протянул ей руку примирения.

– Так вот, – начала Катя, накладывая себе на тарелку закуску, – я столкнулась на улице случайно с одним человеком. Он тебе тоже знаком. Это твой друг Соловьев. Он предложил мне зайти к нему. Я хотела отказаться, но, сама не понимая почему, вдруг пошла. Мы остались вдвоем, он запер дверь и положил ключ в карман. А положив ключ в карман, стал кем-то другим, каким я его не знала. И сказал, что не выпустит меня, пока не получит своего.

Она замолчала, вытаскивая пальцами изо рта длинную тонкую косточку от селедки.

– Это вся твоя история?

– Да.

Она жевала и смотрела мимо меня на мерцавшие свечи.

Я не верил ни одному ее слову. Мне казалось, что я сам когда-то читал этот роман, откуда она взяла эту пошлую сцену, и при желании, наверно, мог бы напрячься и вспомнить автора.

Я встал и подошел к ней.

– Катя!

Я хотел взять ее за руку, но она вырвалась и закричала:

– Я видеть тебя не могу!

Тут кровь ударила мне в голову, и все, что было во мне человеческого, в то мгновение исчезло, затмилось, я целиком превратился в безмозглое, пещерное животное. Я не удушил в ту минуту Катю только потому, что я ее изнасиловал. Оставайся во мне в те мгновения ослепления хоть немного от человека, я бы ее удавил своими руками, но меня раздрало только звериное, и мои пальцы разрывали ее платье и чулки.

Когда я опомнился, она лежала в разорванных лоскутах на ковре рядом с опрокинутым стулом, расставив ноги, так, как я оставил ее, одна нога в туфле, другая босая, и смотрела на меня взглядом, полным ненависти и презрения.

Я, ничего не говоря, ушел к себе, захватив по дороге из буфета бутылку ореховой настойки.

На следующее утро я очнулся поздно. Кати дома не было. Часть ее вещей валялась в беспорядке на полу. Я понял, что она оставила меня. Я искал записки. Записки не было.

Пришла Матреша, стала убираться. Я слышал, как шелестит в прихожей щетка по пальто, щелкая о пуговицы.

Постучавшись, она заглянула в кабинет:

– Когда придет Катерина Михайловна?

Я усмехнулся:

– Не знаю. Может быть, никогда.

Она посмотрела на меня искоса и пошла оттирать в столовую винные пятна с паркета.

Через неделю я получил от Кати письмо из Москвы. Она писала, что делала со своей стороны все, что было в ее силах, чтобы спасти наш брак, но все это никуда не ведет и никому не нужно. «Никакого будущего у нас нет, – написала она, – и это к лучшему». Она собиралась вернуться, как только придет в себя и успокоится, но лишь затем, чтобы окончательно со мной расстаться. Я вздохнул с облегчением.

Прошло Крещение, а она все не появлялась. Во дворах дети играли с выброшенными рождественскими елками, воткнутыми в сугробы.

Наша елка засохла, роняла иглы при каждом прикосновении, и ее тоже наутро после Крещения вынес дворник, тащил ее за ствол, а голые ветки с остатками мишуры цеплялись за косяки дверей.

Дни проходили, от Кати не было никаких известий, и я стал даже беспокоиться, уж не случилось ли чего с ней – в ее нервном состоянии она могла совершить какую угодно глупость.

Наконец я услышал в приемной ее голос. У меня сидел, помню, многодетный железнодорожный рабочий, у которого оторвало в паровозной мастерской руку, и я пытался заставить железную дорогу выплачивать ему пенсию, он еще вдруг сказал, вздохнув:

– У железной дороги и сердце железное.

Освободившись, я прошел в гостиную. Катя стояла ко мне спиной и вскрывала вынудой из головы шпилькой конверты – пока ее не было, пришло несколько писем. Она только что умылась и держала бумагу кончиками еще мокрых пальцев.

– Ты права, Катя, – сказал я. – Наш брак был с самого начала чем-то надуманным и, очевидно, жить вместе нам не судьба. Я никоим образом не собираюсь ограничивать твою свободу и готов согласиться заранее на все твои условия развода, что касается вопросов насущного существования. Поверь мне, я зла на тебя не держу и желаю тебе счастья. И, пожалуй, лучшее для этого – расстаться.

Она прервала меня и сказала, не оборачиваясь, но глядя мне в глаза в зеркало:

– Александр, я беременна.

Кажется, я взял какую-то книжку с полки и стал листать – такое было потрясение.

Она обернулась.

– Ты не спрашиваешь, кто отец ребенка?

– Что ты имеешь в виду?

– Я тебе плела тогда что-то про Соловьева, но, надеюсь, ты мне не поверил. Отец ребенка – ты. Когда соберешься с мыслями, мы поговорим. И если по-прежнему захочешь со мной расстаться, что ж... Я устала с дороги и хочу принять ванну.

Она ушла. Я остался с книгой в руках – это был, как сейчас помню, сборник речей Спасовича. Книга соскользнула с колен на пол.

Мир снова перевернулся. Это было моей первой мыслью. Но тут я почувствовал что-то совершенно новое. Кажется, впервые за несколько лет – наоборот – перевернутый мир вставал на свое место. Я был женат, и моя жена ждала ребенка – и, по всей видимости, это было единственно правильное и желанное положение вещей. Я стал думать о ребенке – и происходило необъяснимое чудо. Я будто впервые оглядывался по сторонам. Вещи, представшие для меня существовать, потерявшие форму, вид, вес, цвет, ценность, снова проявлялись из пустоты и, обретая наличие, расставлялись по жизни: лампа с осевшими на дне плафона мотыльками, снег за окном – снежинки на несколько мгновений просвечивались и снова исчезали в ранних сумерках, ковер на полу с упавшим на него вспоротым конвертом, железнодорожный рабочий, уже пришедший, наверно, к себе домой и расстегивающий полушубок левой рукой. Конечно же – вот эта квартира, эта мебель, этот снег, этот рабочий – все это нужно моему ребенку.

Я пошел к Кате. Она только что вышла из ванной, запахнувшись в толстый махровый халат, на голове полотенце завернуто в тюрбан. Намазывала чем-то кожу под глазами. Я взял ее руку и прижал к своей щеке.

– Катя, – сказал я, – все у нас будет хорошо. Теперь главное – это здоровье и благополучие нашего ребенка. Ради этого мы забудем то чудовищное, что было между нами, и будем делать все, чтобы было хорошо ему.

Ее рука пахла миндальным кремом.

Катя даже не улыбнулась мне. Ее глаза остались холодными. Она сказала:

– Как хочешь. А сейчас, пожалуйста, выйди.

Катя была груба ко мне, но теперь, когда я вспоминал ту ненависть и злобу, которую она во мне вызывала раньше, только удивлялся. Откуда-то появилось совершенно новое чувство к ней – сочувствия и нежности. Все ее выходки, направленные против меня, все ее попытки унижить, оскорбить, вывести из себя проходили сквозь мою душу, не задерживаясь, не царапая, невесомо. Я вдруг почувствовал себя взрослым рядом с больным и потому капризным ребенком, на которого, разумеется, никак невозможно обижаться, что бы он ни вытворял. Она была матерью моего будущего сына или дочери, и это само по себе ставило ее в совершенно особое положение, когда можно простить все и ко всему относиться с пониманием и снисхождением.

Ее организм переносил беременность плохо, врачи советовали как можно больше времени проводить в санаториях, она уезжала надолго, и я видел ее лишь изредка, оттого, наверно, особенно резко замечая происходившие с ней изменения.

Помню, в те месяцы я часто гадал, как наше чудо будет выглядеть, какие у него будут глаза, волосы, и вообще кто там свернулся в Кате – мальчик или девочка. Стало отчего-то странно смотреть на людей, что они все таким образом появились на свет, и ничего в этом раньше я не замечал особенного.

Катя приехала из одного из санаториев весной, в самую распутицу. Ребенок подавал первые признаки жизни. Она останавливалась, прикладывала руки к животу. Мне было интересно, что она ощущает, на что это похоже.

– Это как что? – однажды спросил я.

Катя ответила:

– Как ожившие кишки.

Мне казалось странным, что ей по-прежнему доставляло удовольствие мучить меня, что даже такое событие, как появление нашего ребенка, никак не может освободить ее от того мелкого, неважного, ничтожного, что так отравляло нам раньше жизнь.

Собственно беременности я и не видел. В редкие приезды Кати мне только бросались в глаза округлившийся живот, изменившаяся походка, испортившаяся кожа. Вообще, Катя сильно подурнела. Врачи, которых я приглашал, уверяли меня, что все идет как нельзя лучше и, даст Бог, Катя родит благополучно.

Как-то я возвращался из суда и, проходя мимо Варвары Заступницы, ни с того ни с сего остановился. Постоял и неожиданно для самого себя зашел в церковь. На улице уже темнело, а там ярко горели свечи. Я вспомнил, как где-то прочитал, что в церкви – рожицы свечей. Так и меня встретили рожицы свечей. Я купил свечку и поставил ее Варваре Заступнице. Помню, стоял в полумраке среди каких-то полуживых старух и думал: кто была эта Варвара? Что сделала? Почему я прошу ее, совершенно мне не знакомую, может быть, совсем необразованную неграмотную бабу, к тому же давным-давно умершую, сделать так, чтобы у Кати все обошлось? Удивлялся сам себе, стоял и просил:

– Варвара Заступница, сделай так, чтобы у нас родилось здоровое дитя, чтобы Катя перенесла роды благополучно! И ничего больше не надо!

Роды были преждевременные. Акушерка, маленькая, юркая, с некрасивой бородавкой под носом, требовала то лед, то кипятку, то клизму, то подкладное судно, то уксусу, то нашатырного спирту. Из спальни меня прогнали. Я сидел в столовой среди банок, пузырьков, грелок, термометров, кастрюль, полотенец, гигроскопической ваты, рваной газетной бумаги, надо всем сочился тяжелый запах йодоформа.

Я сильно нервничал. Проще сказать, совсем потерял над собой контроль, совершал какие-то бессмысленные, глупые вещи, над которыми в другой раз сам бы посмеялся, например, стучался зачем-то в дверь и спрашивал:

– Ну что, скоро ли?

Или:

– Нельзя ли поскорее?

И сам удивлялся своим словам.

Катя тяжело и беспрерывно стонала. Я без конца спрашивал, можно ли войти. Акушерка, привыкнув, видно, ко всему, каждый раз спокойно отвечала:

– Нет, вы внесете инфекцию.

Вдруг что-то с громом упало. Это акушерка разбила стеклянный кувшин – неловко задела полотенцем.

Со мной что-то случилось. Сердце упало. Меня охватило неприятное предчувствие. Отчего-то тяжелое ощущение несчастья связалось именно с громом разбившегося кувшина.

Иногда акушерка выходила, и Матреша наливала ей из самовара. Она спокойно садилась и принималась пить чай с печеньем. Мне еще показалось странным, как это бородавка не мешает ей есть. Меня эта женщина успокаивала, что все идет хорошо.

– Можно к ней пройти? – не унимался я.

– Нет, вы внесете инфекцию, – не сдавалась акушерка.

– Но она не может так кричать три часа подряд! – говорил я. – А вы уверяете, что это нормально!

Она посмотрела на меня как на заговорившую человеческим голосом лягушку, спокойно допила чай и пошла к Кате, закрыв перед моим носом дверь.

Наконец, после совершенно животных воплей, будто кричала не Катя, а какое-то нечеловеческое существо, что-то еле слышно завякало. Я бросился к двери – она оказалась предусмотрительно заперта на ключ.

Никогда не забуду тот первый раз, когда я увидел мою девочку, еще совершенно морковного цвета от родовой желтухи – нос пуговкой, короткие пальчики, ушки чудесные, маленькие, но сразу же показавшиеся мне какими-то странными. Еще меня поразили воспаленные губы между ног – акушерка объяснила, что так положено.

Первые дни были тяжелыми. Анечка – даже не могу вспомнить, почему именно мы остановились на этом имени, наверно, так назвала ее Катя, а почему, не знаю, какая разница – Анечка плохо ела, вернее, вовсе не хотела пить, и мы мучались с кормлением. После родов груди у Кати сделались твердые, круглые – левая была заметно больше. Она обтирала их губкой, прежде чем дать ребенку, и мне показалось странным, что Катя совершенно меня не стесняется: до этого она так никогда не поступила бы. Будто я вовсе перестал для нее существовать. Я стоял рядом и смотрел, как ребенок сосет, перебирая пальцами грудь, и косится на меня одним глазом.

Состояние Кати после пережитого было плохим – она все время плакала. Из нее текла кровь и не хотела останавливаться. К тому же Катя боялась, что делает что-то не так с ребенком. Когда Анечка замолкала в своей кроватке, Катя вскакивала на постели, прислушиваясь – вдруг умерла?

Я старался быть с ней и Анечкой как можно больше времени, сам помогал Матреше, сделавшейся и нянкой, ухаживать за нашим чудом. Меня окружил удивительный мир младенца, состоящий из неведомых ранее занятий, вроде мытья рожков и сосок, или присыпки опрелостей, или приноживания к пеленкам, или сцеживания. Молока было так много, что Катя сцеживалась над раковиной в кухне, свесив грудь, как вымя.

Днем некогда было остановиться, задуматься, но по ночам накатывал потный страх, что с Анечкой может быть что-то не так. Я прогонял его, смеялся над ним – ведь иначе акушерка сказала бы. Самое простое было позвать доктора. А еще лучше – докторов, но снова накатывал страх, что они найдут что-то в нашем ребенке, и я откладывал вызов врача на потом, говоря себе, мол, успеется.

Очень скоро у Кати сделалась грудница, и она кричала от боли всякий раз, когда ребенок брал грудь. Потом молоко исчезло.

Начались визиты, всем хотелось обязательно взглянуть на нашу крошку, но по городу ходила простуда, и я строго запретил кого-либо впускать в детскую, боясь, что занесут какую-нибудь дрянь. Одним из первых появился Соловьев. Я давно его не видел, он стал еще больше, потливее, мохнатее, отпустил брюхо. Я и его было не хотел пустить к Анечке, но он попросту отодвинул меня от двери:

– Я, между прочим, доктор.

Он долго осматривал девочку, мял ей ножки, переворачивал, держал над столом, будто хотел, чтобы она сразу пошла. Я с тревогой смотрел на него.

Раздался звонок, пришел еще кто-то, Катя вышла из комнаты. Соловьев спросил меня, не было ли у меня или у Кати в роду каких-либо отклонений. Я ничего такого не знал.

– Что-то не так? Скажи, с ней что-то не в порядке? Почему ты задаешь такой вопрос?

Он засмеялся:

– Я задаю такой вопрос, потому что у меня диплом практикующего врача и такой вопрос положено задавать всем. А девка у вас просто замечательная! Смотри, какой грендер!

Анечка стала плакать, я отнял ее у Соловьева. Тут прибежала Катя с бутылочкой, пора было кормить.

Ночью ребенок захныкал. Я взял его из кроватки и отнес к себе в кабинет – Катя плохо себя чувствовала в тот день.

Я прилег на диван и положил Анечку к себе на живот. Лежал и слушал, как она спокойно и ровно дышит. Смотрел на отпитый стакан с водой, забытый на комод, прислушивался к шарканью запоздалого прохожего за окном, к скрипу пружин тюфяка, на котором ворочалась Матреша, поселившаяся у нас в маленькой комнатке при кухне, – и впервые в жизни чувствовал себя замечательно большим, этаким всесильным великаном, Микулой Селяниновичем, могущественным, бесстрашным, бесконечным, и все только потому, что на моем животе посапывало это крошечное существо, беззащитное, ранимое, бессознательно уверенное в моем всевластии, в том, что на этом свете, где никто никого не любит, я никому не дам ее в обиду. В ту ночь я понял, что мне совершенно нечего бояться: что бы ни сказали доктора, это ничего уже не сможет изменить в нашем с Анечкой мире.

На следующий день я договорился о приеме у лучшего городского педиатра, Ромберга. В назначенный день мы появились у него все троим.

Ромберг оказался высушенным стариком, руки его плясали, глаза слезились, по коже ползли старческие пигментные пятна.

Он осмотрел Анечку и сказал, что видит некоторые задержки в развитии, но они связаны с ранними родами.

Катя осталась в смотровой комнате одевать Анечку, а я прошел с Ромбергом в его кабинет, как мне казалось, чтобы расплатиться, и уже достал бумажник.

– Присядьте, – сказал он мне хмуро, плотно прикрыв за собой дверь.

Я сел. Уже в ту секунду я понял, о чем он сейчас будет говорить.

– Постарайтесь выслушать меня спокойно, – продолжал Ромберг, перебирая свои тряпучие пальцы. – Я не буду никак вас подготавливать и скажу вам прямо: ваш ребенок не такой, как другие, и никогда не будет таким.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.